

Георгий Демидов

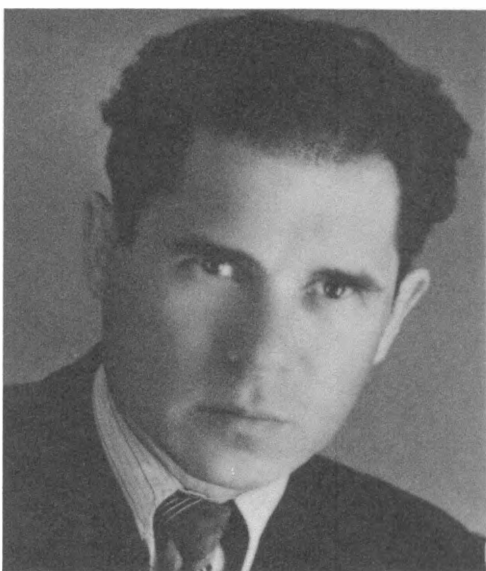


мест «Харків-друк» школа дру...

От рассвета  
до сумерек



Возвращение



Георгий Демидов

# От рассвета до сумерек

Воспоминания и раздумья  
ровесника века

Москва  
Возвращение  
2014

УДК 821.161.1-09  
ББК 84(2Рос=Рус)6-4  
Д30

*Главный редактор издательства «Возвращение»*  
С.С. Виленский

*Редактор Э.С. Мороз*

**Демидов, Георгий.**

Д30 От рассвета до сумерек : Воспоминания и раздумья ровесника века / Георгий Демидов. – М. : Возвращение, 2014. – 368 с. : ил. – ISBN 978-5-7157-0289-0

Издательство «Возвращение» продолжает знакомить читателя с наследием замечательного писателя и незаурядного человека, узника колымских лагерей Г.Г. Демидова (1908–1987) и выпускает его четвертую книгу. Ранее вышли: «Чудная планета» (2008), «Оранжевый абажур» (2009) и «Любовь за колючей проволокой» (2011).

Впервые публикуется автобиографический роман, написанный в 1969 г. Глазами мальчика показана судьба простой семьи, вынужденной в 1913 г. уехать из Петербурга на Полтавщину и переживающей там события Первой мировой и Гражданской войн. Эта книга – редкое и ценное историческое свидетельство о жизни крестьянства западных губерний России в период трагического слома эпох. Это свидетельство особенно актуально в свете событий весны 2014 года на Украине.

УДК 821.161.1-09  
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-7157-0289-0

© В.Г. Демидова, 2014  
© «Возвращение», 2014

## Предисловие

Георгий Георгиевич Демидов (1908–1987) – человек трагической судьбы. Талантливый физик-экспериментатор, ученик Ландау, был доцентом Харьковского электротехнического института, фанатично влюбленным в свою профессию. И вдруг в единый миг жизнь его была сломлена грубым и незаконным вмешательством КГБ. В феврале 1938 года по обвинению в «Троцкистско-террористической деятельности» он получил срок 8 лет лагерей по статье 58, а затем, в 1946 году, добавили еще 10 лет.

В конце срока заключения Демидов оказывается в Заполярье, в Ухте, и становится ссыльнопоселенцем. Надо начинать жить и работать. Объективно оценивая свое безнадежное отставание за время заключения от стремительно ушедшей вперед теоретической физики, он устраивается инженером на ухтинский механический завод. Здесь он проработал 14 лет до выхода на пенсию. Активно занимался изобретательством, за что ему было присвоено звание «Лучшего изобретателя КОМИ АССР». И в то же время он начинает писать.

Работоспособность и настойчивость его безграничны, и успехи на литературном поприще налицо. Стремительно возникают рассказы и повести о времени сталинских репрессий. Мир должен знать правду о ГУЛАГе, где миллионы отбывали наказание без преступления. «Я хотел внести свою лепту в дело заколачивания осинового кола в душу и память сталинского режима» – так он объяснял свою задачу моей матери (письмо от 5 февраля 1963 года).

Тогда же Демидов начинает работу над автобиографическим романом «От рассвета до сумерек. Воспоминания и раздумья ровесника века».

Его произведения появляются в «самиздате», да и сам он дает читать их друзьям и знакомым. Естественно, активная деятельность бывшего заключенного привлекает пристальное внимание КГБ.

Выйдя на пенсию, в 1972 году Демидов переезжает в Калугу и все свое время отдает писательству.

В августе 1980 года в пяти городах России (у отца в Калуге, у меня в Харькове и еще по семи адресам его друзей) проходят обыски и арест всех его рукописей. Вместе с ними были изъяты три пишущие машинки.

Начинать жить с нуля в третий раз в 72 года не было сил. Да и писать ручкой он не мог – пальцы были обморожены на Колыме.

Уже после смерти отца, в 1987 году по распоряжению Александра Николаевича Яковлева мне были возвращены арестованные рукописи. На приведение их в порядок, подготовку к изданию и самое главное – издание – ушло более 20 лет.

В 2008 году в издательстве «Возвращение» вышла первая книга Демидова – рассказы «Чуждая планета». В 2009-м – повести «Оранжевый абакур», в 2011-м – «Любовь за колючей проволокой». Они – дань памяти всем прошедшим круги сталинского ада и оставшимся на погостах этих страшных лагерей.

Автобиографический роман «От рассвета до сумерек. Воспоминания и раздумья ровесника века», который Демидов называл «главным делом своей жизни», не допи-сан. Он обрывается на событиях 1935–1936 годов, как уже говорилось, из-за ареста всех рукописей и черновиков в 1980 году.

Напомню, что еще на Колыме Демидов поклялся себе «выжить! Во что бы то ни стало выжить, чтобы описать весь ужас Колымы», рассказать о ГУЛАГе, этом «Освенциме без печей», о «конвейере лжи».

Он выполнил это. Правда, сам не увидел ни одной своей напечатанной строчки.

Повторю – многие рассказы из этих книг и автобиографический роман «От рассвета до сумерек», который сейчас предлагается читателю, писались в одно и то же время – в 1966–1969 годы.

Удивительно? Как можно было совмещать такую разную по материалу и эмоциональному накалу работу? И почему отец называл роман-хронику «главным делом своей жизни»?

Первая книга романа «Детство» – воспоминания мальчика от 5 до 12 лет – с 1913-го по 1920 год. Это время череды невероятных событий, беспрерывно сменяющих друг друга: мировая война и революция, чехарда смены властей и междувластие, террор белый и красный, переезды семьи, обвал жизненных ценностей, крушение надежд, резкий сдвиг в сознании людей. В частности, и у отца героя – Егора Ивановича Путинцева, в жизни – Егора Егоровича Демидова, о котором хочу сказать несколько слов отдельно.

Ветеран трёх войн – японской, германской и гражданской, полный Георгиевский кавалер (четыре Георгия). Во время Великой Отечественной войны остался в оккупированном Харькове с лежачей, умирающей женой Марфой Андреевной Демидовой. Во время второго окружения Харькова в марте 1943 года пытался вывести наших солдат из окружения, был застигнут немцами и расстрелян вместе с солдатами – таков финал жизни Егора Егоровича Демидова – Егора Ивановича Путинцева, характер которого точно передан сыном, автором романа.

Исторические события, описываемые автором, даны через призму детского восприятия, и это по-особому окрашивает их.

Из повествования отчетливо видно, как формируется характер героя, как он взрослеет, как проявляется негибаемая воля, вырисовывается Личность – человека, который сумел сделать себя сам, дотянуться до Знаний с большой буквы, стать и остаться впоследствии гениальным инженером, не сломаться, не согнуться в тяжелейших обстоятельствах.

Повествование ведется от первого лица – мальчика Димки. Поражает памятьливость рассказчика (и автора). Он не только по крупницам воссоздает события далекого прошлого, но и передает живые краски, запахи и ощущения детства. Почти осязаемы теплота и забота материнских рук, доброта и мужская надежность отца. И тут, кажется, становится понятным, почему Демидов писал одновременно и о ГУЛАГе, и о детстве. Почему ГУЛАГ не стер своими нечеловеческими условиями эти воспоминания. Я чувствую, как в лагере они защищали отца. «Умственная работа» памяти удержала его на поверхности жизни. Погружаясь в нее, он отключался от страшной



действительности, как бы поднимался над ней. Вспоминая, вытаскивая из недр сознания частицы прошлого, по крупицам восстанавливая события и ощущения детства, он защищал свой мозг, тренировал его, повышая, вопреки происходящему, свой интеллект. Память сохранила ему жизнь, помогла выжить.

И еще – не соединялись ли в его сознании там, в лагере, события, свидетелем которых он стал в раннем детстве, с тем, что пришлось пережить ему и всей стране в сталинские времена?..

Мне кажется, тут и кроется объяснение тому, почему писал он свой автобиографический роман одновременно с лагерными рассказами, как совмещалась такая работа и почему он называл роман «главным делом своей жизни». О том же, чем мог закончиться этот роман, можно только догадываться...

В послесловии к первой книге Георгия Демидова «Чудная планета» Маризетта Чудакова написала, что он и не думал быть писателем, но 14 лет советской каторги его вытолкнули в литературу, в которой он занял, «как очевидно сегодня, единственное в своем роде место».

Валентина Демидова

Часть 1

# Детство на городской окраине

Юбилей царствующего Дома

Марсово поле и Малая Охта

Родители, сестры, я и царевич с портрета  
августейшего семейства

Книжка о полете на луну

Проблемы мироздания и их решение

Бабка Пелагея и ее космогония

Бутерброды с икрой из отрывного календаря

Дары мусорного Эльдорадо

Жандармы находят мой пистолет и уводят отца

Мы едем в Полтавскую губернию



Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Взрослые часто задают ребенку этот вопрос, и еще чаще его ставит перед собой он сам. Ответ на него, если и вызывает иногда у маленького человека затруднение, то отнюдь не потому, что он испытывает недостаток в примерах, которым можно следовать и подражать. Чаще случается обратное. Такие примеры обступают его со всех сторон, смущая именно своим многообразием и связанной с этим трудностью выбора. Сам я среди множества других желаний прошёл в детстве через мечты стать кучером конки, пожарным, торговцем квасом вразнос, ломовым извозчиком и даже трубочистом.

Реже всего мы, ребятишки с петербургских окраин, хотели сделаться мастеровыми, как наши отцы. Их труд казался нам неинтересным и неблагодарным. Не привлекала никого из нас также должность городского, несмотря на всю восхитительность внешних атрибутов этой профессии: шашки, револьвера и свистка на длинном оранжевом шнуре. Кому охота быть «фараоном», которого никто не любит, а многие и презирают.

Конец моим колебаниям в выборе будущей профессии на довольно долгое время положил парад царской гвардии, который мне посчастливилось увидеть в один серый и хмурый февральский день. В этот день цифры «1613-1913» лезли в глаза со всех сторон, отпечатанные на календарях, открытках, специальных жетонах. Они были выложены зажженными плашками, а кое-где электрическими лампочками на карнизах домов и даже светились на низких, рано темнеющих облаках. Там, над столицей империи, эти цифры зажгли корабельные прожектора с Финского залива. По случаю трехсотлетия царствования династии Романовых происходил и парад на Марсовом Поле, бывший, соответственно этому случаю, особенно представительным и пышным.

Теперь я знал твердо – буду кавалеристом и больше никем. Притом, не вообще каким-нибудь солдатом-конником, а непременно гвардейским. Лучше всего кирасиром лейб-гвардии Его Императорского Величества. Впрочем, ничем не хуже было заделаться кавалергардом полка, носящего имя жены царя – императрицы. Дело тут не в названии, а в гвардейской форме, красивее которой, по-видимому, не было ничего на свете.

Конечно, мечты человека, которому едва только сравнялось пять лет, не формируются в столь громоздких понятиях и фразах. Они и существуют-то не столько в уме, сколько в его воображении в виде ярких и эффектных образов. И я представлял себя конногвардейцем на коне, таким же рослым, театрально красивым и бравым, как те, кто в великолепном кавалерийском строю проходил сегодня по желтому песку громадного царского плац-парада, переименованного впоследствии в площадь Жертв Революции. На красивых высоких конях в блестящей форме наполеоновских времен гвардейские части двигались по Марсову Полю бесконечной вереницей, производя эффектные повороты и переходы с одного аллюра на другой. Военский спектакль 13 февраля 1913 года соответствовал чрезвычайности монархического праздника. А парады Российской Императорской гвардии и по менее торжественным поводам поражали своим блеском и внушительностью не только маленьких простолудинов, но и выдавших виды иностранных дипломатов.

Оттого, что я смотрел гвардейский парад из окна верхнего этажа какого-то дома, выходящего фасадом в сторону огромного воинского плаца, и от предельной отработанности кавалерийского строя, мне казалось иногда, что конница не проходит площадь рысью, а как бы проплывает над самой землей, почти не касаясь ее копытами лошадей. Эскадроны двигались как монолитные живые прямоугольники, лишённые внутри себя всякой подвижности. И только если смотреть на них спереди, было видно, как мелькающие лошадиные ноги в первом ряду образуют подобие чего-то вроде быстро перемещающегося буруна или ровного гребня невысокого морского вала. Так, по крайней мере, это представлялось моему восхищенному воображению. А восхищаться было чем. Как в калейдоскопе, менялись яркие парадные формы ка-

валерийских подразделений, их оружие, даже масти лошадей. Кони тоже были подобраны красиво – одинаковые для каждого эскадрона. То вороные в белых «чулочках» и с такими же «звездочками» на лбу, то почти сплошь чёрные, то гнедые, буланные, белые... В блестящих медных касках с султанами или устрашающими украшениями из конского волоса пролетали пестрые уланы с тонкими пиками в переднем ряду. Мчались вооруженные длинными тяжелыми саблями драгуны, высоченные кирасиры в горящих, начищенной медью панцирях, как-то по-особенному скакали на своих невысоких конях бородатые гвардейские казаки. За кавалерией под гром оркестров, доносившийся и сюда, маршировали пешие полки преобразенцев и семёновцев, разворачивая на поворотах свои длинные шеренги непостижимо ровными и четко радиальными линиями. Перед геометрически точными прямоугольниками пехотных частей гарцевали на конях их командиры с обнаженными саблями в руках. Взмахами этих сабель они как бы подчеркивали свои четкие команды и ими же салютовали самому царю, принимавшему парад в окружении блестящей свиты.

Это была феерия, сон наяву. Мое сердце то почти останавливалось от восторга, так что холодели руки и ноги, то начинало биться, как пойманный воробей, готовое вот-вот выскочить из тесной клетки. Опасность этого события становилась почти реальной, когда к напору внешних впечатлений добавлялось еще действие буйного мальчишеского воображения. Оно вытягивало меня чуть не до треххаршинного роста, возносило в кавалерийское седло, облачало в медную кирасу и всовывало в руку обнаженный сверкающий палаш. С воинственным воплем я выбрасывал эту руку по направлению к дефилирующим внизу войскам и... получал от матери, стоящей рядом, очередной подзатыльник:

– Да уймешься ты? Знала бы, ни за что не взяла бы с собой, адивот чертов, прости господи!

«Адивот» означало, конечно, идиот. К этому эпитету я привык давно, как и ко множеству других, столь же нелестных. Сами по себе они не имели особого значения, если только не подкреплялись рукоприкладством, не то чтобы очень уж сильным, но неизменно обладающим неприятным отрезвляющим действием. Вот и сейчас лег-

кий удар ладонью по подстриженному ради праздника затылку враз вышибал меня из седла возвышающего самообмана. И грозный паладин снова превращался в невзрачного, обиженно шмыгающего носом мальчонку.

Кроме нас с матерью в большой, обставленной со сдержанной роскошью комнате было еще довольно много народу, главным образом женщин. Все стояли у высоких с частыми переплетами окон, некоторые тоже с детьми. Большей частью это была челядь большого барского дома, в который нас пустили посмотреть гвардейский парад. Несколько лет назад моя мать служила здесь горничной и еще не потеряла старых знакомств. Горничной она была, правда, «черной», то есть исполнявшей только самые грязные работы по дому. Для должности «чистой» горняшки в таких домах требовался уже некоторый городской лоск. А она была тогда совсем «серой», совершенно неграмотной девушкой, только что приехавшей в Питер из глухой деревни. Даже теперь на вопрос откуда она родом, мать отвечала – «скопская». Где уж было такой сделать карьеру челядинки в важном аристократическом доме. И за три рубля в месяц она мыла здесь полы и лестницы, пока не вышла замуж за мастерового Егора Путинцева, моего отца.

Однако тут ее помнили как безотказную, прилежную, а главное – на редкость скромную работницу. Не то что нынешние, набравшиеся откуда-то самомнения и неповиновения городские служанки. Благоволила по старой памяти к Марфе Путинцевой даже пожилая, подчеркнута старомодная баронесса Брезель – жена камергера и хозяйка дома. Она позволила посмотреть царский спектакль не только своей бывшей полomoйке, но и ее малолетнему сыну. И притом с такого места, которому позавидовали бы многие важные столичные господа.

Мы явились, конечно, задолго до начала этого спектакля. Помню нетерпение, которое разбирало меня, когда войска были уже готовы к параду, но еще не двигались, расположившись на огромной площади полукругом и ожидая чего-то. К моей немалой досаде оказалось, что задержка происходит из-за небольшой кучки людей, неторопливо приближавшихся к застывшему воинскому строю. Несколько впереди других шел ничем особенным не примечательный человек небольшого роста с рыжева-

той бородкой. Зрители у окон зашевелились и почтительно загудели:

– Царь идет!

Мать тоже произнесла испуганным шепотом:

– Смотри, Димка, царь! – и даже приподняла меня за локти над подоконником. Особой необходимости в этом не было, я и так был уже выше этого подоконника на целых полголовы, а главное, вовсе не хотел рисковать быть замеченным рыжебородым человеком на площади.

Слово «царь» я слышал часто и хорошо знал по портретам, как царь выглядит. Правда, я представлял его себе выше ростом и более внушительным внешне. В последний раз царский портрет я видел всего пару часов назад, когда шел сюда с матерью. В пышной тяжелой раме его несла толпа людей, шедших посередине мостовой и певших «Боже, царя храни». В нашей приходской церкви, в которую мать водила меня почти каждое воскресенье и в многочисленные праздники, царю громогласно провозглашали «многая лета». Изображение царского семейства в полном составе висело в нашей квартире в качестве поддержки для отрывного календаря. Даже с швейной машинки, которая была у наших соседей, царь и царица смотрели из овальных портретов, нанесенных на корпус яркой и прочной эмалью.

Однако даже я замечал у взрослых разное отношение к понятию «царь». Одни – в том числе моя мать – относились к нему с благоговейной почтительностью. Другие – совсем иначе, хотя я не мог понять толком, как именно. Главным представителем этих «других» был мой отец. Из-за разного отношения к самодержцу между родителями происходили иногда даже стычки, впрочем, всегда довольно легкие – мать умела вовремя уступить.

А вот с таким понятием как царская власть я был знаком только по сказкам бабушки Пелагеи – маминой мамы, гостившей у нас прошлым летом. Царь в этих сказках был неизменно деспотичен и свиреп. Находясь всегда в дурном настроении, царь мог ни за что ни про что отрубить кому-нибудь из окружающих голову. В редких случаях, когда царица рожала сына или случалась иная, всегда чисто личная удача, царь менял гнев на милость и жаловал приближенных кафтаном со своего плеча или красавицей невестой. Состояние духа для царя из бабушкиных



сказок было почти единственным основанием и поводом для его поведения по отношению к своим подданным. В таком же понимании прав и возможностей монарха утвердился и я. Абсолютная власть в сочетании с крутым и лютым нравом делала царя личностью не слишком симпатичной, зато жутковатой, а следовательно, и интересной. Хорошо бы и сейчас он разгневался из-за чего-нибудь и приказал бы отрубить кому-нибудь голову! Только, конечно, не мне. И я, высвободившись из материнских рук, опасно пригнулся под подоконником.

Царь, однако, не проявлял никаких признаков свирепости. Он подошел к маленькому столику, одиноко стоявшему посреди громадного плаца, взял с блестящего подноса серебряную чарку и поднял ее в приветственном жесте по направлению к замершему строю гвардейцев.

– За здоровье Воинства Российского государь-император чарку поднимает, – растроганно прокомментировал этот жест и неслышную отсюда речь царя седобородый старик с крестами и медалями на груди швейцарской ливреи. Вероятно, так оно и было, потому что, когда царь запрокинул голову и выпил водку точно таким же образом, как это делали дяди в пивной и некоторые из папиных гостей, в ответ грянуло такое «ура», что дрогнули двойные рамы монументального особняка. Вот тут-то и зазвучали команды, загремели оркестры, и началось то великолепное шествие гвардейских частей, которое сразу же затмило неяркое впечатление от царя и задвинуло его куда-то в темный угол моей памяти.

Домой до своей Малой Охты мы добирались довольно долго. Сначала шли пешком, потом ехали на трамвае, пересаживались на конку и снова шли пешком. И почти всю дорогу я дергал мать за юбку и говорил, что когда вырасту, то тоже буду солдатиком, который скачет на лошади, надувает щеки, таращит глаза и, непрерывно размахивая саблей, воет «у-у-у...».

– Будешь, будешь, – рассеянно соглашалась мать. Но раза два не обошлось и без «адивота», когда, репетируя верховую езду, я садился верхом на уличную тумбу или пускался в галоп по тротуару.

Дом, в котором мои родители снимали квартиру, был кирпичный, полуторазэтажный, то есть одноэтажный с полуподвалом. От этого, да еще, наверное, от ветхости

он казался как бы вросшим наполовину в землю. Входа с улицы дом не имел, зато со двора у него было целых три входа. Один с высоченным крыльцом, служившим одновременно и наружной лестницей, вел на верхний этаж, где жили хозяева и «чистые» жильцы. У двух других ступеньки спускались вниз в полутемные квартирнки рабочих. По этим ступенькам и через темные сенцы мы вошли в нашу «кухню». Так называлась передняя часть небольшого помещения, выгороженная из его скудной площади деревянной перегородкой с вделанным в нее оконцем. По мысли строителей, кухня через это оконце должна была освещаться светом из двух маленьких окон, выходящих уже на улицу. Но нижняя их половина глядела вовсе не на улицу, а на грязную кирпичную кладку ямы, забранной сверху железной решеткой. Нехватку света усиливала еще герань в горшках, густо разросшаяся на подоконниках. Без этого неприхотливого, но яркого и жизнерадостного цветка даже самое убогое рабочее жилище было в те времена почти невыносимо. Представление о герани на окнах, как о некоем атрибуте мещанства, усердно насаждалось уже в советское время людьми, вряд ли подозревавшими, что они перепевают высокомерное мнение об этом скромном растении дореволюционных аристократов.

Однако оно заслоняло и без того скудный свет из окон, и в нашей «комнате» – так называлось пространство за перегородкой – было вечно полутемно. На «кухне» же без жестяной керосиновой лампы на стене удавалось обходиться разве только в самые яркие солнечные дни, случавшиеся в Питере не столь уж часто. Горела она и сейчас с сильно прикрученным фитилем для экономии керосина. Топилась на кухне и маленькая кирпичная плита с прикрытым поддувалом. Ее растопил оставшийся дома по случаю праздника отец, чтобы можно было разогреть заранее приготовленный матерью обед сразу, как только мы вернемся с парада. Через полуприкрытую дверь в комнату было видно, что он сидит на стуле, держа на коленях радостно возбужденную Тайку, мою младшую сестру-погодка. Колено изображало лошадь, а Тайка – всадника. «Лошадь» норовисто подбрасывала задом, «гоп-гоп-гоп», а сестра, испуганно вцепившись руками в отцовскую штанину, восхищенно взвизгивала. Белесые волосы сва-

лились ей на лицо, оставив открытой только одну раскрасневшуюся щечку и один, радостно сверкающий синим светом глаз.

Наскоро раздевшись, я вбежал в комнату и посмотрел на Тайку с презрением. Что она понимает в верховой езде, если никогда и верховой лошади-то не видела! То ли дело моя осведомленность на этот счет, особенно после только что виденного конногвардейского парада! И я полез под комод, чтобы достать оттуда извозчичий кнут, выменянный мною у дворовых мальчишек за несколько спичек, стащенных у матери из коробка в кухне. Этот кнут обычно служил мне лошадью, но иногда он превращался еще в шпагу. Собственно шпагу изображало кнutowище. Портупеей же служил ремешок кнута, если привязать его свободный конец к верхней части кнutowища и продеть образовавшуюся петлю через плечо. Щеголять время от времени при своей шпаге меня понуждало желание хотя бы несколько походить на цесаревича Алексея, изображенного на групповом портрете августейшего семейства. Портрет, в нижней части которого была закреплена книжечка отрывного календаря, выделялся ярким пятном на сыроватой стене нашей комнаты чуть поодаль от комода. Царь с широкой сиреневой лентой через плечо стоял рядом с царицей, рослой красивой женщиной с холодным, надменным лицом и обнаженными плечами. К бедру царя прислонился его сын, хорошенький мальчик, разве что на какую-нибудь пару лет старше меня. Отец коленой рукой нежно поддерживал его за плечо. Сзади по росту расположились четверо ничем не интересных девчонок – царских дочерей.

Царевичу я здорово завидовал из-за его ладной военной формы, пожалуй, даже больше, чем кавалергардам. Военный костюмчик наследника престола был пригнан точно по его фигурке, не то что моя одежонка, которую вечно шили «на вырост». Сбоку у царевича висела шпага с красивым эфесом, тоже сделанная по росту. Тут я постарался несколько приблизиться к великолепию принца, приобретя кнут, якобы забытый каким-то извозчиком в соседней чайной. Мальчишек, у которых я выменял кнут, мать называла «фулюганами» и «уличными» и категорически запрещала мне с ними якшаться. Но якшаться, конечно тайком, все-таки приходилось. Мальчишки

были единственными поставщиками множества необходимых и полезных в моем хозяйстве вещей, соглашаясь принимать в обмен за них десяток-полтора спичек. Они в них сильно нуждались, так как уже курили, подбирая на улицах «бычки». Не составляло для «уличных» проблемы и спичечные коробки, которые взрослые курильщики выбрасывали, когда те опорожнялись. А вот негорелые спички не валялись нигде.

Кнут был одним из самых удачных моих приобретений по причине своей универсальности. Однако и у этой универсальности, как и у всего на свете, имелась своя оборотная сторона. В сердцах мать не раз пыталась употребить кнут по его прямому назначению, что и заставляло меня держать его где-нибудь подальше от ее глаз.

Усевшись верхом на кнутовище, я показал сестре, как ездят на конях настоящие всадники. На нее, однако, это не произвело особого впечатления. Когда же я сказал, что тоже буду кавалеристом, когда вырасту большой, Тайка попыталась повторить мудреное слово «Кава... Кавалистом» и залилась дурацким смехом. Ну что тут было смешного?

Мать, даже не раздеваясь, а только торопливо размотав теплый платок, склонилась над плетеной колясочкой, в которой угугукала вторая моя сестра Поля. Поле был всего год, но она считалась в нашей семье примерным ребенком, отличаясь удивительно спокойным характером. Она хорошо спала, редко плакала и всем приветливо улыбалась старческим ротиком, в котором было всего два зуба, да и те только снизу. Мать в Поле души не чаяла и постоянно хвалила, несмотря на отчаянную боязнь «сглазить» ребенка. Мне она ставила в пример младшую сестру особенно часто, уверяя, что даже в ее возрасте я был уже законченным «адивотом».

- Ну как, царевы гости? - обратился к нам отец, ссаживая с колен весьма недовольную этим дочь. - Что ж вас царь-батюшка к себе на пир не позвал? Обед во дворце сегодня, небось, знатный...

- На пир не позвал, - в тон ему ответила мать, - зато мы его самого видели!

- Царь водку пил, - уточнил я ее сообщение, продолжая гарцевать на своем кнутовище. Затем остановился и показал, как это происходило. Запрокинув голову, я вы-

лил в широко открытый рот содержимое воображаемой чарки, крикнул, как это всегда делают в таких случаях взрослые, вытер воображаемые усы и с криком «Ур-р-ра-а-а!» перешел в галоп. Теперь я уже изображал царскую конницу, ликующую по поводу выпитой ее властелином чарки.

- Это он может! - усмехнулся отец. - Насчет водочки наш батюшка куда как горазд!

- Да уж не больше, наверно, чем ваш брат, мастеровщина...

Мать произнесла это с неожиданным ожесточением, хотя в неуважительном тоне с мужем старалась обычно не разговаривать. Даже если он явно поддразнивал своим свободомыслием монархически настроенную жену. Где уж ей, неграмотной, не бывалой, спорить с таким высокообразованным человеком, каким был, по ее мнению, Егор Иванович. Однако сейчас мать находилась еще под впечатлением только что виденного монархического парада. А городских - разухабистую, частенько пьяную «мастеровщину» - она здорово недолго любила.

- Это я, что ли, больше твоего царя пью? - насупился отец.

Корить в его лице мастеровых людей за пьянство было со стороны матери не слишком удачным ходом - ее муж почти не пил. Спohватившись, она перешла на примирительный тон:

- Да разве я про тебя? - и, чтобы замазать неприятный разговор, запричитала, вынимая Поленьку из коляски: - Золотая ты моя, тихонюшка ты моя...

Мама у нас была добрая и совсем не страшная, несмотря на некоторую бранчивость и склонность к аргументации физическими средствами вроде руки, веника, хворостины или того же кнута, если он попадался ей под руку. Другое дело отец. Одна только мысль о его гневе приводила нас в трепет, хотя за всю свою жизнь никого из ребят он не тронул и пальцем. Но если глава семьи, находясь дома, пребывал в дурном настроении, мы с сестрой уходили во двор или, если этого не позволяла погода, забивались куда-нибудь в угол и сидели там тихо, как мыши. При этом нами руководила вовсе не боязнь отцовской затрещины, мысль о ней даже в голову нам не приходила. Тут действовало почтительное уважение,

конечно почти подсознательное, к верховному патриарху и кормильцу семьи, привитое нам матерью. Но когда этот патриарх был настроен благодушно, а так большей частью и бывало, с ним можно было допускать любую фамильярность: дергать за усы, бодать головой в живот, забираться к нему на плечи.

Мать не просто любила своего Егорушку. Подавленная его действительно незаурядной бывалостью, огромными, по ее бедным понятиям, знаниями, умением чуть не все объяснить и очень многое делать, она его обожала. Прошедшие через увеличительное стекло этого обожания свои представления о действительных или даже мнимых достоинствах мужа простая женщина пронесла через всю свою трудную, большей частью мученически горькую жизнь. Авторитет мужа преодолевал – иногда, правда, не сразу – даже ее внутренний протест против казавшегося ей почти кощунственным его вольнодумного отношения к таким понятиям, как царь и Бог. Однако никакой нетерпимости к консервативным взглядам своей жены Егор Иванович никогда не проявлял, лишь постепенно разрушая их средствами незлой, но колкой иронии.

Это был внушительный и статный мужчина с красивыми темно-каштановыми усами. Он тоже был родом из деревни, но ушел в Питер не из-за крайней нужды, как мать, а из-за неодолимого влечения к широкому, захватывающе интересному миру. Наверное, была в этом влечении и неосознанная до конца юношеская мечта о каких-то свершениях. От дани такой мечте почти никогда не бывают свободны люди того душевного склада, каким обладал мой отец. Однако реальный мир, в котором оказался деревенский паренек, ушедший из небедного отцовского дома только с небольшим узелком на палке, оказался весьма неуютным, холодным и черствым. Егорка Путинцев прошел и через жестокое фабричное ученичество, и через полусуточный рабочий день пролетария века пара и классического, марксового капитализма, и через солдатскую службу. Начало этой службы совпало с войной в Китае, куда он был отправлен в составе войск, подавлявших широкое, но слабое народное сопротивление иностранному владычеству, а конец – с куда более серьезной войной в Маньчжурии. В знаменитом сражении под Мукденом, которое завершило поражение России,

отец был тяжело ранен, взят японцами в плен и два года пробыл в Нагасаки. И только в конце этой одиссеи, снова оказавшись в Петербурге, он женился на молоденькой, но тоже уже успевшей досыта хватить нужды и горя горничной Марфутке. Она была моложе его лет на восемь.

В родном селе где-то на Оке недалеко от Мурома Егор окончил четырехклассную приходскую школу, что по тем временам считалось весьма неплохим образованием. Однако главной частью своих знаний он был обязан не школе, а врожденной любознательности и пристрастия к чтению. Правда, читал Егор Иванович бессистемно, интересуясь всем, что было хоть сколько-нибудь доступно его пониманию. Всюду старался достать популярные книги по механике, астрономии, истории изобретений. Особенно любил он книги о путешествиях, увлекался приключенческой литературой, но также охотно читал и, как я понял впоследствии, хорошо понимал Горького, Тургенева, Куприна. Читал отец, если попадались, и переводные романы.

Работал он тогда на каком-то механическом заводе, специализировавшемся на ремонте локомотивов и паровых котлов. Работа эта была тяжёлая и грязная. Уходил отец на работу рано утром, когда мы, дети, еще спали, а возвращался домой большей частью уже затемно, всегда очень усталый. Поэтому по-настоящему мы видели его только в праздничные дни, вот как сегодня. Да еще в субботние вечера, когда рабочий день был значительно короче.

Повозившись с Полей, мать снова уложила ее в колясочку и ушла на кухню. За ней последовала и Тайка, надувшаяся на отца за то, что он больше не хотел ее катать. Причиной этому была толстая затрепанная книга, с которой он с трудом расставался и читал, пользуясь каждой свободной минутой. И сейчас отец раскрыл ее, подсев к окну, сквозь которое едва просачивался мутный серый свет. Я спросил у него, о чем книга. Он ответил, что о дядях, которые летали на Луну. Я удивился. Разве у дядей бывают крылья? Оказалось, что они летали не с помощью крыльев, а сидя в ядре, выпущенном из пушки. Это было здорово, но сразу же возник вопрос: какая же для этого понадобилась пушка и как уцелели смелые дяди, шмякнувшись на Луну? Отец сказал, что пушка была громадная,

а что случилось с путешественниками он еще сам не знает, так как не успел дочитать книгу до конца. А в общем, все это выдумка. Я удивился еще больше: если выдумка, то зачем ее читать? Становилось ясно, что если не принять срочных мер против моего вопрошательства, то узнать, что будет дальше с жюльверновскими астронавтами, отцу вряд ли когда-нибудь удастся. Что-то вспомнив, он полез в карман:

- Вот, Димка, решил я тебя сегодня медалью наградить... - и раскрыл ладонь, на которой сверкала новехонькая бронзовая медаль. - Ну-ну, бери!

Завороженный золотым блеском довольно большого металлического кружка, я не сразу поверил, что отец дарит мне эту великолепную вещь всерьез. А когда поверил, то схватил медаль, позабыв даже поблагодарить. Верным оказался и расчет отца на отвлекающее действие роскошного подарка. На некоторое время я действительно забыл о странной книге, в которой написано то, чего на самом деле не было.

Это была юбилейная медаль, выбитая по случаю все того же трехсотлетия Дома Романовых, которую можно было просто купить. Но отцу, как ветерану двух войн и полному георгиевскому кавалеру, выдали ее на заводе бесплатно. Это был верноподданнический жест владельца предприятия. Для ношения медаль не предназначалась, хотя колечко для прикрепления к одежде в ней было. На одной стороне медали было сделано хорошо мне известное изображение царя Николая Второго, на другой - какого-то мужика в остроконечной шапке с крестом на её верхушке и в чем-то вроде одеяла, накинутого на плечи. Совершенно непонятным было также назначение предметов, которые он держал в руках. В одной был шар, тоже с крестиком наверху, в другой - короткая палка, похожая на балясину из ограждения церковных хоров, только потоньше и поменьше размером.

Все это, конечно, требовало объяснений. Однако на радостях я не сообразил потребовать их от дарителя сразу и, найдя обрывок шпагата, привязал им медаль к одной из пуговиц своей рубахи. Потом превратил свою лошадь в шпагу, нацепил ее на правое бедро, взгромоздился на стул и стал смотреть в зеркало, стоявшее на комод. Одновременно я косил глазом на царевича с календаря и на



фотографию отца, привезенную им с японской войны. Эта фотография висела над комодом среди множества других, куда менее интересных. Почти все они изображали наших деревенских родственников, которых, за исключением одной бабушки, я никогда не видал. Все деревенские смотрели с карточек, выпучив глаза, как кролики на удава, и все как будто проглотили аршин. А вот папа – в нашей семье он назывался уже на городской манер, хотя большинство рабочих оставались для своих детей еще «тя-тями», – смотрел с карточки на стене совершенно спокойно и даже, как и в жизни, слегка усмехаясь в усы. Через всю грудь у него тянулся длинный ряд крестов и медалей. Закрепленные на кусочке синего бархата, красиво оттенявшем их оранжево-черные георгиевские ленты, эти награды висели тут же в застекленной раме. Над всем этим скоплением семейных реликвий красовались парадные фотографические портреты отца и матери, сделанные в день их свадьбы. Отец был при галстуке, а мать – в платье с буфами на плечах и в огромной шляпе с цветами! Ни такого платья, ни такой шляпы в доме у нас не было, видимо, они были взяты напрокат. И тут отец смотрел из своего овала спокойно и уверенно, а мать – с испуганным выражением в слегка остекленелых глазах.

По сторонам зеркала на комодѣ стояли весьма ценные и хрупкие вещи. Две синие с золотом фарфоровые вазочки для цветов, которых, впрочем, в них никогда не было, и фаянсовая шкатулка в виде лежащего барана со съемной верхней частью. Не только трогать эти предметы руками, но даже близко подходить к ним категорически воспрещалось. Отец, конечно, ничего, а мать – та непременно отгонит меня от комода, если войдет сейчас, да еще обругает, что залез с ногами на стул. Поэтому, кроме своего отражения в зеркале, фотографии отца, изображения цесаревича, я должен был держать в поле зрения еще и дверь на кухню.

Своим отражением в зеркале я остался вполне доволен. С приобретением медали я даже превзошел в некотором отношении царского сына, у которого ни одной медали не было, и несколько приблизился в этом отношении к отцу. У того, правда, их была целая куча, да еще серебряные кресты. И подвешены они были не на шпагате чуть повыше пупка, как у меня, а на муаровых лентах с

левой стороны груди. Зато у отца не было шпаги. Удовлетворенный первым впечатлением, я слез со стула и подергал отца за рукав. Однако мой внушительный и brave вид не вызвал у него особого восторга. Чуть приподняв глаза от книги, он только неопределенно буркнул:

- Угу... - и снова углубился в чтение.

Тогда я пошел на кухню покрасоваться своим видом перед женщинами. Но и тут встретил равнодушие и полное непонимание. Сестра, правда, несколько заинтересовалась, но вовсе не мной, а незнакомым мужиком на медали, и спросила об этом мать. Та вместо ответа закричала, что медаль не игрушка, и я должен ее сию же минуту снять. Я обиженно ответил, что она подарена мне отцом насовсем. Мать вздохнула, сердито пробурчала что-то и завозилась у плиты, а мы с Тайкой отправились просить разъяснений у отца. На вопрос, кто такой мужик в остроконечной шапке, он ответил, не отрываясь от своей книги, что это царь Михаил Федорович Романов.

- А разве цари бывают Михаилы? - удивился я, так как был почему-то уверен, что царь непременно должен быть Николаем.

- Бывают, - ответил отец.

- А когда был царь Михаил?

- Давно, триста лет назад.

Я умел считать почти до ста и очень этим гордился. Собственно, даже не считать, а механически перечислять по памяти цифры числового ряда. Однако я знал, что этот ряд продолжается и за пределами цифры сто и что где-то в самом его конце, совсем близко от предела всякого счисления, находится именно число триста. Поэтому давность существования царя Михаила внушила мне смутное почтение. Однако представление об этой давности ввиду громадности числа выражавших ее лет осталось для меня отвлеченным понятием, и я попробовал конкретизировать его путем сопоставления с возрастом известных мне людей.

- Тогда и меня еще не было?

- Не было.

- А тебя?

- Тоже не было, - ответил отец.

- А бабушки Пелагеи?

- И бабушки не было.

Отдаленности времени, превышающего возраст нашей бабушки, я представить себе уже не мог, и разговор зашел в тупик. Поразмыслив немного о непостижимости больших чисел, я перешел к более легким мыслям о виденном утром параде, снова сел на кнутовище и несколько раз проскакал на нем по комнате. Однако места для верховой езды тут было очень мало. В одном углу стояла кровать родителей, в другом громоздился большой сундук, на котором стелили постель для меня и Тайки. Чуть не на середину комнаты выпирал толстым пузом комод. Особенно не разгуляешься. Скорее бы стать большим, поступить в кирасиры и ездить по просторному Марсову Полю на коне и, конечно, при сабле, в блестящем панцире и медном шлеме. Тут мне пришло в голову, что на довольно многочисленных военных фотографиях отца, где он снят большей частью с товарищами-солдатами, ни у кого из них сабли нет, только ружья и штыки. И я спросил у отца, почему это так.

– А на кой она шут? – ответил он вопросом на вопрос, по-прежнему не поднимая глаз от книги.

Я был неприятно удивлен и почти возмущен таким его пренебрежением к импозантному и грозному оружию. Иметь настоящую саблю – это здорово! Ею можно угрожающе размахивать, рубить головы всем, кто не проявляет к тебе достаточной почтительности или просто чем-нибудь обладателю сабли не нравится. Наконец, это просто красиво и внушительно! Вот уж я, когда вырасту и стану настоящим кавалеристом, буду носить саблю постоянно, даже дома. Даже спать буду с ней, потому что воин всегда должен иметь при себе оружие, на случай если нападут враги. Все это я высказал отцу без особого красноречия, зато с большим энтузиазмом и немалой долей запальчивости. Он слушал меня вполуха, а потом обронил презрительно:

– Селедка...

«Селедками» назывались у нас шашки полицейских. Я попытался доказать, что сабли настоящих солдат совсем не такие, как нестрашное оружие бабистых «фараонов». Они у них такие острые, что – вжик! – и человек разваливается пополам. И есть такие длинные, что ножны, в которых они находятся, волочатся по земле. Поэтому для тех редких случаев, когда вооруженный такой саблей

воин шествует пешком, на конце ее ножен приделано колесико. И кто может противостоять этому воину, когда на его голове красуется шлем, а на груди – медная кираса?.. Все это я представлял себе совершенно ясно, но для передачи своих представлений у меня не хватало слов. Поэтому моя речь в защиту кавалерийского оружия состояла больше из отчаянной мимики, жестов и междометий. Это приводило, как мне казалось, к недоразумениям.

– А, самовар... – сказал отец, когда я втолковывал ему, что такое панцирь кавалергардов. Да не самовар, пытался я ему объяснить, а такая штука, вроде безрукавки, которую одевает мама, когда ходит в сарай за дровами. Только она сделана из меди и действительно блестит, как наш самовар в праздники. А человек, надевший на себя эту штуку, совершенно неуязвим, потому что она крепкая-крепкая, ничем не пробьешь. Я выпячивал грудь колесом и стучал по ней кулаками, изображая ничему не поддающуюся броню.

– Самовар, – еще более пренебрежительным тоном повторил отец, который, как оказалось, понял меня с самого начала.

– Баб, да таких, как ты, дураков на парадах удивлять. Пуля из винтовки десять штук подряд таких самоваров пробьет.

Я тогда еще не знал, что бывалый пехотинец никогда не упустит случая, хотя и беззлобно, подтрунить над кавалерией, которой втайне всегда завидует. А тут к тому же речь шла о гвардии с ее полубутафорской парадной формой. Но мне очень не хотелось расставаться с уверенностью в мощи бронированных конников, и, торопливо подбирая аргументы в их защиту, я не заметил, как из кухни появилась Тайка, слышавшая, как оказалось, наш спор, но ничего, конечно, в нем не понявшая. Подойдя к отцу поближе, она пискнула:

– Самовал! – и по-дурацки рассмеялась.

Кто ее просил вмешиваться в мужской разговор! Я сделал вид, что снимаю с плеча свою шпагу. Сестра знала, что эта шпага в таких случаях превращается в куда более опасный и вполне реальный кнут. Она зашла за стул, на котором сидел отец, показала мне язык, а потом приказалась к отцу, не преминув покляузничать:

– Димка дерется!

- Храбрая у отца за спиной...

- Пап, - спросил я, несколько меняя тему разговора, - а почему ты с войны ружье не привез?

- А оно, сын, - ответил он на этот раз почти серьезно, - мне и там хуже горькой редьки надоело...

И до чего же трудно находить с ним общий язык, когда речь заходит о войне и об оружии. Ружье было для меня столь же восхитительным предметом, как и сабля. Но отец, хотя и не говорил о нем в таком же пренебрежительном тоне, как о кавалерийском вооружении, никогда не выражал ни малейшего желания обладать или пользоваться им. Вообще, ко всему, что связано с войной, у него было странное, непонятное для меня отношение. Когда я однажды спросил у отца, почему у него больше крестов, чем у других солдат на фотографиях, неожиданно мать опередила его с ответом. Она объяснила мне, что кресты на войне дают за храбрость, а так как наш папа храбрее всех, то и наград у него больше. Отец казался не слишком довольным этим объяснением и пробурчал что-то насчет того, что большинство храбрых солдат получает в награду кресты деревянные. Я спросил, почему же тогда у него самого нет деревянного креста? И мать ни за что ни про что хватила меня по лбу ложкой - дело было за обедом. Некоторое время после этого я молчал, потирая ушибленный лоб и размышляя, а потом сказал, что папа, наверное, сам не захотел взять деревянный крест - серебряные-то гораздо красивее. Мать обозвала меня приставалой и идиотом, который и поесть-то по-человечески родителям не даст. А отец, усмехнувшись, заметил, что те, кому положен деревянный крест, никаких претензий по этому поводу никогда не заявляют. Это было непонятно и нуждалось в разъяснении, но отец, надев фуражку, ушел из дома, и разговор тогда прекратился. Прекратилась наша беседа с ним и сейчас, так как мать позвала всех на кухню обедать.

Мир для меня в то время был невероятно интересным и большей частью непонятным. Как и всех пытливых детей, меня интересовал вопрос, куда девается солнце, когда закатывается по вечерам за край поля, на которое выходила наша улица. Каким образом устроена в будильнике музыка, которая играет в точно установленное время? Почему воробьи чирикают, в вороны каркают,

а не наоборот? Почему нельзя видеть ртом и слышать глазами? И почему дяди носят штаны, а тети – юбки? Даже отец, который терпимее всех относился к моим бесконечным вопросам, ответить мог далеко не на все из них, настолько они были неожиданными, а подчас и замысловатыми. Впрочем, несмотря на проживание под одной крышей, поговорить с ним по душам мне удавалось редко. Подавляюще большую часть времени он находился на работе, а в праздники либо читал книжки, либо уходил куда-то, либо к нему приходили приятели.

На некоторое время я получил весьма обстоятельного и безотказного консультанта, правда, главным образом по вопросам общей космогонии, в лице бабушки Пелагеи, гостившей у нас в прошлом году почти половину лета. Солнце у нее укладывалось на ночь спать в хрустальном дворце, находившемся по ту сторону великого моря-окияна, гром производила колесница Ильи-пророка, в неясных пятнах на Луне изображался Каин, поднявший на вилы своего брата Авеля. Однако на большинство вопросов, не связанных со столь крупными проблемами мироздания, вроде того, почему бегают трамвай или отчего кошки не едят огурцов, она отвечала уклончиво: «Так уж Бог сотворил» или «Так уж людская мудрость да руки человеческие устроили».

Отец, однако, относился к поэтическим мифам бабушки без особого одобрения, а один раз даже назвал их деревенскими баснями. Из-за этого они рассорились, и бабушка скоро уехала. Произошло это в день частично-солнечного затмения, выпавшего на ясное июньское утро прошлого года. Так как было воскресенье и отец не пошел на работу, он устроил в нашей квартире что-то вроде дворового штаба по наблюдению за солнцем. На столе в кухне стояла лампа без стекла с высоко выкрученным фитилем и отчаянно коптила. Тут же лежала груда продолговатых осколков битого оконного стекла. Отец держал эти стёкла над серой кудрявой лентой копоти, поднимавшейся от фитиля, и они покрывались черным бархатистым налетом, который очень хотелось потрогать руками. Мать стояла на пороге настежь открытой в сенцы двери и передавала готовые стекла ждущим их во дворе самодеятельным астрономам. При этом она ворчала, что только еще какого-то затмения не хватало ей на голову,

из-за него недавно выбеленная кухня опять станет чернее кузни! Я, конечно, вертелся тут же и тоже очень хотел получить закопченное стекло, но мне его не доверяли – еще порежешься!

– Начинается! – крикнул кто-то со двора. Отец торопливо докоптил последнее стекло и вышел. За ним тоже с закопченным осколком в руке последовала мать, хотя всем своим видом она старалась показать, что столь шумного интереса к небесным событиям не разделяет. Что касается бабушки, то та считала праздный интерес к небесным событиям кощунственным и даже не выходила сегодня на улицу, насупившись, сидела на нашем сундуке. Обо мне все забыли. Я взял со стола кусок закопченного стекла, забракованного потому, что во время копчения он слегка треснул, и вышел с ним во двор. Здесь, не замеченный никем, я пристроился позади группы взрослых, так же как и они приставил стекло к глазам и стал смотреть на солнце. Оно оказалось почему-то густо-красным, неожиданно маленьким и уже не совсем круглым. Заинтересовавшись этими особенностями видения через закопченное стекло, я прислонил его к лицу вплотную и в поисках лучшего участка для наблюдения слегка повел им из стороны в сторону. И тут меня неожиданно ослепил солнечный луч, прорвавшийся каким-то образом сквозь слой копоти. Невольно ойкнув, я закрыл лицо поверх стекла ладонями.

– Посмотрите-ка на Димку! – сказал кто-то, оглянувшись на этот мой вскрик, и я услышал дружный взрыв хохота.

Дело в том, что, приставив стекло к лицу его закопченной стороной, я протер сажевый слой своим носом и бровями. Мать, конечно, обозвала меня идиотом и отшвырнула стекло в сторону.

– Как еще не порезался, неслух! – и отвела к бабушке.

Та, кряхтя, слезла с сундука, отвела меня к раковине и, неодобрительно что-то бурча, стала смывать с моей физиономии жирную въедливую сажу. Слушая восторженные выкрики со двора, старуха недовольно ворчала:

– И чему радуются, нехристи? Не к добру ведь это! Ой, не к добру! Морю быть или великой войне, спаси и сохрани нас, господи!

Она крестилась мокрой рукой, а я попросил у бабушки объяснения, что, собственно, происходит сейчас на небе. Она охотно объяснила. Происходит там вот что: какой-то страшный и злой Змей заглатывает солнце. Этот Змей спит и во сне видит, как бы ему еще чем-нибудь напакостить людям. И самой лютой его мечтой является лишить их солнечного света.

Сначала я подумал о том, что в пасти у Змея сейчас, наверное, так же горячо, как было утром во рту у меня, когда я второпях закинул в него недостаточно остывшую картофелину. Но потом меня обуял страх. Ведь если Змей и в самом деле слопает солнце, то как же всем тогда быть? Неужто так всегда и сидеть в потемках?

- До этого-то Бог не допустит, - успокоила меня бабушка. - Отрыгнет солнышко проклятый Змей. Это ему только так позволено людей поугагать, чтобы Бога не забывали.

Но тут со двора донесся радостный галдеж наблюдателей затмения. Новое поколение людей воспринимало божье предупреждение явно легкомысленно, и бабушка, безнадежно махнув рукой, опять ушла в комнату. Когда после полутьмы кухни я снова выбежал во двор, мне показалось сначала, что солнце светит так же ярко, как и всегда. Но потом, присмотревшись, я заметил, что контраст между тенью и светом на земле не такой резкий, как обычно. А кто-то из наблюдателей, по-прежнему смотревших через свои стеклышки, заметил :

- Гляди, чуть не половину солнца уже не видно!

Значит, злой Змей действительно делал свое скверное дело, и мне очень захотелось на него взглянуть. Но сделать это незащищенными глазами было нельзя - мешал еще не проглоченный остаток солнца. Мое стекло, ударившись о стену, разбилось вдребезги, а другого не было. Оставалось рассчитывать только на информацию о событии со стороны его наблюдателей. Поэтому, как только Змей, как и предсказывала бабушка, отрыгнул солнышко и наблюдения за ним прекратились, я обратился с расспросами об этом Змее к отцу. Сначала он даже не понял, о чем я его спрашиваю, а потом рассердился. И сказал бабушке, что она мне «забывает баки». Бабушка надулась еще больше и даже отказалась обедать, а у меня к куче нерешенных вопросов прибавились еще но-



вые – например, где у меня какие-то «баки» и что значит их «забывать»? Я сунулся было за объяснением к матери, но заработал очередного «адивота» и был выставлен на улицу, чтобы «не добавлял зла». Большая часть вопросов, волновавших меня в этот день, впоследствии выяснилась. А вот в чем заключается первоначальный смысл выражения «забывать баки», я не знаю толком и до сих пор.

Из всех моих консультантов мать была самым плохим. Чаще всего вместо ответа она говорила «Отстань!» или «Некогда мне». Ей действительно было почти постоянно некогда, но нередко за занятостью она скрывала свое неумение ответить. Сознание собственного невежества тайно мучило ее всю жизнь, однако попытку преодолеть его она считала делом уже безнадежным. И все-таки я замечал иногда, что некоторые вопросы своих детей она тайком переадресовывала мужу. Например такой: кто изображен на оборотной стороне юбилейной медали? Мать не знала, что ответ на него мы уже получили. Однако на некоторые из моих вопросов, настолько заумных и неожиданных, что они могли бы поставить в тупик и воспитателя с куда более солидной эрудицией, чем у нашей мамы, она давала иногда столь же неожиданные ответы. Однажды, когда мы с ней ехали на конке, я спросил у нее:

– Если бы лошади были умные, то тогда бы они на нас ездили. Да?

Сначала на лице матери отобразилось отчаяние, и она произнесла плачущим голосом:

– Господи, у людей дети как дети, а у нас адивот какой-то растет!

Но потом в ней проснулась недавняя крестьянка, и мать вступилась за лошадей:

– Они умные, очень умные! Только добрые и безропотные. Поэтому-то и прибрали их люди к рукам.

По всему выходило, что в деле познания мира надо, прежде всего, рассчитывать на самого себя. То есть думать, сопоставлять и обобщать общеизвестные факты, производить постоянные наблюдения, а иногда даже ставить опыты.

Бабкина космогония входила в постоянные противоречия с объяснениями отца, которые тоже далеко не всегда были достаточно вразумительными. Поэтому многим явлениям природы я придумывал собственные

объяснения. Например, колесницу Ильи-пророка я заменил водовозной бочкой, на которой Бог ездит по небу, когда хочет пролить на землю дождь. Тогда он вынимает из этой бочки затычку, и вода, выливаясь из огромной дыры, льётся на землю через отверстия, специально просверленные для этого в небосводе. Так как в жилище Бога очень светло, то ночью эти дырочки видны в виде многочисленных звезд. Во время грозových летних дождей Бог так быстро гонит лошадей, что по временам слышно, как его бочка раскатывается по неровностям небосвода – трах-тарарах-тах... Но чаще он ездит на ней потихоньку и затычку вынимает не полностью. Тогда идет мелкий затяжной дождик. Словом, все, что касалось происхождения дождя и грома, прекрасно объяснялось моей теорией, исключая явление молнии, а присутствие облаков я просто игнорировал, как явление второстепенное. Можно, конечно, было допустить, что грозные вспышки на небе – это страшные искры, которые вылетают из-под колес боговой телеги и копыт его лошадей. Но они должны были возникать по ту сторону небосвода и, следовательно, с земли не могли быть видны. Проблема молний была слабым местом моей теории. Лучшей, однако, мне придумать тогда не удалось.

Все попадавшиеся мне в руки механические игрушки я неизменно ломал, доискиваясь до причины их действия. А однажды, когда родители надолго ушли в гости, анатомировал наш будильник, добираясь до устройства, игравшего старинный гимн «Коль славен наш господь в Сионе». Секрет будильниковой музыки оказался заключенным в металлической гребенке с зубьями разной длины и валика с миниатюрными колышками. Однако ценой этого открытия стал сам будильник. Когда его останки в виде кучки металлического лома, завязанной в небольшой узелок, снесли к часовщику, тот бывших часов в ремонт не принял. Но посоветовал переломанных деталей не выбрасывать, а подарить их мне, как подающему надежды будущему механику.

Я действительно с увлечением строил паровозы, мельницы и другие хитрые механизмы, постоянно надевая взрослым просьбами о консультации и технической помощи. Даже чаще, чем отец, в этих делах мне помогал его приятель, Семен Фаддеич, почти каждую субботу

или воскресенье бывавший у нас в гостях. По специальности он был токарь, работавший на том же заводе, что и отец. В праздники по жилету дяди Семена струилась роскошная серебряная цепочка, украшенная множеством брелоков. Тяжелой гроздью с нее свисали миниатюрные металлические – то с чернью, то с эмалью – всевозможные тувельки, кинжальчики, пасхальные яички, даже свисток. При всей своей восхитительности это были, однако, дешевые и совершенно бесполезные предметы. А вот часов у Семена Фаддеича не было. На них он никак не мог скопить денег из-за большой семьи и некоторого пристрастия к выпивке.

Хулиганистые подростки на нашей улице это знали. И когда дядя Семен проходил по ней, они с невинным видом приставали к нему с вопросом:

– Дяденька, который час?

Фаддеич сердился и ускорял шаги. Но даже когда он входил в калитку нашего двора, мальчишки продолжали выкрикивать через забор:

– Который час, дяденька?

Зато у Семена Фаддеича было шесть душ детей, и все дочки. Может быть, еще и поэтому он любил возиться со мной. Помогал строить игрушечные машины, а иногда водил показывать настоящие. Из его объяснений я почти понял, как действует паровой копер, заколачивающий сваи, даже насос, откачивающий на ближнем болоте воду. Однако принципа действия главной части этих машин – паровых двигателей – постигнуть толком я тогда еще не мог. И уж совсем непонятными оставались для меня трамвай и автомобиль. Автомобили я видел иногда при посещении с матерью центральных улиц столицы. Они казались мне очень красивыми и страшно интересными машинами. Однако ни одной из них мне так и не удалось рассмотреть поближе. «Моторы» пронеслись по улицам слишком быстро и, как мне казалось, нигде и никогда не останавливались. После прогулок с дядей Семеном, на которые меня отпускали только в праздники, мы с ним иногда заходили в пивную. Здесь тоже было очень интересно. Под низким сводчатым потолком стоял сизый дым от махорочных сигарок и дешевых папирос. За столиками сидело множество мужчин самых разных возрастов, главным образом мастеровых. Перед ними сре-

ди красной шелухи вареных раков, тарелок с селедкой и крохотными солеными бубликами стояли пивные кружки и высокие бутылки рыжего стекла. Большинство посетителей пивной были уже навеселе. Они чокались друг с другом кружками с пивом, громко разговаривали, нередко размашисто жестикулируя и даже колотя себя кулаками в грудь. Кое-кто лез к собутыльнику целоваться через стол, опрокидывая бутылки и кружки. Некоторые из подвыпивших плакали, не делая для окружающих особой тайны из причины обуревавших их слез. Я помню двух стариков, один из которых говорил другому, смахивая с седых усов струящиеся по ним слезы:

- Сироты мы с тобой, Матвеич... Нет у нас ни отца, ни матери...

Матвеич тоже утирал слезы, чокаясь с приятелем. Мне было жаль сиротливых стариков – без папы и мамы, наверное, очень плохо жить на свете. И тоже хотелось плакать, хотя трактирная «машина», гулко бухая, играла в это время какой-то весьма разухабистый мотив.

Мать считала пивную очень нехорошим местом. Как, впрочем, и почти все жены здешних мастеровых, хотя ей и не приходилось, подобно большинству из них, перехватывать мужа после субботней получки по дороге в это заведение. Я много раз видел, как жены любителей выпить обычно с целым выводком детей дежурили в субботние дни у ворот завода.

- Не пущу! – истерически кричала иная, повиснув на засаленном пиджаке мужа. – Дома жрать нечего, а ты опять идешь глаза заливать, бесстыжая твоя рожа!

Крикам матери обычно аккомпанировал многоголосье рев ребят, которые цеплялись за пиджак отца и тянули его за штанины. Иногда соединенными усилиями домашних удавалось увести главу семьи от соблазнов «зеленого змия». Но это случалось нечасто. Особенно если при стычке присутствовали его собутыльники, оказывавшие атакованному товарищу моральную поддержку. В самую эту стычку они никогда не вмешивались, но, стоя в сторонке, играли на его мужском самолюбии:

- Не поддавайся бабе, Терентий! Аль ты в своем доме не хозяин?

И Терентий, или Авдеич, или Степан Митрич вырывались из своего плотного окружения и ныряли в дым и

гам близкой пивнушки. Извлечь их оттуда жены обычно даже и не пытались, никогда не переступая порога чисто мужского заведения, как мусульманки – порога мечети. Но многие еще долго стояли перед его дверью, громко жалуясь на судьбу, подсунувшую им в мужья пьяницу и кабацкого прощелыгу.

Несколько поодаль от мастеровых в одном из углов пивной сидели ломовые извозчики. По моим понятиям, это были самые интересные люди в нашем районе, обладавшие рядом удивительных свойств. Например, они могли есть «мурцовку». Одно время я даже считал, что мурцовка является основной пищей ломовиков. Это было подобие тюри. Только хлеб, крошенный в миску с луком и солью, заливался не квасом, как обычно, а водкой. Летом я не раз видел, как, объединившись в небольшие компании, извозчики ложками хлебали эту адскую похлебку, устроившись прямо на улице на какой-нибудь из телег. Ломовики были знамениты также своей способностью выпивать невероятное количество чая.

В чайной я бывал с матерью довольно часто, так как в отличие от пивной она, даже у женщин, считалась заведением вполне приличным. Настоящие чаевники часами сидели тут за столиками с полотенцами через плечо и почти непрерывно вытирали пот, обильно струившийся с их багровых физиономий. Каждого, кто усаживался в чайной за столик, подлетающий половой обязательно спрашивал:

– Пару прикажете?

И быстро приносил эту «пару», то есть полуведерный эмалированный чайник с кипятком и водруженный на него крохотный фаянсовый чайничек с заваркой. К «паре», кроме чашки с блюдцем, полагалось еще длинное полотенце и два кусочка пиленого сахара. Все это за пять копеек. Причем второй чайник кипятку, если не хватало одного, заведение поставляло посетителю уже бесплатно. Но все остальное к чаю полагалось покупать тут же за дополнительную плату. Впрочем, не считалось зазорным являться в чайную со своими баранками или булками, как многие и делали. Даже дополнительную порцию сахара тут требовали весьма редко, хотя чайник с кипятком опорожнялся большей частью до дна.

Даже десятью-двенадцатью стаканами выпитого чая удивить здесь было никого нельзя. Находились чемпионы чаепития, выпивавшие вдвое больше. Иногда стихийно возникало соревнование таких чемпионов. Некоторые из присутствующих начинали за них болеть, как сказали бы теперь. Они делали на особо выдающихся «чаехлебов» ставки, заключали между собой пари. И почти все главные рекордсмены по части чаепития были ломовыми извозчиками.

Свое тогдашнее отношение к представителям этой профессии, да и то уже после виденного на Марсовом Поле парада, я мог бы выразить афоризмом на манер известного выражения Александра Македонского после его беседы с Диогеном: «Если бы не решение стать кавалергардом, я хотел бы быть ломовым извозчиком». Даже теперь я все еще испытываю дикарское почтение к людям из своего детства, способным хлебать страшную мурцовку, как другие хлебают щи, и выпить за один присест двадцать стаканов чая.

Хуже всего в эти годы у меня удовлетворялась потребность в обществе сверстников. Старшие мальчишки с нашего двора не принимали в свои игры младших, даже если затевали их в пределах этого двора, что, впрочем, случалось редко, так как двор был тесен и мал. Поэтому почти все время подростки бегали где-то на задворках, куда меня ни одного, ни тем более в их сомнительной компании не пускали совсем. И я мог только мечтать о том сказочном Эльдорадо, каким представлялась мне мусорная свалка на недалеком пустыре. Именно оттуда «уличные» приносили множество полезных и интересных предметов. Это были пузырьки и флаконы из-под духов и лекарств, треснувшие чашки и тарелки, коробочки из-под ваксы, а иногда даже сломанные игрушки. Однако мальчишки были прижимисты и редко какую вещь отдавали даром. Выменивать же их у меня было не на что. Тем более что с некоторого времени мать стала удивляться, почему так быстро у нее начали выходить спички, и припрятывать их подальше.

Наш двор был не только маленький, но и скучный, без единого деревца и почти без укромных мест, в которых можно было бы укрыться от глаз взрослых. Исключение составлял узкий закуток между домом и дровяным

сараем. Но и отсюда нас, маленьких, часто выгоняли большие мальчишки, все те же «фулюганы», которым он был нужен, чтобы курить здесь, жечь спички, а иногда даже стрелять из самодельных самопалов. Но меня к этим делам они и близко не подпускали – мал-де!

Не было ничего досаднее этих постоянных напоминаний со всех сторон, что ты либо мал, либо велик. «Не трогай лампы! Ты еще мал!»; «Не проливай с ложки! Большой, а дурак!» Если в доме оставалась всего одна конфета, пряник или орех, лакомство непременно доставалось Тайке, а мне – назидание, что, как «большой», я могу и потерпеть. Стоило сестре пропищать свою обычную ябеду, что «Димка дерется!» или «Димка дразнится!», как мать, не вникая в суть дела, принимала сторону «маленькой». А через пять минут она же кричала мне с порога, чтобы я не подходил близко к лошади, притащившей во двор воз с дровами, потому что я еще мал. Взрослые были удивительно непоследовательный и нелогичный народ.

Двое мальчишек, приблизительно мои сверстники, в нашем дворе, правда, проживали. Но оба они, особенно младший Титок, были какими-то малоразвитыми и туповатыми. Так при игре в войну я никак не мог втолковать им, что, как японцы, они должны быть обязательно побеждены мною, изображавшим русское войско. Что война – это когда все бегут, кричат, делают страшные глаза и замахиваются друг на друга, ребята еще понимали. Но что такое патриотизм и сценическая условность, они взять в толк не могли. Поэтому, пользуясь численным превосходством и силой кряжистого, почти шестилетнего Федьки, мальчишки всякий раз сбивали меня с ног. Можно было, конечно, поменяться ролями. Но я решительно не хотел изображать японцев, чуть до смерти не убивших моего папу и, как изобретатель игры, постоянно пользовался своим правом выбирать роль.

Отчаявшись просветить этих безнадежных тупиц, я стал придумывать игры попроще, без патриотического содержания, вроде жмурок. А однажды, по сговору с Федькой, придумал веселую штуку, жертвой которой должен был стать простодушный и доверчивый Титок. Когда наступила его очередь «жмуриться», я зашел за помойную яму, вырытую почти вплотную под забором, отделявшим наш двор от соседнего, и, с трудом удерживаясь на узкой

кромке земли, стал «подавать голос». Яма для отбросов была самая примитивная, совершенно открытая, но довольно глубокая. Накануне в нее вывалили целую бочку квашеной капусты, протухшей в погребе у хозяина дома. Вид и запах этой капусты навели меня на мысль, что было бы здорово, если бы кто-нибудь в ней вывалился. Однако рассчитывать, что это произойдет случайно, по чьей-то неосторожности, конечно, не приходилось. Так и возникла идея обманным путем свергнуть в яму с вонючей капустой глуповатого Титка.

Затея удалась наилучшим образом. Титок, расставив руки, радостно семеня на мое «ку-ку» и с разгону полетел в самую середину ямы. И только когда из-под капусты, картофельных очисток и прочей дряни донесся его приглушенный вой, мы с Федькой сообразили, что совершили порядочную пакость. И что пострадавший от нее Титок вовсе не одинок на свете. У него есть отец и, что куда важнее, – мать, шумливая и скандальная тетя Катя. В подвал к ней уже шмыгнули девчонки, наблюдавшие нашу игру со стороны. Нам ничего не оставалось, как оставить Титка в вонючей яме и задать стрекача по домам, хотя это вряд ли могло спасти нас от мести горластой родительницы коварно обманутого Титка.

Мать, работавшая на кухне, с удивлением проводила меня глазами, когда я торопливо шмыгнул мимо нее в комнату. Но через какие-нибудь две-три минуты все для нее стало ясным. На пороге рывком открытой двери перед ней предстали сварливая соседка и ее облепленный с ног до головы квашеной капустой незадачливый сын. Он был приведен матерью в качестве вещественного доказательства и живого укора.

Забившись в дальний угол под родительской кроватью, я слышал визгливый фальцет тети Кати, требовавшей моей немедленной выдачи на предмет зашвыривания в ту же яму. Ей вторил густым басом ревуший Титок. Запах протухшей капусты заполнил всю нашу квартиру и проник даже ко мне под кровать. Я покрепче ухватился за ее ножку, но оказалось, что мама вовсе не собирается отдавать меня в мстительные руки тети Кати. Она ахала и сокрушалась по поводу прискорбного происшествия и полностью соглашалась с соседкой, что ее собственный сын висельник и хулиган. Мать даже добавила к этому,



что совершила ошибку, не утопив меня своевременно в проруби. Как только явится с работы муж, она ему обо всем доложит, и тот меня непременно выпорет. Но вот сейчас меня в квартире нет. Забился, наверное, в какой-нибудь закут во дворе, а то и выбежал на улицу.

Наоравшись досыта, тетя Катя, наконец, ушла – ей надо было мыть и переодевать сына. А мать попыталась выкурить меня из моего убежища с помощью веника. Когда же ей это не удалось, заявила, что уж на этот раз она о моих художествах непременно доложит отцу. И посоветовала мне загодя «наматывать на задницу» какой-то «лубок». Обычно я пропускал ее обещания пожаловаться отцу мимо ушей. Однако сегодняшнее мое преступление выходило за пределы обычных масштабов, и такая угроза казалась весьма серьезной. Остаток дня я провел в тревоге и ожидании возмездия, тем более неприятного, что никакого лубка у меня не было. Отец в этот день задержался на работе дольше обычного. Поэтому еще до его прихода, как только мать постелила нам на сундуке, я нырнул в постель, закрылся одеялом и громко засопел, прикидываясь спящим.

– Не поможет это тебе, не надейся, – заметила мать. И все-таки ничего не сообщила отцу.

Волей-неволей играть приходилось, в основном, с сестрой, а зимой – ещё и в комнате. Веселая и смешливая Тайка к тому же казалась мне немного глуповатой. Разница на целый год в пятилетнем возрасте – дистанция огромного размера. Благодаря моему авторитету старшего сестра меня пока слушалась, хотя чаще всего далеко не до конца понимала смысл затеваемых мною игр. И когда дело доходило до необходимости физического внушения, часто выкрикивала свое обычное «Димка дерется!» А как было обойтись без крутых мер по отношению к бестолковому, а часто и нерадивому, исполнителю при той нервной работе, с которой была связана постановка сложных игр? Я был в них и сценаристом, и главным режиссёром, и художником, и бутафором, и шумовиком. И это не считая роли ведущего актера. Дело в том, что чаще всего мы играли «в больших». То есть копировали на свой лад все, что удавалось подсмотреть и по-своему осмыслить в жизни взрослых. Это было нелегкое и сложное дело, тем более что моя партнерша по своим исполнительским ка-

чествам никак не шла дальше посредственного, а нередко и равнодушного статиста. Зато мне часто приходилось вести несколько ролей сразу. Вот как, например, происходила у нас игра в венчание, после того как мы посмотрели этот обряд в церкви и мне он очень понравился.

В эту игру, и ей подобные, в те времена играли, вероятно, многие дети. Изображена она и в известном рассказе Горького «Свадьба». Наша «свадьба» имела с горьковской много общего, но отличалась от нее своими аксессуарами. Одно дело – квартира людей из среднего класса, другое – убогий рабочий подвал. Реквизит в подобных играх был у нас главной проблемой, и его нехватку приходилось возмещать изобретательностью. Но и при этом всегда нужно было непременно ждать, пока мать уйдет из дому, чтобы наскоро превратить домашние вещи в предметы сценической бутафории по предварительно продуманному плану. Так, например, аналой, необходимый при церковных обрядах, был сделан нами из табуретки, накрытой снятым с кровати одеялом. На аналое стоял крест из лучинок, заготовленных для растопки самовара и склеенных хлебным мякишем. Крест был воткнут в хлебный каравай, изображавший его массивную подставку. Тут же лежало «Евангелие» – папина книга о дядях, стрелявших в луну из пушки. На ее засаленную обложку я киселем наклеил полоски бумаги в виде восьмиконечного креста.

На «невесте», стоявшей перед аналоем, была надета «фата» – снятая с подушки белая наволочка. Точно таким же образом мать надевала на голову мешок, когда в дождь ей нужно было выйти во двор. Этот мешок тоже нашел у нас применение – он изображал священническую ризу. Для этого я нарисовал на одной его стороне большой бурый крест остатком масляной краски, которой отец красил дверь в сени. Накинув мешок на спину и закрепив его спереди большой маминой булавкой – сейчас я был «священником», – я ходил вокруг аналая, помахивая «кадиллом» – кружкой, подвешенной на веревочках, и пел «Аллилуйя» и «Со святыми упокой». Все, что мог припомнить из церковных напевов. На возгласы священника отвечал хор (тоже, конечно, я) пением «Боже, царя храни» и басовито гудел колокол – бом-бом-бом... Затем я сбрасывал священническое облачение и, превратившись в же-

ниха, становился рядом с невестой, держа над ее головой уполовник, а над своей – кастрюлю с длинной ручкой, в которой Поле варили манную кашу. Теперь на густое гудение большого колокола весело отвечали на все голоса маленькие колокола – тили-бом, тали-бом... Нечего и говорить, что весь набор колоколов изображал тоже я.

Всё шло относительно по плану почти до конца представления, когда жених и невеста должны были поцеловаться. И тут Тайка вдруг заартачилась:

– Не хочу!

Пришлось огреть ее уполовником по спине. В ответ почти автоматически раздалось «Димка дерется!» И в это время вошла мать. Она ходила на рынок за покупками. Начался обычный в таких случаях разгром театра и крики: зачем стащили с постели одеяло и наволочку? Зачем воткнули в хлеб щепку, изгадили посуду, испортили чужую книгу, заляпали несмываемой краской мешок? В чем ей теперь выходить в ненастье за дровами? Ведь с этим крестом на спине соседи примут ее за «малахольную». Кричала мать вроде на нас обоих, но выходило как-то так, что тычки и подзатыльники доставались мне одному. От крика проснулась в своей колясочке даже Поля. Мать бросилась ее успокаивать, запричитала нараспев:

– У людей дети как дети, а у нас неслухи какие-то малахольные...

Напричитавшись и навоевавшись, она сухо заявила, что вечером обязательно скажет обо всем отцу, пусть он нас выпорот... Однако мы твердо знали, что угрозы пожаловаться отцу или уйти из дому «куда глаза глядят» так и останутся угрозами, тем более что покамест мы ничего безнадежно не портили и ничему не причинили существенного вреда. Наклеенный киселем бумажный крест на книге удалось отклеить с помощью теплой воды, а чтобы крест, наляпанный на мешке краской, не был виден, достаточно было вывернуть мешок наизнанку.

Но однажды мы нанесли одному важному и нужному предмету в нашем доме действительно непоправимый вред. И опять я был инициатором этой затеи. Все началось с невинной и на этот раз не очень сложной игры в «больших». Я изображал хозяина, а Тайка – гостью, сидевшую за столом и жеманно заставлявшую себя упрашивать, чтобы она выпила и закусила. Столом была все

та же застланная тряпочкой табуретка, на которой стоял наполненный водой флакон из-под одеколона, изображавший водочный графин. Рюмками послужили два маминых наперстка. Тут же стояли «закуски» в настоящих блюдечках, вытащенных из посудного шкафа, — дома опять никого не было. Настоящим, впрочем, был и хлеб, нарезанный тоненькими ломтиками. Все же прочее было бутафорским: поросенок с кашей, вырезанный из бумаги, ветчина и красная икра, тоже бумажные. Такие яства, как эта икра, вовсе не были редкостью даже в нашем небогатом доме, хотя, конечно, только лишь в праздники. Стоили они в те времена поразительно дешево и продавались в изобилии в любой бакалейной лавочке.

В поисках, что бы такое придумать в качестве заменителя красной икры, я наткнулся глазами на стопку оторванных календарных листков. Эти листки по привычке малолетнего Плюшкина я всегда подбирал, когда отец отрывал их от календаря. Теперь они нашли применение. Ведь если листок с красным числом положить на ломтик хлеба, то получится почти настоящий бутерброд с кетовой икрой. Я сделал такие бутерброды себе и «гостю». Глядя на меня, корчившего гримасу удовольствия, начала есть хлеб с бумагой и Тайка. Самовнушение скоро сработало до конца, и мы вошли во вкус вновь изобретенного лакомства. Через несколько дней был съеден весь мой запас листиков с красными числами, и запасы этого лакомства истощились. Что черные числа могут обладать такими же вкусовыми качествами, нам даже и в голову не пришло. В очередное воскресенье мы съели листок с красным числом, по-братски разделив его пополам. Но это лишь раззадорило наш аппетит. Заручившись обещанием Тайки, что она ничего не скажет родителям, я вырвал из календаря еще одно воскресенье авансом. А затем и какой-то праздник, пришедшийся на середину будущей недели.

В субботу вечером отец был удивлен отсутствием в календаре завтрашнего числа. Он позвал мать, и оба они с изумлением пожимали плечами, глядя на черное число понедельника, открывшееся за оторванной субботой. Я и Тайка ни живы ни мертвы сидели в это время в углу комнаты. Однако родителям даже в голову не пришло как-

то связать с нами странное исчезновение календарного листка. Было решено, что это просто типографский брак.

Но прошло еще три дня, и они снова были изумлены отсутствием в календарной книжечке очередного праздника. На этот раз отец вспомнил о календаре, когда мы уже лежали на своем сундуке под сшитым матерью лоскутным одеялом. Однако не спали, памятуя об учиненном нами преступлении.

- Ребята озоруют что ли? - произнес отец, оторвав сегодняшний листок.

Я похолодел - ведь он вплотную подошел к страшной истине. Однако мать возразила:

- Да на что они им? Вон сколько у Димки листочков этих!

Возражение показалось отцу обоснованным - целая пачка оторванных календарных листиков лежала на подоконнике рядом с зеленой жестяной дудкой. Но все они были несъедобные, с черными числами. Обстоятельство, которое взрослым понять было не дано.

- Может, их и вовсе не было, листочков-то? - неуверенно предположила мать.

- Как не было? - сердито возразил отец. - Вон от праздника целый угол остался! Вырвал кто-то...

Для родителей это была почти мистика, явление на грани сверхъестественного. Что-то недоуменно бормоча, они погасили лампу и улеглись на своей кровати. Катастрофа разоблачения отодвинулась, но совсем предотвратить ее не могло уже ничто. Уж мы-то знали, что красных чисел в нашем календаре нет на добрых два месяца вперед. Преступление принадлежало к той категории, когда причастность к нему скрыть невозможно в принципе. Оно неизбежно выплывает наружу, и притом скорее рано, чем поздно. Но именно отсутствие надежды на безнаказанность и приводит в таких случаях к рецидивам. Семь бед - один ответ - поговорка, выражающая философию отчаяния. Оно-то и было причиной того, что мы с Тайкой предались своей преступной страсти уже без всякой оглядки, подобно кутилам, пропивающим казенные деньги.

Так прошла еще неделя. Угнетенные предчувствием предстоящей расплаты, мы в наступившую субботу не только не уклонились, как обычно, от обязанности ло-

житься спать, но значительно раньше положенного времени залезли под свое смешное одеяло и сразу же затихли под ним.

- Что это они сегодня такие смиренные? - с подозрением в голосе сказала мать.

- Что за черт? - рявкнул через минуту отец, наткнувшись на очередную пустоту на месте воскресного числа. И только теперь он заглянул в глубь книжечки. Затем зло отцепил ее от подложки и пропустил листки между пальцев. Красные числа замелькали уже только где-то в самом конце года. До этого шел сплошной и угрюмый черный ряд с остатками кое-где неровно вырванных красных чисел. Пасхальная неделя, все дни которой были отпечатаны красным, исчезла полностью.

Мы с сестрой замерли, укрывшись одеялом с головой и сжавшись до возможного предела. Но когда мать отвела одеяло, то держать глаза закрытыми и шумно сопеть - сплю-де - смог с полминуты только я. Тайка же заревела еще до того, как нам был задан первый вопрос.

- Их работа! - заключил отец.

Два трясущихся грешника в длинных до пят рубашонках стояли перед своими судьями, восседавшими на кровати.

- Зачем пакостничали? - грозно спросил отец. - Зачем листы выдирали?

- Мы-и... - и Тайка захлебнулась в рыданиях, - мы... их... ели...

- Чего-чего? - отец даже руку к уху приставил, как глухой.

Сестра сбивчиво, торопясь и перемежая слова ревом, объяснила родителям, что красные числа - это вроде бы и не числа совсем, а икра... И что она такая вкусная, такая вкусная, что удержаться от хищения этого лакомства у нас не хватило сил. И она аж закачалась от плача.

- Димка, что ли, такую чепуху придумал? - спросил отец. Тайка утвердительно закивала головой с таким усердием, что растрепанные волосы полезли ей в широко открытый от рева рот.

Мать с видом великомученицы смотрела на икону богородицы, висевшую над сундуком:

- Царица небесная, и за какие грехи у нас такие адивоты растут? Прости ты меня, грешницу...

Отец, гнев которого был начисто вышиблен сменившим его изумлением, постучал согнутым пальцем по моему лбу:

- Да никак, парень, у тебя и в самом деле мозга набекрень?

Однако этим все и обошлось. Книжечку календарных листков купили новую, занявшую место прежней под портретом царского семейства. А остатки старой сожгли. Сразу же теперь бросали в печку и оторванные от календаря листки.

- Не дай бог, - пошутил как-то отец, - наши детки дознаются, что есть на свете и черная икра. Тогда на них совсем уж календарей не напасешься...

Тогда он не знал еще, что скоро наш календарь окажется в центре куда более важных событий.

В начале наступившего лета произошли крупные неприятности.

Однажды вечером в наш подвал явились страшные люди в военной форме, громыхающие саблями и с револьверами в кобурах. Однако не солдаты и не городовые. Они в поисках чего-то без спроса полезли в наш сундук, перерыли все ящички комода, выставили всю посуду из застекленного шкафика на кухне. Отец угрюмо сидел в углу на табуретке, а я и Тайка уже в одних рубашках жались к дрожащей от страха матери.

Сначала я решительно не понимал, что нужно этим вооруженным людям в нашей квартире. Но когда они, перерыв родительскую постель, подняли с нее пружинный матрац, меня пронзила страшная догадка. Дело в том, что в этом матраце находился мой тайник, в котором я прятал от матери множество недозволенных вещей. Тут был позеленевший самоварный кран, большой ржавый ключ, несколько неотмытых аптекарских пузырьков. Худшее состояло в том, что недавно я спрятал между пружинами еще и самопал, разорвавшийся при очередном опыте старших мальчишек и брошенный ими за сараем как никуда уже не годный. Но из его развороченного дула восхитительно пованивало порохом, а ухватистая деревянная ручка самопала, если сжимать ее в руке, создавала впечатление, что ты вооружен всамделишным пистолетом. Мать часто внушала мне, что все, кто мастерят по-

добные штуки или незаконно хранят их у себя, рано или поздно попадают в тюрьму.

Что огнестрельное оружие предмет запрещенный, я понимал хорошо. А вот уверения матери, что люди, приставленные следить за соблюдением закона, всегда как-то дознаются о всяком его нарушении, не вызывало во мне особого доверия. Выходило, однако, что она была права. Непостижимым образом жандармы пронюхали о моем тайнике и теперь, конечно, подумают, что самопал сделал я сам.

Так оно и вышло. Главный жандарм, шевеля устрашающими усами, повертел самопал в руках, с недоумением посмотрел на меня и спросил у матери:

- У вас есть сын постарше?

- Нет, это у меня старшенький... - ответила мать, едва держась на ногах от страха.

- Рано начинаешь! - угрюмо усмехнулся жандарм в усы, и я понял, что погиб.

Сидеть в тюрьме за изготовление самопала придется не мальчишкам «фулюганам», как это постоянно сулила им мать, а именно мне. И я вцепился в ее юбку, как цепляются за последнюю надежду. Однако усач швырнул самопал в угол и приказал собираться на выход из дому не мне, а ни в чем не повинному папе. А из предметов страшные дяди прихватили с собой вовсе не грозный когда-то самопал, а безобидную календарную подложку с портретом царского семейства. Эта подложка была напечатана на хорошей атласной бумаге; в центре фотографии сидели царь с царицей, рядом стоял наследник в красивом мундирчике, а вокруг сидели их дочери. Во время какого-то праздничного застолья в нашем доме один из отцовских гостей, выпив лишнего, решил наглядно прокомментировать очередной анекдот об отношениях Григория Распутина с царским семейством, пририсовав к царской голове забавные рожки. Карандаш на атласной бумаге не отпечатался, остались только отчетливо видимые вмятины. Вот это вещественное доказательство отцовской неблагонадежности и забрали жандармы вместе с отцом в участок.

В этот вечер мать долго не приступала к уборке после жандармского погрома, а, сидя на табуретке и прижимая к себе меня и Тайку, плакала, называя нас почему-то



сиротами. О моем тайнике со всякой «гадостью», как несправедливо презрительно называла она мои драгоценности, она даже не вспоминала.

Уже на следующий день отец вернулся очень хмурый и злой. На работу он больше не ходил. Из дому отлучался почти только по вызовам в жандармское управление. А остальное время сидел, уронив голову на руки и ни с кем не разговаривал. А к нам почему-то перестали ходить в гости наши знакомые. Даже Семен Фаддеич забегал всего два раза. И каждый раз он вёл с отцом какой-то хмурый разговор вполголоса, после чего потихоньку уходил, стараясь, чтобы его не заметили наши соседи.

Мать, наоборот, в эти дни была деятельна как никогда и часто зачем-то уезжала в «город», как называли у нас столичный центр. После первого потрясения она казалась даже повеселевшей, а после одной из таких поездок – почти радостной. Из ее разговора с отцом я понял, что тот важный барин, из окна дома которого мы видели гвардейский парад, согласился принять ее опального мужа к себе на работу. В Полтавской губернии у него было большое имение. Позже я узнал, что жандармы дали высланному из столицы крамольнику определенный срок для подыскания себе места жительства «в местах не столь отдаленных». По истечении этого срока они могли назначить ему район ссылки уже по собственному усмотрению. Из двух зол приходилось выбирать меньшее. Отец вздыхал и хмуро ходил по комнате, а мать всячески убеждала его, что места, куда мы можем сейчас уехать, очень хорошие. Неплохая у него будет там и должность, одна из самых главных в помещицкой Экономии. Правда, живут там какие-то «хохлы», которые говорят не совсем по-нашему.

Но в Бога они веруют в того же, что и мы, а следовательно, найти с ними общий язык будет можно. И гори она огнем, эта наша улица с ее подвалами, пивнушкой и пьяными мастеровыми! И завод с его грохотом, копотью и гарью. Ну что тут хорошего?

Было похоже, что отец согласен далеко не со всем, что внушала ему мать. Но на другой день он впервые за последний месяц куда-то ушел и вернулся только к вечеру. Оказалось, что он ходил на прием к своему будущему хозяину, барону Брезелю, и тот принял окончательное ре-

шение взять его к себе на службу в качестве машиниста. Так называли в те времена слесарей-механиков по ремонту сельскохозяйственных машин, среди которых были и относительно сложные, например, паровые локомобили.

Через несколько дней родители уложили в сундук и увязали в узлы весь наш убогий скарб, в том числе и разборную кровать. Поэтому одну ночь им пришлось спать на полу. А наутро во двор въехал знакомый ломовик и помог погрузить всё имущество на большую телегу, запряженную парой мохнатых толстоногих битюгов. На нее посадили также нас, ребят. Рядом с телегой шли пешком наши родители. Неторопливо цокая копытами по мостовой, битюги потащили телегу на Николаевский вокзал. До отхода московского поезда оставалось еще очень много времени, в течение которого мы сидели на перроне на своих вещах. Наконец с невероятным грохотом, шипением и свистом подкатил наш состав. Среди пассажиров третьего класса началось что-то вроде паники. Толкая и тесня друг друга, в вагоны полезли люди с огромными узлами и угловатыми сундучками. Почти все женщины пришли в состояние массового возбуждения, что-то сродни испугу. Немолодая крестьянка, умудрившаяся ворваться в вагон в числе первых, теперь лезла из него навстречу толпе за оставшимися вещами и отчаянно кричала. Чей-то узел, поданный провожающими в открытое окно вагона, застрял в нем, и его долго не удавалось протолкнуть ни назад, ни вперед. И вся эта кутерьма была, как выяснилось через несколько минут, зряшной. Когда все разместились, оказалось, что в вагоне есть даже избыток свободных мест. А так как еще не прозвонил даже первый звонок, то до отхода поезда оставалось более часа.

Провожать отца пришли несколько его товарищей по заводу, хотя время было рабочее, и им пришлось под разными предлогами отпрашиваться с работы. Среди провожающих был и дядя Семен, единственный человек во всем Питере, с которым мне очень не хотелось расставаться. Он явился со своей цепочкой с брелоками и подарил мне на память из этой коллекции смешных безделушек крохотный металлический свисток. Я был тронут и заплакал, повиснув у Фаддеича на шее. Мастеровые стояли на перроне вокруг отца тесной кучкой, разговаривая вполголоса и умолкая совсем, как только рядом оказывал-

ся незнакомый человек. Прозвонил уже третий звонок, и мать, выглядывавшая в окно, обеспокоенно крикнула:

– Егор, отстанешь!

Но он не садился в вагон, по-русски, крест-накрест, обнимаясь с друзьями, даже когда дежурный по вокзалу дал сигнал отправления. Протяжно свистнул паровоз, поезд дрогнул, и тревожным перебором зацокали его буфера.

– Отстанешь, Егор! – уже отчаянным голосом кричала мать.

Отец вскочил на подножку.

– Прощайте, ребята, не поминайте лихом!

– Удачи тебе, Иваныч, не забывай нас!

Молодые мужики еще долго бежали рядом с нашим вагоном, махая руками, и только пожилой Фаддеич скоро отстал. Я видел, как он махнул нам платочком, но потом начал вытирать глаза. Отец, входя в вагон, тоже смахивал слезы с небритых щёк тыльной стороной руки. Для меня это было открытием: плакать, оказывается, умеют и взрослые мужчины. Плакала теперь и мать, хотя и с мастеровыми, и с Питером она расставалась без сожаления. Но они были милы ее Егорушке. Да и вообще человек, расставаясь с местом, где достаточно долго прожил, сожалеет не столько об этом месте, сколько о связанном с ним отрезке прожитой жизни.

По железной дороге я ехал впервые и никогда не видел так близко ни паровоза, ни вагонов. Перспектива ехать вот так четыре дня и каждый день видеть в действии настоящие паровозы казалась мне большой удачей. А жалеть из оставленного в Питере мне, как и матери, было почти нечего, хотя и по другой причине. Мать казалась совсем не такой подавленной, как отец, но и она время от времени плакала. Я замечал, что на поля и леса, мимо которых мы проезжали, мать смотрит не просто с интересом, как, например, я, а с каким-то радостным оживлением.

Отец же был хмур, о чем-то все время думал и на мои вопросы отвечал неохотно, а иногда даже невпопад. А их, этих вопросов, возникало сейчас особенно много. Например, что оно такое, эта высокая трава, которая растет по сторонам дороги? Прежде я никогда не видел посевов и имел весьма смутное представление о том, как добывает-

ся хлеб. А как устроен паровозный свисток? А почему, как ни подпрыгивай на полу вагона, его задняя стенка не налетает на тебя и даже не становится ближе? И кто старше в поезде – его главный кондуктор или машинист?

В Москве наши вещи опять погрузили на ломовую телегу и повезли на Курский вокзал. Сначала мы переехали широкую и шумную площадь, а потом потащились по узким и кривым улочкам. Дома и улицы в Москве были не совсем такие, как в Петербурге, непривычные и вроде даже смешные.

А потом опять была железная дорога, но уже другая. Из окна нового вагона открывались теперь и другие виды. Лес, который по дороге в Москву темнел гораздо чаще, чем зеленели поля, встречался теперь только местами. Зато хлеба, начинающие уже желтеть, простирались здесь до самого горизонта. Серые или почти черные, крытые часто тёсом, бревенчатые избы русских деревень сменились белыми чистенькими хатками под соломой. В отличие от русских все здешние селения утопали в густой зелени. В вагон все чаще заходили люди, одетые как-то по-особенному и говорившие на не совсем понятном языке.

– Хохлы это, – шепотом объясняла мне мать, сама смотревшая на них с некоторым испугом.

– Не хохлы, а малороссы, – вполголоса, но сердито поправлял ее отец, – ты еще вслух брякни...

Я был несколько разочарован. Дело в том, что, судя по их названию, я ожидал увидеть на головах украинцев султаны из перьев. Вроде тех, которые были на курочках-хохлатках, что держала хозяйка нашего дома на Охте.

Была еще пересадка в Харькове, но уже без переезда на другой вокзал. Однако чем ближе подходило к концу наше путешествие, тем хуже я помню его подробности. Все устали от круглосуточного сидения в жарком и душном вагоне. А я к тому же был еще до отказа перегружен впечатлениями. Тайка хныкала, спрашивая, когда же мы доедем до нашего нового дома. От копоти и пыли все стали черными и грязными. Даже маленькая Поля, и тут, правда, державшаяся героически. Наконец на какой-то маленькой станции вместе с десятком других пассажиров мы высадились уже совсем. По крайней мере из железно-

дорожного вагона. Предстояло еще небольшое путешествие куда-то на лошадях.

Когда на дощатом перроне возле кучи своих вещей остались одни только мы, к отцу подошел дядька в домотканой свитке, широченных белых штанах и с кнутом в руке.

- Чи не вы Путинцев будэтэ? - спросил дядька.

С мужиком были еще мальчик лет двенадцати, тарантас и телега. Тарантас я видел впервые. Так назывался безрессорный возок с широким сидением и спинкой. В него уселась мать со всеми нами, ребятишками, а отец поехал на телеге, на которую погрузили и наши вещи. Часа четыре мы тряслись по засохшим глубоким колеям между сплошными стенами желтеющей пшеницы по сторонам дороги. Наконец, с какого-то высокого пригорка дядька показал кнутовищем чуть в сторону от живописно раскинувшегося на берегах маленькой речки довольно большого села:

- А ото, дывысь, и панська Экономия...

Там краснели железные кровли каких-то длинных строений, расположенных вперемешку с другими, неказистыми и крытыми соломой. За деревьями огромного сада виднелись фронтоны и высокая крыша большого барского дома. Это было главное имение барона Брезеля. От фамилии его предков-феодалов произошло и название села - Брезелиха. Это село и помещичья усадьба на долгие годы отметили для меня трудный, а временами и драматичный период жизни как нашей семьи, так и всего народа, хотя всё здесь пока еще дышало миром. А для поверхностного наблюдателя могло показаться даже идиллическим.

Часть 2

# Детство в деревне

Причины высылки из столицы нашей семьи

Царь, царица, Гришка Распутин

Третье отделение и цена красного словца

Помещичья латифундия и украинское село

Мои новые товарищи, новые впечатления, новые игры

Спасение утопающей в бочке

Рождение брата Серёжки

Мое посещение церкви вместе с матерью:

Параскева-Пятница, злой пономарь и его фукалка

Мое техническое творчество

Конфликт с Господом Богом и мое поражение

Война

Проводы отца на фронт



Я был свидетелем, хотя и совсем еще несмышленным, части событий, в результате которых мой отец был выслан вместе с семьей из столицы Российской империи. События эти сами по себе были весьма незначительны. Но они оказались симптомами явлений, существо которых я понял, только став уже вполне взрослым и грамотным человеком, способным разобраться во внутренней политической обстановке России в период между революцией Пятого года и началом Первой мировой войны.

Сказать, что мой отец принадлежал тогда к революционно настроенной части рабочих, было бы сильным преувеличением. Он никогда не состоял ни в каких тайных кружках, не хранил и не распространял нелегальной литературы. Почти не принимал участия даже в экономических стачках.

В начале своего вступления в «ряды питерского пролетариата», если выражаться возникшим лишь позже митинговым языком, тогдашний недавний крестьянский сын отнюдь не проникся ещё идеями, которые воспринимали даже далеко не все потомственные рабочие. Да и вряд эти идеи кто-нибудь ему сколько-нибудь настойчиво внушал. Тайно организованные рабочие не были склонны особенно доверять выходцам из деревни в их первом поколении. Но главной причиной того, что Егор Путинцев оказался в стороне от политического брожения, которым было отмечено начало нового века, стал его призыв в армию, участие в двух войнах на Дальнем Востоке и японский плен. Вернулся он в Петербург почти через два года после бурного Пятого с его рабочими манифестациями, жандармскими залпами, несбывшимися чаяниями и надеждами уже во время сменившего всё это политического затишья.

Выдержав шквал первой революции, здание монархической России вернулось к привычному состоянию



подспудного гниения. Однако внешне оно казалось еще весьма устойчивым и прочным. А некоторое добытое непомерно дорогой ценой облегчение жизни рабочих показалось Егору значительным прогрессом, вселяющим надежду на дальнейшее улучшение. Если до призыва в армию он работал по двенадцать часов в сутки, то теперь рабочий день на крупных заводах сократился до десяти с половиной часов. Несколько улучшились условия труда и повысилась заработная плата. Очень способный и относительно грамотный человек Путинцев быстро наверстал потерянное за годы солдатчины и даже повысил свою квалификацию. В результате этого вместо прежних девяти-десяти рублей в месяц его заработок теперь доходил до целых двадцати.

В сущность политического положения «податных словий» бывший солдат особенно не вникал. А что касается борьбы за улучшение жизни рабочих, то он сводил её к трижды проклятому советской историографией «экономизму». Самое же главное, почему Егор Путинцев прикнул впоследствии к эсерам, заключалось в том, что он, как и многие тогда, не считал рабочий класс ведущей политической силой. Для него главной фигурой этой России был мужик, который, правда, пока ещё разрознен и не осознаёт до поры своей силы.

Но окончательно это мировоззрение созрело у него уже в окопах Первой мировой войны. А в тот последний мирный год, когда в квартире у нас рылись жандармы, Путинцев попал в списки политически неблагонадежных только из-за своего фрондерства по отношению к самодержавной форме правления. Тут он нередко проявлял элементарную неосторожность, высказывая свои суждения при малознакомых людях.

Анахронизм самодержавия для России был тогда очевиден всякому мало-мальски мыслящему человеку. А тут еще царский двор во главе с императрицей, немкой Алисой, как будто подрядился всячески себя компрометировать. Быль и небыль о мистических оргиях при дворе с участием старца Распутина проникали в народ и вызывали возмущение даже среди заядлых монархистов. Похождения царицы, ее наперсницы Вырубовой и других придворных дам стали предметом всеобщих пересудов. Говорили, что в решении главных политических вопро-

сов Гришка Распутин чуть ли не подменяет подчас самого царя, слабохарактерность и недалекость которого в виде уже просто глупости сделались предметом анекдотов.

Кто-то из политических острословов сказал, что трагедия всякой исторической эпохи отражается в ее смехе. Надо понимать – горьком. Ходячие анекдоты начала века высмеивали главную беду тогдашней России – бездарность и близорукость ее правителей, проявлявшиеся как во внутренней, так и во внешней политике.

Эти анекдоты доставляли Третьему отделению царской охраны немало хлопот. Для выявления мелко-травчатой, но вредной крамолы приходилось содержать целую армию малых шпииков и провокаторов, поставлявших жандармам почти всю необходимую информацию. Но вот вырвать эту крамолу сплеча, во всю силу существующих законов, изданных в разное время для защиты престижа царского трона, было нельзя. Это могло бы только усугубить кризис официальной идеологии, как выразились бы теперь. Поэтому против анекдотчиков и дискредитаторов (тут опять пользуюсь современной терминологией) принимались только негласные административные меры, главным образом, высылка из столицы и вообще из больших городов. К судебному преследованию, из-за его гласности, в таких случаях почти никогда не прибегали. Самому провинившемуся это объявлялось обычно как проявление к нему милостивого со стороны властей снисхождения. К Егору Путинцеву довольно серьезная статья об оскорблении царского величества не была применена только, как говорилось в жандармском постановлении, с учетом его звания Трижды Георгиевского кавалера, беззаветной службы в Армии и незамеченности в подобных поступках в прошлом.

Если не считать довольно широкой, однако больше словесной антимоноархической фронды, для России того времени была характерна политическая пассивность. Объяснялась она не только поражением Первой русской революции, прокатившейся затем волной политических репрессий и некоторыми уступками капитала рабочему классу. Основой этой пассивности была сытость народа в самом прямом, элементарном значении этого слова.

Земледельческая страна производила огромное количество средств питания, которого ей хватало не толь-

ко для себя, но и на громадный экспорт. Россия кормила своим хлебом добрую половину Европы. Экспорт зерна из России в десятилетие 1902–1912 годов составил 10 млн тонн в год. То есть столько же, сколько его импорт в 60-е годы. Урожайность в среднем по стране была очень неплохой. В той же Брезелевской Экономии средний урожай пшеницы составлял 220–240 пудов с десятины (пуд – 0,16 центнера; десятина – 1,09 гектара). Даже в районах, где в качестве главного орудия обработки земли ещё употреблялась соха, эта земля давала все же значительно больше зерна, чем после организации колхозов и до середины шестидесятых годов включительно. Далеко еще не утратили тогда своего значения естественные пищевые ресурсы. В Волго-Каспии, например, вылавливалось осетровых рыб в четыреста раз больше, чем теперь, сельдь и вобла продавались по бросовой цене. Во время путины на Амуре кетовая икра стоила двадцать копеек пуд при заработке грузчика около полтинника в день. В сотни раз больше, чем в советское время, особенно после наступления колхозной эры, добывалось меда. В лесных местностях немалым подспорьем оставались еще грибы, ягоды, лесная птица и прочее.

Обильным был армейский паек, не говоря уже о флотском. Многие солдаты продавали избыток хлеба, которого получали три фунта в день. Покупали его у них не только из-за дешевизны – в булочной ржаной хлеб тоже стоил полторы копейки за фунт, а еще из-за специфического вкуса солдатского хлеба. Он был очень крутым и слегка кисловатым, что многим нравилось.

Со времен Достоевского, писавшего о сытости Российской каторги, сытыми по горло были даже арестанты. У того же Горького можно встретить описание мужиков, разьевшихся и обленившихся в тюрьме на купеческих сайках.

Представление о якобы вечно голодной России установилось в позднейшее время в немалой степени благодаря литературе «критического реализма», начиная с Некрасова. В ней нередко изображалась бедность, а подчас и недоедание пореформенной русской деревни в малоземельных и неурожайных губерниях центральной России. Постепенно то, что было характерно только для отдельных лет и отдельных мест, было возведено в ранг почти

повсеместного правила. Современному поколению дореволюционное русское крестьянство представляется постоянно голодающим в массе, что совершенно неверно даже для таких бедных губерний, как поволжские. Южные же губернии, срединная, черноземная область, не говоря уже о Сибири, не только о голоде, но и о сколько-нибудь заметном недоедании не имели понятия.

Весьма далеки от истины представления нынешнего поколения советских людей о жизни русского рабочего непосредственно предвоенного периода, нарочито отождествленного с временами Халтурина и Михайлова. Я сам сын мастерового, однако не упомяну, чтобы в нашей семье или в семьях знакомых рабочих до начала войны возникали какие-нибудь затруднения по части питания. Даже в столице продукты стоили очень дешево. При одном, как правило, кормильце семья рабочего из семи-восьми душ не голодала, даже если этот кормилец значительную часть своего заработка пропивал, что, впрочем, тоже было правилом. А такие семьи, как наша, считавшаяся по понятиям того времени совсем маленькой, на заработок своего непьющего главы могла не только очень неплохо питаться, но и позволять себе почти в каждый праздник, а их было очень много, принимать гостей, кормить которых полагалось до отвала.

Другое дело жильё, мебель, одежда. Тут все было нищенски скудно. У моего отца, рабочего выше средней квалификации, за всю его жизнь был один-единственный порядочный костюм, сшитый ко дню его свадьбы. Пересыпанный нафталином, он хранился в сундуке и извлекался оттуда не чаще двух-трех раз в году по самым большим праздникам. Рядом с этим костюмом лежала и другая реликвия – лакированные отцовы штиблеты. Но «тройку» и выходные ботинки имели только очень немногие из наших знакомых. Те же, у кого число ртов переваливало за пять-шесть душ, теряли на приобретение этих предметов всякую надежду и даже в праздники надевали только кургузый пиджачок поверх сатиновой косоворотки да поярче мазали ваксой высокие яловые сапоги. Серебряные часы с цепочкой с юных лет были мечтой каждого мастерового, но у большинства эта мечта так и оставалась неосуществленной, как например, у нашего Фаддеича.

Отсутствие права на политическую активность и низкая культура жизни осознавались в тогдашней России многими и вызывали у них смутное желание каких-то перемен. Однако людская масса в целом мало критична и психологически инертна по самой своей природе. Из этого состояния ее может вывести, да и то далеко не всегда, только голод и физически невыносимые условия жизни. Но и в этом случае побуждение народных масс к активным, а тем более к организованным действиям требует условий, редчайших в истории. В конце мировой войны такие условия возникли в России в виде почти самопроизвольного распада царской армии и государственного административного аппарата с одной стороны, и вступления в действие активных революционных организаций, прежде всего большевистской партии, – с другой. Но перед началом этой войны одряхлевший монархический колосс еще стоял на своих глиняных ногах, отмахиваясь прутиком административных мер от досадно жужжащей словесной фронды. А между тем ее значение часто не столь уж мало. Политическое злословие разрыхляет психологическую почву для грядущих революций. У нас это было до конца понято уже в другие времена и в других условиях, когда царский прутик сменила сталинская дубина. Даже самую робкую словесную крамолу она вышибала нередко вместе с мозгами ее распространителей.

Однако банальная истина, что всё в мире относительно, остается верной, конечно, и тут. Перспектива попасть в жандармский «черный список» и загреметь в ссылку, пускай даже в места «не отдаленные», никому не улыбалась. Мать постоянно просила отца «не распускать язык», особенно в присутствии посторонних людей. Но это только раззадоривало его бравладу, и он мог громко распространяться, например, о том, что царя, срамящего свой народ якшанием с беглым конокрадом, следует гнать в шею.

Был какой-то праздник, и у нас в квартире собралась довольно большая компания рабочих, начавших чуть не с обеда дуть пиво. Был тут и Семен Фаддеич. На застланном клетчатой клеенкой столе высились узкие темного стекла пивные бутылки, горой громоздилась вобла – тарань, как её называла мать. В комнате, которая была заполнена густым папиросным дымом, шел довольно громкий

и пьяный разговор. Гости наперебой рассказывали интересные случаи из своей жизни, анекдоты и, конечно, объяснялись друг другу в любви и взаимном уважении. Происходили, однако, и небольшие стычки. Развязнее других вёл себя сильно подвыпивший молодой парень, модельщик из литейной, привязавшийся с плоскими насмешками к тихому и безобидному Фаддеичу. Тот начинал уже сердиться, однако сдерживался, нервно теребя горсть своих брелков. Это напомнило пьяному о смешной слабости старика, и он запел распространенную тогда песенку «Если барин при цепочке, значит барин без часов». Дядя Семён обиженно покраснел, вылез из-за стола и, подойдя к календарю, висевшему на стене, сделал вид, что внимательно рассматривает портрет царского семейства. Модельщик нашёл повод прицепиться к нему и тут:

- Что, Фаддеич, завидуешь, небось, царю Николашке?
- А чего ему завидовать? – отозвался тот.
- А тому, что у него хоть один сын да есть, а у тебя только дочки...

Фаддеич, судя по его ушам, покраснел еще гуще. Кое-кто из сидевших за столом, найдя шутку пьяного дурака весьма остроумной, глупо захохотал. А отец, желая, видимо, выручить старого приятеля, тут-то и брякнул – пиво он пил и был слегка навеселе:

- Зато у Семена все дети свои...

В ответ грянул уже общий хохот. Намёк поняли все. Ходили слухи, что отцом царевича Алексея был Распутин. Пьяный модельщик пришёл в полный восторг:

- Ай да Иваныч! Вот уж скажет, как топором рубанет! Дай я тебя за это поцелую...

- Не хочу я с тобой целоваться, – сказал отец, отодвигаясь. – Ты Фаддеича обижаешь!

- Я? Фаддеича? Да хочешь, я его тоже поцелую! – и модельщик опять переключился на дядю Семена.

Тот, не зная, как ему отвязаться от назойливого пьяного, наклонился над табуреткой, перед которой на коленях стоял я. Сегодня кто-то из гостей подарил мне красно-синий карандаш. Этим карандашом на листке оберточной бумаги я рисовал сейчас домики. Но это были не домики вообще, а изображение дома, в котором мы жили. Его можно было сразу узнать по двойному ряду окон, из которых полностью были видны только верхние,

нижние наполовину были скрыты в земле, и еще по трём трубам на крыше. Было два варианта изображения – синий дом с красным дымом из труб и красный дом с синим дымом. Я спросил у Фаддеича, какой из этих вариантов ближе к натуре. Тот сказал, что хорошо и так и этак, однако нельзя, чтобы дым из труб тянулся в разные стороны. Фаддеич взял у меня карандаш и только начал вносить поправки в мой рисунок, как на него навалился модельщик со своими поцелуями.

– Отстань! – дядя Семен наморщился и ударил надоедливого болтуна карандашом по руке. Пьяный некоторое время тупо смотрел на этот карандаш, потом, сообразив что-то, радостно ослабилась, вырвал его из руки Фаддеича и, подойдя к календарю, начал рисовать возле головы царя какие-то закорючки. Кто-то гоготнул, поняв, что модельщик хочет пририсовать царю рога в качестве иллюстрации к замечанию хозяина дома. Однако глянцева поверхность картинка карандаша не принимала, и на ней оставались только вмятины, напоминавшие не то перевернутые запятые, не то лунные серпы.

– Ты что делаешь, нехристь, пьяная рожа? – мать оттолкнула от царского портрета скалящегося святотатца, замахнулась на него календарём, который сорвала со стены, и, ругаясь, унесла картинку на кухню. Там она попыталась разгладить вмятины возле царевой головы чайной ложкой, но это ей плохо удавалось. Мать продолжала ругаться, обзывая пьяных мужиков «адивотами, неумытыми рожами и проклятой мастеровщиной».

А я жалел, что рога на портрете получились малозаметными – с ними царь выглядел бы куда занятнее.

– Чернилками бы надо, – заметил я, сочувствуя неудаче художника.

– Хоть ты бы еще под руку не гундел! – мать со злости хлопнула меня по голове календарем и предсказала, что я кончу так же плохо, как идиоты и охальники, которые гогочут сейчас за дверью. Будущее показало, что она была весьма близка к истине.

А из комнаты действительно доносился громкий хохот – там слушали очередную байку про царя. В ней рассказывалось, как одинокого прохожего, буркнувшего про себя на улице слово «дурак», арестовал случившийся рядом городской. «За что?» – изумился прохожий. «За оскор-

бление Его Императорского Величества!» – «Позвольте, я же не упоминал имени Его Императорского Величества!» – «Но вы сказали “дурак”. А дурак в Российской Империи только один».

Анекдоту посмеялись. Потом пожилой рабочий рассказал, что когда он работал на Путиловском, к ним однажды пожаловал сам царь. Ну, всех, конечно, согнали на заводской двор и приказали кричать самодержцу «ура». Кричали «ура» весьма усердно, но в хоре голосов явственно слышалось протяжное «дура-а-к», которое кое-кто выкрикивал под общий шум. Шпики даже называли тех, кто это делал, однако никого тогда не арестовали. Во-первых, слухи вокруг подобного дела выглядели бы не слишком красиво, а во-вторых, поди докажи на суде, что «дурак» кричал Сидор, а не Степан или Иван...

Разошлись наши гости в тот вечер довольно поздно, и уже на улице кто-то из них запел: «Истерзанный, измученный за день свой трудовой бредет, как тень загробная, наш брат мастеровой...»

Обо всем этом кто-то донёс. Был ли жандармский осведомитель в составе самой компании или он узнал о пьяной болтовне и крамольных песнях от кого-нибудь из соседей, осталось неизвестным. Как всегда в таких случаях, все начали сторониться и взаимно подозревать друг друга в доносах и провокациях. Большинство подозревало модельщика, хотя его тоже выслали из столицы. Само по себе это еще не могло служить доказательством его непричастности к осведомительству. Говорили, что все провокаторы подвергаются притворному гневу властей, чтобы, завоевав доверие окружающих, действовать в уже более крупных масштабах. Главная же роль стукачей во все времена состоит в информировании охранной службы и распространении среди людей растерянности и взаимного недоверия. Вполне возможно, что парень из литейки никакого отношения к доносам и не имел.

Так или иначе, но благодаря дюжине бутылок пива, выпитых не в меру развязной компанией, мы оказались на Полтавщине, в крупной помещицкой Экономии. То есть сельскохозяйственном предприятии, расположенном в верстах пятнадцати от уездного городка 3-ва.



Владельцев имения называли здесь «панами». Панов было два: старый Сергей Львович и молодой, его единственный сын Пётр Сергеевич. Старый и был тот камергер, владелец петербургского дома, из окна которого мы с матерью смотрели царский парад. Большую часть времени он проводил в Петербурге. Поэтому фактическим хозяином Экономии Брезелей являлся Пётр Сергеевич, человек лет тридцати с интеллигентской бородкой и в золотом пенсне. Как я понимаю теперь, он и по натуре очень походил на просвещенного и благожелательного дворянина-аристократа, многократно изображенного в русской литературе девятнадцатого века. Старый барон появлялся в своём имении очень редко, и за всю жизнь я видел его всего несколько раз, да и то мельком. Это был величественный старик с раздвоенной седой бородой. Ещё его отец был полновластным владельцем не только барской усадьбы, но и прилегающего к ней села со всем его населением.

В этом селе и теперь было довольно много стариков, хорошо помнивших времена крепостного права. О тех временах эти старики рассказывали почти исключительно ужасы. Может быть, недобрая намять о жизни дедов была одной из причин той необузданной и неоправданной свирепости со стороны крестьян, обрушившейся на внуков и правнуков жестоких крепостников в недалекую уже революцию. Но пока что, и вплоть до самой этой революции, подавляющее большинство селян кланялось каретам и фазтонам Брезелей так же низко, как и во времена крепостнические, хотя зависимости, даже экономической, от местных помещиков у них почти уже не было. Если же допустить, что эти поклоны вызваны были уважением и благодарностью баронскому семейству за построенную в селе церковь и хорошую школу, фельдшерский пункт, вымощенную булыжником площадь и главную улицу, то тогда грядущие убийства и погромы становятся и вовсе непонятными. Думаю, что психологическая сторона как приниженности, так и жестокости недалеких потомков бывших рабов чаще всего объясняется их убогим духовным наследием. Раб пресмыкается перед властью имущим, но беспощаден к падшему господину. И притом тем больше, чем более он перед ним унижался прежде, хотя бы и вполне добровольно. Впрочем, осо-

бенно во времена социальных неурядиц, отрицательные черты народа представляет не столько сам народ, сколько его относительно небольшая, но худшая часть.

В деревне было сотни три хат. Почти к каждой из них примыкал хотя бы крохотный, иногда всего на пять-шесть деревьев, вишневый «садок». И уж совершенно обязательными были цветы под окнами, повсеместно распространенные здесь петушки и барвинки, трогательные в своей милой простоте и незатейливости.

Окруженная молодыми деревьями, над обрывом к речке белела хорошенькая деревянная церковь, украшенная красивыми, как будто сотканными из золотых кружков крестами. Через спуск к мосту напротив бокового фасада церкви стояла очень неплохая по тем временам светлая и высокая четырехкласная школа. От церкви же начиналась главная улица села, мощеная и довольно широкая, но короткая. На другом конце этой улицы раскинулась просторная, как выгон, площадь. Высоким крыльцом на неё выпирало деревянное здание волостного правления, над которым в праздничные дни развевался трехцветный флаг Российской империи. Здесь находилась резиденция местной власти, состоявшей из выборного старосты, урядника и волостного писаря. Атрибутами этой власти была большая медаль на шее у старосты, которую он надевал в торжественных случаях, шашка и большущий револьвер на боку у урядника. И еще сельская «холодная» – небольшая каталажка, зарешеченное оконце которой где-то на самом верху глухой глинобитной стены подслеповато глядело на площадь. В редких случаях, когда перед крыльцом «волости» устраивался сельский сход, мужиков на этот сход сгоняли «соцкие». Соцкие обходили дворы непременно со здоровенными палками в руках, хотя понятие «сгонять» давно уже стало рудиментарным, а палка могла им понадобиться разве только для защиты от собак. Но она тоже являлась атрибутом некоторой власти.

Населяли Брезелиху почти исключительно «хохлы», как упорно, конечно только за глаза, продолжала называть малороссов мать. За исключением считанных сельских полуремесленников, хотя даже кузнец, бондарь, портной и чоботарь занимались также и хлебопашеством, все остальные здесь были только хлеборобами, чем явно,

но не назойливо, гордились. Может быть ещё и потому, что даже самые бедные из здешних крестьян по мерке каких-нибудь курских или тамбовских мужиков были богачами. Земли у них было не так уж мало. А главное, это была очень хорошая земля, дававшая втрое большие урожаи, чем в центральных районах России.

Торговый капитал в нашем селе был представлен двумя иноплеменными семьями – «жида» Ботвинника и «кацапа» Евтеева. Тот и другой содержали лавки, расположенные одна против другой на главной сельской улице. Однако конкурентами они не были. Ботвинник торговал «красным товаром», то есть мануфактурой и галантереей. Евтеев – скобяным, шорным и бакалеей. В лицо лавочников величали Абрамом Самуиловичем и Федором Пантелеймоновичем. За глаза соответственно Абрашкой и Федькой, хотя оба владельца лавок были людьми в летах и отцами семейств. Еще чаще их называли жидом и кацапом, не вкладывая, впрочем, в эти слова особо враждебного содержания – время для этого пришло позже. Совершенно безобидным считалось тогда название русского – «кацапом», что означало что-то вроде «козлорободый» и было ответной любезностью на «хохла».

Кроме двух частных лавок в селе существовало также и государственное торговое предприятие – пункт по продаже сорокаградусной водки, получившей впоследствии название «николаевской», или «николаевки». Это был единственный, хотя, конечно, и самый важный из спиртных напитков, изготовление и продажа которого составляли монополию государства. «Монополька» была учреждением строго казенного вида, в котором водка отпускалась через оконце в сетке, отделявшей присутственное место от публики. Оно ничем не отличалось бы от почты, если бы на его задней стене вместо царского портрета не красовались бы полки с бутылками классической водочной формы, но всевозможных размеров – от крохотного мерзавчика до здоровенной четверти.

Господский сад с «Домом» – так без всяких прилагательных называли здесь помещичьи хоромы – делил брезелевскую усадьбу на две части: парадную, обнесенную с трех сторон кирпичным забором, а с одной – высокой металлической решеткой, и черную. На парадном дворе находились конюшни выездных лошадей, каретные са-

раи, коровник, квартиры челядинцев. Через железную решетку, отделявшую двор от сада, был въезд к парадному крыльцу громадного дома с колоннами. На черной половине усадьбы, ничем не огражденной и гораздо большей по размеру, расположились почти все хозяйственные службы и строения Экономии: длинные конюшни многочисленных рабочих лошадей, воловник, в котором содержалось целое стадо серых украинских волов с длинными крутыми рогами, свинарник и птичник. Здесь же находились все мастерские хозяйства, жилье его постоянных рабочих и служащих, казармы сезонных рабочих, контора Экономии. Штат её служащих, если учесть, что в имении обрабатывалось свыше четырёх тысяч десятин пахотной земли, был по современным представлениям поразительно мал. Он состоял из управляющего, являвшегося одновременно главным агрономом, зоотехником и экономистом хозяйства, конторщика, выполнявшего обязанности бухгалтера, делопроизводителя, кассира и табельщика – он же курьер и помощник конторщика. Был еще дворецкий, который, впрочем, ничем уже не напоминал замкового мажордома былых времен. Этот служивый выполнял обязанности коменданта Экономии, также совмещавшего свою основную должность с обязанностями кладовщика-инструментальщика.

Невелик был здесь и штат постоянных рабочих-специалистов. С двумя паровыми локомотивами и довольно большим парком сельскохозяйственных машин управлялся машинист с одним-единственным помощником. Кузнец с молотобойцем обслуживали ковкой огромный табун лошадей и производили ошиновку колес бесчисленных дрог, дрожек, бричек, тарантасов и барских выездных экипажей. В помощь конюху, воловику и свинарю нанимали помощников и пастушков из числа сельских подростков только на время выпаса скота и летних сельскохозяйственных работ. Рабочим, состоявшим при сельскохозяйственных животных, обязательно и постоянно помогали члены их семей, иначе служба воловика или свинаря была бы невыполнимой. Совсем в одиночку работали шорник, плотник и столяр.

При такой незначительной численности постоянного персонала Экономии ее хозяйство велось очень неплохо. Устойчивый, почти ежегодный урожай пшеницы

составлял, как уже говорилось, 200–250 пудов с десятины. Огромными были урожаи сахарной свеклы и кукурузы. Откармливалось на продажу большое число белых длиннорылых свиней-йоркширов.

Достигались эти успехи путем правильного севооборота, тщательной обработки земли, её обильным унавоживанием и затратой огромного количества труда сезонных рабочих. Труд сезонников был очень дешёвый и нещадно эксплуатировался помещиками. На посев и уборку зерновых, производившихся главным образом уже машинами с конным приводом и требовавшими поэтому относительно небольших затрат рабочей силы, нанимали рабочих из крестьян Брезелихи и окрестных деревень. Но самыми трудоемкими и совершенно не механизированными были тогда работы на плантациях сахарной свеклы, которую Экономия Брезеля поставляла во всё возрастающем количестве сахарному заводу в недалеком селе Чугаровка. Достать нужное количество рабочих рук для этих плантаций на месте было уже невозможно. Поэтому батраков для работы на них вербовали в соседней Курской губернии, бедной и малоземельной. И не на поденную работу, как местных, а на «срок», то есть на весь сезон прополки, копки и вывоза свеклы. Курские кацапы и кацапки приезжали сюда целыми семьями, со своими лошадьми и телегами. Жили они в Экономии на хозяйских харчах, получая свой заработок только в самом конце срока, когда свекла была уже убрана и вывезена с полей.

Кацапы, по здешним понятиям, имели весьма смешной вид и говорили на ещё более смешном кацапском языке. Любопытно, что этот язык почти не отождествлялся в представлении местных крестьян не только с правильным русским языком, на котором учили их детей в школе и на котором разговаривали паны и чиновники, но даже с тем, на котором говорила моя мать, называвшая пшеницу «апшаницей» и вместо «в лентах» говорившая «с лентам». Осмеянию подлежал только диалект курских. Конечно, говор у них был особенный, свой. Куряне сильно «акали», а по мнению местных хохлов, еще и «ёкали». Так по крайней мере получалось, если верить местным парубкам, передразнивавшим кацапов фразой: «Визьмы кишку за хвист, та закынь на горыще», то есть

на чердак. На эту дразнилку следовал столь же стандартный ответ: «Хохол-мазница, давай дразниться!» По логике эти дразнилки следовало бы переставить местами, так как перепалку обычно начинали местные. Но на своей улице, как известно, и «курица хозяйка». Тем более что по мнению здешних парубков, курские напрашивались на насмешки уже одним своим видом. Они были обуты в лапти с онучами, носить которые украинцы считали прямо-таки зазорным. Здешний мужик предпочел бы ходить босиком, если у него не было смазанных «чобит», чем наvertеть онучи и обуть смехотворные лыковые «постолы».

Такое же отношение было у хохлов и ко всем остальным предметам туалета кацапов, больше просто потому, что они были иные, чем у них. Если одни заправляли вышитые рубахи за «очкур» широченных штанов, то другие носили длинные чуть не до колен рубахи поверх узких полосатых портков. В праздники у курских считалось шиком надеть кумачовую рубаху с жилеткой, хотя пиджаков ни у кого из них не было. Малороссы считали жилетку поверх рубахи навывпуск почти дурацким изобретением. Единственным предметом мужского костюма, который был общим у обоих братских народов, являлся праздничный картуз с пружиной в тулье и лакированным козырьком. Но тут сказывалось уже нивелирующее влияние фабричного производства.

Пожалуй, еще больше, чем одежда мужчин, различались у малороссов и южных великороссов наряды женщин, особенно праздничные. Ничего общего не было между широкими и длинными сарафанами кацапок и их высокими кокошниками, с яркими лентами, тяжелыми монистами – курские в ту пору их ещё носили – и узкими короткими плахтами хохлушек. Однако в отличие от взаимных насмешек украинских и русских парней, ничего подобного между женщинами не происходило. Может быть потому, что и хохлушки, и кацапки всегда держались очень скромно, особенно на людях.

Жили «сроковые» в глинобитных бараках-полуземлянках с крохотными подслеповатыми оконцами и сплошными двухъярусными нарами, на которые в качестве постели настилали сплошной слой соломы. Перед бараками на вбитых в землю кольях тянулись длинные дощатые настилы – обеденные столы батраков. Доски на ко-

лях пониже служили скамьями. Харч сезонных рабочих, кроме ржаного хлеба, выдаваемого в неограниченном количестве, состоял из традиционного «кондёра» – густого пшённого супа, заправленного салом и обильно приправленного укропом, петрушкой и ещё какими-то травами. На второе подавалась крутая пшенная, реже гречневая каша или галушки. Нас, приезжих, особенно мать, поначалу удивляло это национальное украинское блюдо, состоящее из кусков крутого теста, сваренного в подсоленной воде с салом. Во время еды горячие галушки брали «спичкой» – заостренной палочкой, которую каждый батрак постоянно носил при себе вместе с ложкой за голенищем сапога или онучей лаптя.

Еду сезонникам подавали в небольших деревянных корытах, почти ничем не отличающихся от тех, из которых кормили поросят. За каждое из таких корыт усаживались четыре человека, по двое с каждой стороны. Нас эти корыта поразили чрезвычайно, но здесь к ним относились совершенно спокойно. Из таких же корыт хлебали свой кондёр деды и прадеды нынешних наймитов. Говорили, что по вопросу содержания рабочих существуют разногласия между старым и молодым владельцами имения. Петр Сергеевич хотел сделать его более человеческим. Старый барон особенно не возражал, но считал, что это вызовет неудовольствие соседей-помещиков, у которых батраки-сезонники живут в ещё худших условиях. Зачем менять установившийся порядок, тем более что к нему привыкли и сами рабочие? К этому добавляли, что с Брезелем-отцом, не столь уж глубоко вникавшим в вопросы своего большого хозяйства, молодой пан нашёл бы общий язык, если бы не его мать. Из всего баронского семейства она была единственной, сохранившей деспотические замашки старых времен.

Рабочий день на полевых работах в Экономии продолжался от зари до зари. Десятилетиями позже он получил более сухое наименование «светового» рабочего дня. В разгар лета даже на юге это означает четырнадцать-пятнадцать часов в сутки.

Рабочий день постоянных рабочих и служащих, по крайней мере, когда они не участвовали в сельскохозяйственных работах непосредственно, продолжался двенадцать часов круглый год. В шесть часов утра, если день не

был воскресным или праздничным, табельщик звонил в колокол, подвешенный на столбе возле крыльца конторы. В полдень тот же колокол извещал о начале обеденного перерыва, продолжавшегося один час, а в семь вечера – об окончании рабочего дня. Для тех, кто был занят обслуживанием животных, понятия регламентированного рабочего дня и праздничного отдыха вообще не существовало. Они со своими семьями жили при конюшнях, коровниках и свинарниках, неся вместе с ними круглосуточную и круглогодичную вахту.

Для нас, как для семьи квалифицированного специалиста, было выделено жильё получше обычных здешних мазанок или пристроек к хлевам. Мы жили на одной из двух совершенно одинаковых половин небольшого домика, крытого железом и имевшего деревянные полы. В большинстве других рабочих жилищ полы были глинобитные. В другой половине дома жил конторщик с семьёй. Домик стоял на краю большого кукурузного поля. Узкая полоска земли между ним и этим полем была отведена владельцем Экономии под огороды своих служащих. По расположению помещений и их размерами наша здешняя квартира мало отличалась от подвала на Малой Охте. За тёмными сенями следовала кухня, рядом с которой находилась «комната». Но в отличие от охтинской кухня тоже была светлой, с двумя окнами. И глядели все окна не на грязную кирпичную кладку зарешеченной ямы, а на светлый мир. Особенно кухонные, за которыми раскинулось изумрудно-зеленое кукурузное поле.

Почти так же, как и в петербургской квартире, расположилась наша мебель. Направо от входа в комнату стояла кровать родителей, налево – сундук с образами над ним. По-прежнему между сундуком и кроватью нахально выпирал толстым пузом все тот же комод, над которым почти в прежнем порядке расположились фотографии. Как и прежде, немного сбоку от них висел календарь. Но подложка с царским портретом осталась в жандармском управлении в качестве вещественного доказательства поношения Его Величества. Теперь её заменила картинка, изображающая, как мыши хоронят кота.

Отцу поначалу все здесь не нравилось. С работы он возвращался хмурый и недовольный. Ворчал, что панская механическая мастерская похожа больше на сарай



для хранения металлического хлама. Нет ни станков, ни нужных инструментов, ни хороших материалов.

– Вот у нас на заводе... – вздыхал он сокрушенно.

Похоже, однако, что в этих сожалениях по заводу с его оборудованием заключалась далеко не главная причина недовольства питерского рабочего переменной места работы и жительства. Насильственное переселение никак не способствует благоприятному впечатлению от новых мест, даже если они совсем не плохи сами по себе. Судьба сыграла с Егором Путинцевым очень злую шутку. Всю свою молодость он потратил на то, чтобы вырваться из цепких объятий тяготившей его сельской жизни, и вот снова угодил в эти объятия. Сильнее всего он тосковал по своим товарищам-мастеровым. Поначалу в Экономии ему и словом перекинуться было не с кем. Время, однако, сглаживает всё. Постепенно отец втянулся в новые заботы, приобрел новые интересы, даже друзей, и брюзжать перестал.

А мать – та всё принимала здесь с радостью. И большую русскую печь на кухне, напоминающую ей печь в избе её родителей, и зелень кукурузы, никогда прежде ею не виданной, но близкой к зелени родных псковских нивок, и даже хохлов, к которым она быстро привыкла. Ведь эти хохлы, а особенно хохлушки, относились к ней с полным уважением и чуть ли не с почтением. Не то что охтинская мастеровщина. Для тех она была серой деревенщиной, еще недавно «хлебавшей лаптем щи», здесь же – почти дамой, приехавшей из столицы и видевшей самого царя.

Мудро было замечено еще в древности, что лучше быть в провинции первым, чем в Риме вторым. В огромном чужом городе мать чувствовала себя даже не второй, а почти последней, его падчерицей, нелюбимым приёмышем. И платила городу ответной нелюбовью, смешанной с недоверием и подозрительностью. Петербург угнетал её городской сутолокой, холодностью своих камней, черствостью. Даже я замечал ту тихую радость, с которой мать смотрела из окна нашей кухни на дальний горизонт, где радостный зелёный цвет поля граничил с ласковым и чистым голубым небом. На Малой Охте, за осушенным, но ещё незастроенным болотом, тоже было

видно небо. Но там оно было бледным, задымленным и каким-то зеленоватым.

Радовалась мать и нашему огородику, пускай не собственному, но на котором можно было выращивать свои, некупленные огурцы и капусту. Помидоры она сначала отказывалась есть – они казались ей какими-то жидкими, противно пахнущими. А вот запахи лука, буйно пускавшего к небу свои стрелки, укропа и петрушки, посеянные женой прежнего машиниста, уехавшего из Экономии потому, что он получил более выгодную должность на большой мельнице в городе 3-ве, она вдыхала с наслаждением.

Даже у самых скромных и непритязательных людей где-то в дальних закоулках души всегда таится бес тщеславия. Матери явно нравилось, что здесь её почтительно именуют Марфой Андреевной, а не просто Марфой, а то и Марфуткой, как в Питере. И только дамы довольно высокого по местным понятиям ранга, вроде жены соседа-конторщика, хотя и более фамильярно, но тоже достаточно уважительно, называют ее Андреевной.

Я часто наблюдал, как в кухню, в которой мать колдовала у ярко пылавшей печи, почтительно входила очередная посетительница, томимая любопытством и жадной познаться с недавней жительницей полумифической столицы. Гостя истово крестилась на образок Николая Чудотворца, висевший в углу, и долго потом отнекивалась от приглашения хозяйки присесть на лавку. Наконец она усаживалась и, продолжая глядеть на мать во все глаза – откровенное любопытство правилами деревенской вежливости не возбранялось, начинала разговор обычно с вопроса:

– Мабуть, Вам погано здалося у нас на сэли?

Мать на подобные вопросы сначала смущённо улыбалась и пожимала плечами, но скоро научилась понимать язык малороссов. Она пришла даже к благословенному выводу, что это тот же русский, только сильно перековерканный, хуже даже, чем у самых последних «серых». Сама она, однако, этому языку так и не выучилась до конца своей жизни. Может быть ещё и потому, что в овладении им не было особой необходимости. Русский язык уже в те времена украинцы понимали без исключения все, даже в куда более глухих углах, чем наша Брезелиха.

Когда дело доходило до стержневого вопроса – как и при каких обстоятельствах Марфа Андреевна бачила самого царя? – мать отвечала, что для жителя столицы это не так уж сложно, царя видел даже её Димка. Гостья изумленно всплескивала руками и, если я случался рядом, просила:

– Расскажи про царя, хлопчику!

Я не заставлял себя долго упрашивать и тут же показывал, как царь пьёт водку. Затем, ухая, тараща глаза и подпрыгивая, на ухвате или сковороднике изображал парад царской гвардии.

Мать почти утратила здесь некоторую скованность, часто угнетавшую её среди питерских, перед которыми она стыдилась своей серости. Теперь она даже иногда была не прочь посмеяться над своими земляками, попадавшими в Петербург прямо из деревни. Один «пскопской» из её рассказов о них, когда ему предложили взять к чаю масла, бухнул полную ложку этого масла себе в стакан, а её родная тетка приняла пожарного в каске, ехавшего на бочке, за самого царя.

Ещё скорее, чем моя мать, я нашёл общий язык со здешними мальчишками. Оказалось, что склонность замыкаться в ограниченные возрастные группы выражена у них гораздо слабее, чем у городских ребят. По отношению к младшим мальчишкам старшие вели себя совсем не с таким зазнайством, как на Малой Охте, а ко мне же и подавно. Ведь я для них, как Марфа Андреевна для их матерей, был чрезвычайно много видевшим и знавшим, необыкновенно бывалым человеком, которого тут ничем не удивишь.

В действительности же здешний мир казался мне очень интересным, интереснее даже охтинских задворков. Даже мусорная свалка на пустыре меркла по сравнению с заросшими бурьяном канавами, бесчисленными закоулками между сараями, амбарами, скирдами сена и соломы, заброшенными временными постройками Экономии.

А кукурузное поле напротив окон нашей кухни я представлял себе настоящим лесом, так как кукурузные стебли были втрое выше меня ростом. Забравшись в этот лес, можно было легко создать иллюзию этакой романтической отрешённости от всего остального мира. Даже

взрослого человека, спрятавшегося в кукурузе, найти было очень трудно. Особенно в пору, когда на ней начинали уже раскрываться крупные волосатые початки.

А сколько в нашей Экономии ежедневно совершалось интересного для пытливого и внимательного человека! Можно было часами наблюдать, как отец со своим помощником, молодым симпатичным парнем, которого звали Петрусь, до винтика разбирают, чистят, чинят и опять собирают непостижимый в своей сложности «паровик». Или как постукивает небольшим молотком сначала по нагретому докрасна железу: тук-тук, – а потом зачем-то по наковальне рядом: дзинь-дзинь, – наш кузнец дядько Михайло. И как по месту, которого коснулся молоточек мастера, тяжело грохает молотом дюжий молотобоец Савка: ба-бах. С утра до вечера по всей Экономии была слышна эта музыка: дзинь-дзинь-бах, дзинь-дзинь-бах...

Интересно было следить и за стружкой, свивающимися лентами выползавшей из-под рубанка столяра, и за удивительно острым топором плотника, обтёсывающего бревно, и за красивым двойным швом из узких ремешков, который накладывал на новый хомут шорник. Но самым интересным было действие механизмов. Например, конного привода. Три пары лошадей с надетыми на глаза наглазниками – иначе от хождения по кругу у них закружилась бы голова – вертели за толстенные дышла шестерёнчатый механизм, наполовину вкопанный в землю. От него по узкой, выложенной деревом канавке тянулся шарнирный вал, вращавший какую-нибудь машину: кукурузорезку, соломорезку или прессователь сена. О мощности конного привода ходили легенды. Однажды мужику по имени Касьян, с особой лихостью подававшему в кукурузорезку пучки кукурузных стеблей, захватило зубчатыми валками руку. И прежде чем остановили лошадей, до плеча искромсало эту руку страшными кривыми ножами. Теперь Касьян служил лесником в панском лесу. Помимо пустого рукава, этот человек был интересен ещё и тем, что праздновал свои именины раз в четыре года.

И всюду здесь разрешалось бегать, лазать, совать свой нос в любые дырки. Этому не препятствовала даже мать, прежде боявшаяся отпускать меня дальше подворотни. И мы, ребяташки, вертелись всюду, даже ездили на дыш-

лах конного привода, как на карусели. Погонщик лошадей, когда мы слишком уж нагнали, конечно, кричал на нас и даже замахивался кнутом, но делал это больше для вида. Не мог же он всё время бегать за нами, пугая и сбивая с толку лошадей!

Я окунулся в невероятную занятость. Времени на всё решительно не хватало, даже после того, как я свёл продолжительность ночного сна к возможному минимуму, а пищу принимал только стоя, почти на ходу. Мать за это на меня очень сердилась, крича, что стоя едят только скоты, а иногда и награждала подзатыльниками. Но и после этого я присаживался на краешек табуретки лишь на какую-то минуту и под крики матери: «Рожу-то хоть перекрысти, нехристь!» – убегал.

Очень много нового и интересного здесь можно было не только увидеть, но и услышать. Здешние ребята постарше обладали неожиданно обширными сведениями по части тайн мироздания, уже тогда очень меня интересовавшими. В этом отношении некоторые из них превосходили даже бабушку Пелагею. Тем более что бабушка была знатоком, главным образом, светлых сил природы, исключая разве Змея, пытавшегося проглотить солнце. Наши же мальчишеские разговоры шли почти всегда о жуткой, а поэтому и куда более интересной чертовщине. Эта чертовщина, оказывается, окружала людей всюду, как в первобытные времена. Выражаясь современным языком, сознание наших мальчишек было почти мифологическим.

В безветренные жаркие дни на открытых местах здесь часто возникали маленькие вихри. Они бежали по поверхности выгона, тока или скошенного поля, крутя солону, кострику, щепки и прочий легкий мусор. Выбегая на дорогу, вихорьки поднимали и закручивали штопором густую пыль. Пробежав некоторое расстояние, они опадали, как будто обессилев или досыта наигравшись. И оставляли после себя разбросанный как попало хлам.

– Черти на кулачках бьются! – кричали в таких случаях ребята. И если под рукой оказывался нож, бросали его в бегущий вихрь, стараясь попасть в самую середину. Мы были уверены, что если бросить нож достаточно точно и ловко, то потом на его лезвии можно будет обнаружить чертячью кровь.

Нож в вихри бросали часто. Однако сколько-нибудь убедительных следов крови увидеть на нём никак не удавалось. Уж такая, по уверениям старших ребят, выпала теперь полоса неудач. Раньше, до вступления в нашу компанию меня и других молодых её членов, это удавалось почти постоянно. А вот теперь всякий раз какая-нибудь случайность мешала получению достаточно отчетливого результата. Даже при самом тщательном исследовании лезвия присутствие крови пораненных чертей на его поверхности оставалось весьма сомнительным. Правда, некоторые уверяли, что видят эти следы, когда смотрят на нож, держа его как-то наискось. Но мне, при всём моём желании, увидеть следы чертячьей крови так ни разу и не пришлось.

Неудачу опытов относили иногда к недостаточной отточенности ножа. Но чаще всего её объясняли неумением его метателя. Каждому казалось, что уж он-то бросил бы куда лучше.

- Эх ты, - корили неудачника. - Если так его бросать, то нож непременно по чёрту ручкой попадет...

В таких случаях рассудительный Санько, сын нашего соседа конторщика, иногда примирительно говорил:

- А может, он и правильно попал? А знаете вы, какая на чертяке шерсть? Гуще, чем на дворовой собаке! Вот нож в ней и запутался...

Санько был старшим из двух сыновей конторщика, перешёл уже во второй класс приходской школы и считался у нас главным специалистом по чертям и нечистой силе. С его объяснением охотно соглашались, но были и другие, не менее реальные причины - кровь с ножа могла стереться о траву или дорожную пыль.

Санько знал много страшно интересного о кладбищах, мертвецах, нетопырях и ведьмах. Он хвастался, что читает уже книгу о снах, гаданиях и ворожбе, имевшуюся у его отца Степана Гавриловича. Составил эту книгу некий мудрец по имени Мартын Задека. Санько показывал нам её, когда родителей не было дома. И даже читал иногда, хотя и по складам, некоторые места из знаменитого руководства по ворожбе и толкованию снов. Текст, особенно в чтении Санька, показался нам весьма невразумительным, отчего наше почтение к колдовской книге увеличилось еще больше. Этому способствовали также

странные астрологические знаки на мягкой красочной обложке дешевого издания старинного гадальника. Грамотей Санько объяснил нам, что понять все написанное в этой книге не могут даже очень грамотные взрослые люди. До конца её содержание становится доступным только тем, кто посвящает изучению халдейской премудрости всю свою жизнь или ради приобретения колдовских знаний продаёт душу черту.

Сельское кладбище находилось сразу же за кукурузным полем и было бы хорошо видно из окон нашей кухни, если бы не заросли кукурузы. Но из-за разговоров на мистические темы мы даже днём боялись подойти к нему ближе, чем на ширину проезжей дороги, отделявшей один из углов деревенского погоста от дальнего края кукурузного поля. От одной мысли о том, как руки скелетов, протягиваясь из развёрстываемых могил, хватают за полы смельчака, решившего посетить мрачное место в глухую полночь, холодели руки и ноги даже в полдневную жару. В селе рассказывали, что однажды нашёлся такой смельчак, поспоривший с приятелями парубками на четверть водки, что в полночь он вобьёт меченый кол в могилу сельского колдуна, погребенного накануне. Парень действительно отправился с таким колом на кладбище, но приятели, простоявшие у кладбищенских ворот до утра, так и не дождались его обратно. Утром они нашли отчаянного хлопца мёртвым у свежей могилы человека, которого всё село считало колдуном.

Находились, правда, скептики, отрицавшие причастие к этому событию потусторонних сил на том основании, что свитка парня оказалась приколоченной к земле его же колом. Впотымах и впопыхах он, видимо, не заметил этого сразу. А уходя вообразил, что это мертвец держит его за полу, и умер от страха. Маловеерам возражали, что даже если оно и так, то всё равно это работа нечистой силы. И лишнее доказательство того, что она не преминет круто расправиться со всеми, кто дерзнет вторгнуться в её владения в неурочный час. Представления Рудого Панька и других персонажей гоголевских «Вечеров» были здесь ещё живы. И немудрено. Село Диканька – то самое – находилось от нас всего в нескольких десятках вёрст.

Обмен знаниями в нашей мальчишеской компании носил взаимный характер. Если Санько и другие здеш-

ние хлопцы отлично разбирались в делах и повадках чертей и ведьм, то сами они слушали рассказы обо всём, что находилось за пределами околицы их села, дальше которой мальчишки никогда не бывали, разинув рты. Это составляло предмет уже моей компетенции. Я рассказывал приятелям о Петербурге и о виденном по дороге сюда, о громадных домах, поставленных друг на друга по пять-шесть и более штук, о гладких, как стол, мостовых, об автомобилях, трамваях и каретах, запряженных четверками лошадей, о параде на Марсовом Поле, о паровозных дымах и гудках. И конечно, порядочно при этом привирал. Причём не столько как непререкаемый очевидец всех этих чудес, сколько из-за распиравшего меня воображения. Гиперболизации виденного немало способствовал и приём, при помощи которого я доносил до слушателей свои воспоминания, особенно когда дело касалось описания поразительных вещей и явлений. Он по-прежнему состоял у меня больше из отчаянной жестикуляции, мимики и междометий, чем из слов. Однако слушатели всё понимали и выражали своё восхищение примерно теми же средствами. Поэтому, когда будучи уже взрослым я слышал что-нибудь вроде анекдота о сельском зрителе, повествующем о посещении им городской оперы: «Сначала ни хрена... Потом - едрит твою мать! Потом опять ни хрена...» - и реакции его слушателей: «Эх, едрит твою...», - для меня реакция этих зрителей была вполне понятной и естественной. Глаза и открытые рты у ребят были одинаково круглыми, и они все разом выдыхали: «О-о-о...», когда я описывал, какая у царя «хата». Она в моём рассказе была размером с кукурузное поле, а по высоте в десять раз выше брезелевского дома.

Но я был не только повествователем о чудесах внешнего мира, а ещё и поставщиком идей, подчас весьма смелых. Однажды предложил построить своими силами паровоз. Да не игрушечный, а всамделишный, который пускал бы из трубы настоящий дым и искры. Правда, кроме меня, никто из ребят паровоза не видел, зато все видели паровые локомобили, которые отличались от локомотивов только тем, что передвигались с места на место не самостоятельно, а с помощью волов. Моя идея была одобрена, и все необходимые части были быстро собраны. В поржавевшее жестяное ведро чуть выше дна



мы воткнули рассеиватель от старой лейки. Кто-то принёс остов детской коляски с четырьмя железными колесами, валявшийся среди железного лома возле кузни. Коляска была выброшена из дома управляющего, у которого все дети давно выросли и разъехались. Горизонтально поставленное на эти колеса ведро с торчащей из него конической трубой было – ни дать ни взять – настоящий паровоз. Дух захватывало от восторга, когда мы представляли себе, как в его чреве запылает огонь, а из паровой трубы повалит настоящий дым. Теперь для полной реализации нашей затеи нужно было подыскать подходящее место, где можно было бы надёжно укрыть от глаз взрослых нашу огневую машину. Такое место нашлось. На краю барского тока стоял огромный и высокий деревянный сарай, где хранилось прессованное сено. Зимой, когда устанавливался санный путь, его вывозили на железнодорожную станцию, чтобы уже в вагонах отправить куда-то дальше. Сено являлось одним из видов товарной продукции нашей Экономии. А пока что его связанные проволокой тюки были сложены в громадные штабеля, громоздившиеся до самой крыши склада. Между этими штабелями и задней стеной сарая оставался проход, настолько узкий, что взрослый человек мог протиснуться в него только боком. В глубине одного из таких проходов мы и установили наше сооружение. Сенной склад был вообще отличным местом для тайных собраний и игр, благо его ворота на замок тогда не запирались.

Мы напихали в свой паровоз тонких стружек и щепочек посуше. Сыновья конторщика – Санько и его младший брат Гришак – притащили целый ворох старых бухгалтерских бланков. В горючем недостатка не было. Оставалась, однако, самая трудная из организационно-технических проблем: где и как достать спички? Стащить несколько штук у матери трудности не составляло, но без коробка. Подобрать же пустую спичечную коробку на улицах, как это делали мальчишки на Малой Охте, здесь было непросто. Спичками тут пользовались еще далеко не все. Большинство крестьян и батраков прикуривали от ветхозаветных «кресал». Что же касается последствий от разведения огня на складе сухого сена, то мысль об этом просто не приходила нам в голову. Способность к выдумке и вполне, казалось бы, логическому мышлению, осо-

бенно при увлечении интересной затеей, очень часто поразительным образом сочетается у детей с полным неумением предвидеть её последствия.

Был разработан и хитроумный, психологически весьма тонкий план доставания спичек. Заключался он в следующем. В нашу игру увязался Стёпка, сын табельщика Трофима. Несмотря на всю нашу демократичность, мы его едва терпели, так как Стёпке не было ещё даже полных пяти лет. Однако он бегал за нами повсюду, постоянно боясь, что его прогонят из взрослой компании. И всячески выражал свою готовность быть нам полезным в каком угодно качестве. Вот эту-то его готовность и решено было теперь использовать с жёстким и холодным расчётом. Малышу дело было представлено таким образом, что спички никакой проблемы для его старших товарищей не составляют. Но что они решили-де предоставить ему возможность доказать делом свою способность выполнять ответственные поручения. От почетного задания достать спички Стёпка может, конечно, отказаться. Но этим только докажет, что остаётся ещё сопляком, которому совсем не место в команде предприимчивых удальцов.

В какой-нибудь сотне шагов от сарая, где ждал огня начинённый стружками и бумагой паровоз, находилась кузница. Нам было видно, как кузнец Михайло с молотобойцем Савкой копаются в железном ломе за её стеной. Момент был подходящий. От Стёпки требовалось только, чтобы он подошёл к дядьке Михайле и от имени своего отца попросил у него спичек. Батька-де находится сейчас на ближнем свекловичном поле. Хватился закурить, а спичек нет – забыл дома. Как только отец закурит, Стёпка мигом принесёт спички обратно. Версия была вполне правдоподобной, так как Трофим действительно находился сейчас на ближнем поле за током. С него обычно он отправлялся дальше, отметив в журнале работающих на прополке свеклы батрачек.

Сначала Стёпка было замаялся. Даже ему была очевидна опасность поручения. Обман мог легко открыться, если и не сразу, то потом. Однако страх прослыть трусом, недостойным доверия своих товарищей, оказался, как мы и рассчитывали, сильнее страха перед опасностью разоблачения. Получив подробнейшую инструкцию, как ему действовать и что говорить дядьке Михайле, Стёпка неза-

метно выбрался из сарая и направился к кузнице. Через щели в воротах мы с волнением следили, как он подошёл к кузнецу и что-то ему сказал. Как мы и предполагали, дядько Михайло не сразу полез в карман за спичками, а задал Стёпке какой-то вопрос. Очевидно, хорошо усвоив полученную инструкцию, малыш показал рукой в направлении тока. Ложь была хорошо продуманной, да и Стёпка по своему малолетству вряд ли мог вызвать подозрение в курении. Пошарив по карманам, кузнец достал вожделенный коробок. Мы замерли от восторга – сейчас спички будут в нашем распоряжении. В паровозной топке запылает огонь, а оказавшийся достаточно толковым парнишка вернёт спички их владельцу, поблагодарив его от имени отца. Но тут произошло совершенно неожиданное. Со стороны тока верхом на лошади показался сам табельщик. Его, как выяснилось позже, внезапно вызвали в контору. Удивленно взглянув на сразу съёжившегося Стёпку, кузнец воздержался от вручения ему спичек и окликнул Трофима. Тот повернул коня в сторону кузницы.

Мы не стали дожидаться конца первого допроса несчастного Стёпки, высыпали из сарая и спрятались рядом за углом амбара, чтобы наблюдать за дальнейшим ходом событий с менее опасной позиции. Ничего хорошего, однако, ждть уже не приходилось. Мы смотрели, как с видом приговорённого к казни Стёпка вёл взрослых в сеной сарай, как оттуда выносили части нашего паровоза и вытряхивали из его топки щепки и бумагу. Мгновенно собрались невесть кем оповещённые мужики и бабы. Женщины всплескивали руками и хлопали себя по ляжкам, солидные дядьки скребли затылки.

– Вся Экономия дымом пишла бы... – шмыгнул носом наш разумник Санько, как будто только сейчас узнал об опасной шалости несмышлёных сорванцов. Впрочем, с таким же опозданием и всем остальным стало ясно, что если в сухом сене разжечь огонь, то оно непременно загорится.

– Треба тикать! – заключил тот же Санько, когда публика, поохав, разошлась, а подошедший дворецкий увёл Стёпку в контору, прихватив с собой вещественные доказательства затевавшего преступления: ведро, бумагу и стружки. Пойманного преступника дворецкий

крепко держал за плечо, хотя Стёпка от страха еле передвигал ноги. Да и куда ему было бежать? Как, впрочем, и всем нам.

- Татко у нас серди-и-тый, - произнёс Гришак.

Наверное, он думал о батожке - небольшом кнуте, висевшем на видном месте в квартире Степана Гавриловича в качестве постоянного напоминания сыновьям о воспитательных приёмах отца. Такими же «сердитыми» были и шорник Кондрат Пахомович, и столяр Хома Панкратович, и другие родители смелых конструкторов и экспериментаторов, теперь окончательно сникших и приунывших. Никакого не могло быть сомнения в том, что Стёпка, который держит сейчас ответ перед управляющим именем, а может быть и перед самим паном, всех нас выдаст. Да и кто бы на его месте не выдал? Только я, да и то больше для того, чтобы подбодрить самого себя, заявил, впрочем без особой уверенности, что мой папа никогда не дерётся.

- А ему тебя выдрать пан прикажет! - с унылой уверенностью возразил Санько.

Эти слова открыли для меня ещё одну ужасную особенность нынешнего баловства - его общественный масштаб. До сих пор все пакости, совершаемые мной, если не считать истории с Титком, замыкались в пределах нашей семьи и касались только её одной. Сейчас же дело шло о затее, угрожавшей страшной бедой массе людей, в том числе, и больше всего могущественным и, вероятно, свирепым и мстительным панам. Наше преступное легкомыслие было теперь совершенно очевидным и для нас самих, хотя до провала попытки достать спички его нагло заслоняла бездумная увлеченность. Санько, конечно, был прав. Паны будут требовать жестокой мести по отношению ко всем участникам едва не состоявшегося поджога. А уж больше всего, наверное, мне, как его главному инициатору и вдохновителю. И мы молча разбрелись в разные стороны, каждый сам по себе. В состоянии тупой безнадежности я долго брёл по краю кукурузного поля, пока не оказался у дороги, отделявшей поле от кладбища. За его плетнем среди зарослей крапивы и высокого бурьяна чернели покосившиеся кресты. Мелькнула мысль: а что если пойти на кладбище и умереть? Я и Тайка не раз слышали от матери: «Чем жить с вами, адивотами таки-

ми, пойду сейчас на кладбище и лягу в могилу!» Однако готовой могилы на кладбище сейчас, вероятно, нет. Я знал уже, что эти глубокие прямоугольные ямы копают только от случая к случаю, когда кто-нибудь умрёт. А может быть, настоящая могила не так уж обязательна? Достаточно просто какой-нибудь ямки за кладбищенским плетнем? Но непременно там, так как ямки, расположенные во всех других местах, никаким умерщвляющим действием определённно не обладают. Это следовало хотя бы из опыта игры в прятки. Но существует ли гарантия, что и к залёгшему в могилу даже на кладбище смерть является сразу? Что если она замешкается до темноты? При мысли о том, что ночью я останусь один среди мертвецов, меня обуял такой страх, что я опрометью бросился бежать домой через заросли кукурузы. И остановился только у дощатой будочки, стоявшей позади нашего огорода. Мать называла её местом, куда даже царь пешком ходит. Тут, в заросшей бурьяном канаве, я и засел.

Колокол возле конторы прозвонил на обед. Я видел, как в дом вошёл отец, показавшийся мне насупленным и хмурым. Вероятно, его уже вызывал к себе владелец Экономии и потребовал для меня такого наказания, что хуже его была разве только смерть на кладбище. Сейчас на кухне отец под рукомойником моет руки и рассказывает матери, что натворил их непутёвый сын. А та, конечно, всплескивает руками и причитает по поводу несчастной доли быть матерью адивота. И так, причитая, достает из печи чугунок с вкусным борщом, который родители будут есть деревянными ложками из расписной глиняной миски – изделия местных гончаров. Тут я почувствовал приступ сильного голода. Дело в том, что, торопясь быстрее запустить паровоз, установленный за штабелем сена ещё с вечера, я убежал утром из дому, даже не позавтракав. Желания есть не могла заглушить даже горечь сознания, что дальнейшее моё существование уже смысла не имеет.

После обеда отец вышел на крыльцо в сопровождении матери. Оба они с минуту смотрели в сторону кукурузного поля, очевидно догадываясь каким-то образом, что я где-то тут, совсем рядом. Отец погрозил пальцем даже в сторону канавы, где я сидел, а мать, почти не повышая голоса, сказала неожиданно равнодушным тоном, что я могу оставаться в ней хоть до скончания века. Оттого, что

в семье не будет такого хулигана и идиота, как я, потеря невелика. Наоборот, будет очень хорошо, если я не вернусь домой совсем... Я съёжился ещё сильнее на дне канавы. Отец ушёл на работу, а мать в дом.

Угрозы выставить меня из дома я слышал от неё не раз и прежде, но особого значения этим угрозам как-то не придавал. Во-первых, подобная мера была несоизмерима с вредом, который я до сих пор причинял. Во-вторых, представлялось совершенно невероятным, чтобы мои папа и мама оказались злее всех других родителей. Я же никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из них выгонял из дома своих малолетних детей. Сегодня, однако, главная опасность заключалась не в родительском гневе, такого изгнания мог потребовать владелец имения. Мой же отец, как служащий всемогущего пана, не подчиниться его требованию не может, даже если ему и очень жалко своего непутёвого сына. Так утверждал наш всезнающий Санько. Он добавлял к этому, что со стороны пана не исключён даже приказ о водворении нас в тюрьму. На селе все помнят, как несколько лет назад стражники на конях угнали в город, в тамошнюю тюрьму, того дядька, который запалил двор своего соседа!

Что тюрьма – это что-то вроде запертого тёмного чулана, из которого сидящих в нём никогда не выпускают на улицу и кормят только хлебом с водой, я знал по описанию матери. Она часто сулила мне тюремный чулан как неизбежный венец моей карьеры. Определенно, это было очень скверное место. Но неизвестно, что хуже: сидеть в тюрьме или бродить по окрестностям без крова и хлеба?

Я снова вернулся к мысли, что самое лучшее в моём положении – это все-таки умереть. Но как это сделать? Может быть, можно обойтись без могилы на кладбище, а достаточно только очень сильно пожелать себе смерти? Вот прямо сейчас захотеть сделаться мёртвым и стать им! Вероятно, самое главное в этом деле – суметь принять твёрдое и окончательное решение. После некоторой борьбы с малодушным цеплянием за ненужную более жизнь я такое решение принял и сразу же почувствовал, что умираю. От этого всё стало каким-то безразличным и неинтересным. Даже то, какого наказания потребует для меня свирепый пан. И будет ли Тайка после моей кончины называть Димкой самую драную и безобразную из сво-

их кукол. И пойдет ли глупый Стёпка опять искать, где небо сходится с землей. На днях в поисках этого места он ушёл за пять верст по дороге в 3-в, и отец верхом на лошади ездил его догонять.

Потом, сквозь грустную отрешённость умирающего человека меня вдруг пронзила острая жалость к себе и сожаление о тех, кто останется жить после: папе и маме, Тайке и Поле, товарищам-мальчишкам. Я представил себе, как сегодня или завтра в этой вот канаве кто-нибудь наткнётся на мой закоченевший труп. Его внесут в дом и положат на стол, как положили покойницу-девочку в одной из квартир на нашей улице на Охте. И все тогда начнут плакать. Так уж полагается, когда человек умрёт. Даже если покойник вёл себя при жизни не слишком хорошо. Вообразив себе столь грустную картину, я заплакал сам. А слезы – это такая штука, что остановить их, если прорвутся, дело почти невозможное даже в куда менее отчаянном положении, чем моё. Вскоре я буквально исходил слезами и так, среди всхлипываний и сдавленных рыданий, умер. Смерть сама по себе оказалась совсем не страшной. Наоборот, как-то совершенно незаметно исчезли, как будто провалились куда-то, все тягостные мысли, страх, горестное сожаление о безвременно ушедшей жизни, чувство отверженности и даже желание есть.

Проснулся я уже совсем вечером и не сразу понял, где я и что со мной. Закатное солнце освещало красноватым светом наш домик. Земля в канаве уже не была такой нагретой, как днём, а трава пахла как-то иначе. Со стороны кладбища доносилось мычание. Это возвращалось с пастбища сельское стадо. Голова казалась набитой чем-то тяжёлым и неприятным. Зато в животе ощущалась непривычная пустота, тоже очень неприятная. Наконец я вспомнил, что сегодня произошло, включая свой мнимый уход в царство Нирваны. Меня опять охватило отчаяние, а неопределенное ощущение в животе сменилось весьма определенным чувством голода. Выходило, что никакой я не покойник, а просто голодный, несчастный человек, которому нечего есть и некуда податься.

Из квартиры соседей вышла Тайка. Она возвращалась домой, волоча за ногу грязного тряпичного Димку. Другой ноги у этого Димки давно уже не было. По уверениям сестры, её оторвало, когда этот неисправимый не-

слух без спросу полез под паровоз. Теперь, когда для игр у меня были товарищи поинтереснее, чем моя сестра, она играла со своими куклами одна или со своей сверстницей Оксаной, дочерью конторщика.

Потом на огород вышла мать. Она сорвала с грядок несколько огурцов и выдернула пару головок лука. Я понимал, что сейчас уже готовится ужин к скорому приходу отца. Однако меня всё это никак не касается – возвращаться домой мне ведь нельзя! От острого приступа голода и нового прилива жалости к себе я снова чуть было не зарыдал. Было что-то нестерпимо обидное и в том, что всё в мире происходит, по-видимому, совсем обычным образом. Как будто в нём вовсе нет самого несчастного на свете человека, одиноко сидящего в канаве, тогда как солнце уже закатывается и скоро наступит ночь. Как будто ощутив исходящую от меня волну горя, мать из-под руки – красноватые лучи заката попадали ей прямо в лицо – посмотрела в ту сторону, где по-прежнему находился я. Сделай она в этом направлении хотя бы шаг, я бы выскочил из своего укрытия и сдался бы на милость взрослых. Пусть уж лучше будет порка или тюрьма, чем эта бесприютность перед лицом ночи. Но мать только махнула рукой и снова ушла в дом. Оказывается, она могла выдерживать характер. А мне от этого открытия так сильно захотелось умереть, что если бы не страх перед близкой темнотой, впору было бежать на кладбище и поискать там какую-нибудь завалившую могилку.

Из дома с игрушечным жестяным ведерком в руке вышла Тайка. Это ведёрко недавно смастерил отец. Сестра подошла к бочке, стоявшей под водосточной трубой, и перегнулась через её край, чтобы зачерпнуть воды. Бочка была Тайкиным колодцем, из которого она ежевечерне брала воду для своего самовара – забавной игрушки из жести, тоже сделанной для неё отцом. Я знал, что сейчас в углу кухни этот самовар стоит на чурбачке, изображавшем стол, вокруг которого чинно восседают Тайкины «дети». Оставшись почти без моего влияния, сестра всё явственнее проявляла теперь свои собственные, девчоночьи вкусы, которых я решительно не разделял, и во многом подражала матери. Если в первые дни по приезде сюда, когда я ещё не освоился вполне со здешней обстановкой, она и соглашалась иногда на игру «в больших»,



то непременно в «папу и маму», у которых обязательно должна быть куча детей. Детьми были всё те же Тайкины унылые куклы: Сонька с отбитым носом, деревянная матрёшка, распадавшаяся на четыре раскрашенных пустотелых чурбачка, и этот несчастный одноногий Димка, которого Тайка вечно ругала «адивотом» и «фулюганом». Условия были явно для меня унижительные, и я предпочёл отказаться от подобных игр вообще.

Дождя не было уже давно, и воды в бочке оставалось совсем мало. Поэтому сестра все сильнее перегибалась через ее край, пытаясь дотянуться до воды очень маленьким ведёрком. Она перевесилась через этот край так сильно, что её босые ноги отделились от земли. Потом как-то странно взметнулись вверх, и она опустилась уже внутрь бочки, притом настолько, что остались видны только маленькие болтающиеся в воздухе ступни. Это было так интересно, что я даже забыл о своём положении изгиба и необходимой для отверженного конспирации и побежал к бочке.

Тайка стояла на дне бочки на руках, почти полностью скрывшихся под водой. Под водой находилось и лицо сестры, что давало ей возможность пускать оттуда весёлые пузыри. Придуманно было здорово. Гораздо остроумнее, чем можно было ожидать от такой скучной благонаправленной девчонки. Но потом руки у Тайки будто подломились. Было слышно, как она стукнулась затылком о дно и опустилась ещё ниже, а её ноги судорожно заколотили по стенкам бочки. Похоже было, что Тайка действует уже не совсем понарошку. Сообразив это, я попытался вытащить сестру из воды. Однако сил для этого у меня не хватило, и с криком «Тайка балуется!» я бросился в дом.

Выбежав из кухни, мать выхватила дочку из воды и начала с отчаянным криком и причитаниями трясти её за ноги. Тайкино платье завернулось, её голова моталась из стороны в сторону, а изо рта она пускала теперь уже не пузыри, а воду. Но всё это было почему-то совсем не смешно. Даже когда прибежали соседи, принесли одеяло и стали подбрасывать на нём утопленницу. Потом кто-то ни за что ни про что начал бить девчонку ладонью по щекам, а она открыла глаза и заплакала.

Отец задержался на работе, и за ним побежали. Когда, задыхаясь от бега, он влетел на кухню, сестра плакала

уже по поводу ведёрка, утонувшего в бочке. А мать бросилась объяснять мужу, что если бы не я, то дочери у него уже не было бы.

Прощённый, накормленный и умиротворенный, но почти изнеможенный от тяжких переживаний минувшего дня, я вскоре лежал рядом с сестрой под нашим лоскутным одеялом. Тайка уже спала, но не спокойно, как обычно, а нервно икая и всхлипывая во сне. А я начал постигать смысл поговорки, которую не раз слышал от взрослых: не было бы счастья, да несчастье помогло. Оказывается, такое действительно иногда случается.

Вскоре созрели хлеба, и по бескрайним полям Экономии поползли конные жатки, помахивавшие красными зубчатыми крыльями-граблями. Они очень напоминали ветряные мельницы, поставленные на колеса. На току запыхтели, крутя тяжёлые молотилки, оба брезелевских паровика. Возле одного из них весь длинный-предлинный рабочий день уборочной страды дежурил отец, возле другого стоял Петрусь. Я сильно завидовал их помощникам-мальчишкам, по железному лотку запикивающим в жадные топки локомотивов обмолоченную солому, предварительно скручивая её в толстые жгуты. За это удовольствие мальчишки даже деньги получали и гордо называли себя кочегарами, хотя были всего лишь истопниками. За давлением в котлах следили дежурные машинисты.

Ближе к осени огромными ножами-секачами срубили кукурузу напротив нашего дома. От этого поле сразу стало голым, унылым и как будто уменьшилось в размерах. Совсем недалеко оказалось и кладбище, рядом с которым раскинулись крестьянские поля. Хлеба на них по сравнению с урожаями мужицких земель центральных русских областей были весьма неплохие, хотя и сильно уступали панским. Никаких жаток тут не было, урожай скашивали косами. Мать считала такой способ уборки хлеба расточительством. Только здешние богатые мужики могут позволить себе роскошь скашивать пшеницу, как траву, отчего из колосьев высыпается зерно. А вот у них на Псковщине рожь жнут серпами женщины, и ни одно зернышко при этом не пропадает!

– Это от вашей пскопской глупости, – усмехался отец. Он считал, что несколько горстей сбережённого зерна не

стоят затрат малопроизводительного и мучительного труда жниц.

- Тебе хорошо говорить, - вздыхала мать. - Ваши богомазы не беднее здешних хохлов...

«Богомазами» она называла владимирских, богатых, по её мнению, потому что у них, кроме иконописного, было много отхожих промыслов. Поэтому лишний четверик зерна не имел-де для них особого значения. Впрочем, и владимирские большую часть урожая убирали тогда ещё серпами. Особенно рожь.

Потом скошенные поля распахали. От этого окрестности сделались сплошь черными, и различить по внешнему виду, где мужицкие, а где помещичьи земли можно было только по тому, что одни уголья были слиты в громадные массивы, а другие исчерчены бороздками межей. Но в них были заложены и разные возможности по части будущего урожая уже из-за одной только разницы в глубине вспашки. У Брезелей, особенно на полях под посевы сахарной свеклы, в тяжёлые плуги впрягали до трёх пар волов. На крестьянских полях небольшие плужки тащили большей частью лошади, а волов, да и то не больше одной пары, имели только мужики побогаче. Были, впрочем, в Брезелихе и очень богатые крестьяне-куркули, как их тут называли. Но те большей частью хозяйствовали на хуторах.

Над полями, кружась и горланя, слетались огромные стаи грачей и галок. Всё чаще шли дожди, и возможности для мальчишеских игр с каждым днём сокращались. В канавах скапливалась вода, бурьян в них пожелтел и пожух. Дольше всех топорщились головки будяка, как называли здесь репей, но и они вскоре стали превращаться в комки грязно-серого пуха. Уменьшению нашей активности по части всяких игр способствовало также и то, что ребята постарше посещали теперь школу - и им стало некогда. Пошёл в первый класс и младший брат Санька - Гришак.

Зато еще больше обострилось любопытство ко всему на свете нашей стаи дошколят. Когда не было очень уж сильного ненастья, мы являлись постоянными, хотя и непрошеными, участниками всех сколько-нибудь интересных событий. А их случалось не так уж мало. На площадке возле конюшни красавец-жеребец, содержавшийся в особых условиях, «крыл» скромных рабочих кобылок; в

трубе у шорника загорелась сажа; на высоченном столбе напротив конторы повесили спиртокалильный фонарь, что было крупным нововведением. Заведовал фонарём сам дворецкий. Крутя ручку маленькой лебедки, он спускал фонарь на тоненьком тросике вниз, заправлял его денатурированным спиртом, зажигал и снова поднимал наверх. Говорили, что за ночь фонарь сжирает чуть не полведра денатурата. Зато он светил так ярко, что ночью был виден за много вёрст. А спирта паны не жалели. Недалеке за селом у них был собственный винокурный завод, где спирт гнали из картошки. Хитрый фонарь напоминал мне по виду дуговые фонари на Невском, только те гудели, а этот шипел.

Однако любопытство – страсть не всегда безопасная. В этом, уже в те годы, я неоднократно убеждался как на собственном горьком опыте, так и на примере других.

После обмолота урожая с тока в машинные сараи увозили паровые локомобили. Для этого в тяжёлые и громоздкие машины впрягали обычно по восемь-десять пар волов. Рядом с каждой парой шёл ее «погоныч» – хлопец с длинным кнутом. Погонщики оглушительно щёлкали кнутами и ненатурально свирепыми голосами кричали на волов: «геи, гей» и «цоб-цобе». Но волы на весь этот шум почти не реагировали. С туповато-задумчивым выражением в больших кротких глазах они тащили локомобиль со скоростью похоронной процессии самого высокого разряда. Широкие ободья железных колес паровика, таких высоких, что до их ступиц я едва дотягивался головой, поворачивались немногим быстрее часовой стрелки.

И всё-таки под одно из этих колёс умудрился попасть ногой табельщик Стёпка. Тот самый, которому так не повезло при попытке достать для нас спички. Говорили, что Стёпка вообще невезучий хлопец. Но дело, вероятно, заключалось не в фаталистическом понятии невезения, а в неуёмной Стёпкиной любознательности. Это она руководила им в его хождениях к линии горизонта и в попытках узнать, что будет, если у только что растопленной печи закрыть трубу. Стёпке часто влетало от родителей, но еще чаще он сам попадал во всевозможные беды. Так случилось и теперь. Незамеченный никем Стёпка забрался под брюхо парового котла и занялся там какими-то исследованиями. Когда же одно из задних колес накатилось

ему на пальцы босой ноги, из-под локобиля донеслось такое тонкое и громкое «ой-ой-ой!», каким оно не было даже тогда, когда в Стёпкина палец впились зубами щука, выловленная его отцом в недалеком озере.

– Стой! – испуганно крикнул Петрусь, который был ответственным за перевозку локобиблей.

– Стой, стой! Тпру... – покатилоь вдоль длинной вереницы воловьих пар.

Команда остановиться, хотя и то не всегда, была одной из немногих, которой рогатые флегматики не оказывали обычного пассивного, но упрямого сопротивления. Они остановились, когда страшное колесо наехало только ещё на три пальца Стёпкиной ноги. Пострадавшему от этого легче не стало. Начался гвалт и бестолковая суета.

– Сдавай назад! – кричали некоторые из сбежавшихся со всех сторон советчиков. Это было совершенно вздорное предложение. Во-первых, воли тянули паровик не за дышло, а за разветвлённый канат, а во-вторых, не такая это животиная, которую можно заставить пятиться.

– Вагу надо найти да поднять машину! – суетились другие.

Им резонно возражали:

– Где ж ты такую вагу найдешь? В паровике-то с тыщу пудов, наверно...

А бедный Стёпка продолжал выкрикивать свое «ой-ой-ой!», вцепившись в одну из спиц колеса, но уже не так громко и часто, как вначале. Прибежала простоволосая, в чём была, Явдоха, Стёпкина мать, молодая дебелая и шумливая баба. У неё с Трофимом, тоже молодым мужиком, кроме дотошного и незадачливого Стёпки, была ещё грудная дочь. Явдоха нырнула под локобиль, обхватила руками скорчившегося возле колеса сынишку и запримечала над ним, как над покойником:

– Дытыночка ж ты моя! Та що ж з тобою роблять катюги проклятые!

«Катюги» озадаченно скребли кудлатые затылки, сдвинув на самые глаза высокие шапки и решительно не знали, что им предпринять. Ойканье мальчика становилось всё тише, а крики его матери все громче.

– Сомлеват хлопчик! – жалостливо сказала какая-то женщина.

Тут старший погонныч, седоусый дед Панас, хлопнул себя по чоботу кнутовищем и закричал:

- А и справди закатуем хлопца! Уперед волов гнать надо, от що!

- Верно дед говорит, - обрадовались какому ни есть решению остальные погонщики, - вперёд тащить надо чёртов паровик...

- Гей, цоб-цобе! - опять понеслось вдоль упряжки.

Но тут Стёпина мать заголосила совсем уж отчаянно:

- Стойте, пройдисвиты чортови, тряся вам в пичинку, шоб вас на тим свити горшком стукнуло!

Ухватившись за спицы одного из колёс, она уперлась ногами в землю, намереваясь оказать сопротивление двум десяткам волов.

- Совсем сдурела баба, - не на шутку рассердился дед Панас. - Не слухай её хлопцы, гони! - Он замахнулся кнутом на переднюю пару волов, но тут подлетевшая к деду Явдоха вырвала у него кнут:

- Не смейте!

Растрёпанная, с перекошенным лицом, она набросилась с кнутом на хлопцев-погоннычей, и те бросились врассыпную.

Неизвестно, чем бы кончилась эта грустная история, если бы к месту происшествия не прибежал с лопатой в руке мой отец. Только он один догадался подкопать землю под придавленной ногой Стёпы и в одну минуту освободить ее из-под колеса. Я был восхищен его находчивостью и проникся к нему ещё большим уважением. Но дело было не столько в догадке, сколько в опыте. Так солдаты на войне спасают иногда товарища, придавленного опрокинувшимся орудием или гружёной повозкой. А мальчонку, и в самом деле сомлевшего, отвезли в сельскую амбулаторию, где фельдшер сделал ему перевязку. Благодаря тому, что дорога была немощеной и еще влажной от недавнего дождя, Стёпа отделался не слишком тяжёлым повреждением двух пальцев на левой ноге и скоро выздоровел. Мать комментировала это событие поговоркой: «Где умного чёрт несет, там дурак сам наскочит». Она имела в виду не столько Стёпину, сколько мальчишескую глупость вообще. Да и не только мальчишескую. Вряд ли чёрт был особенно виноват и в несчастье,

приключившемся уже со мной и едва не стоившем мне жизни.

За счёт куска нашего огорода, несмотря на ворчание и протесты матери, отец устроил нам великолепные качели. Чтобы ими могли пользоваться одновременно побольше детей, доску-сиденье он сделал размером с небольшую столешницу. Стоя на ней, умещалось до шести-семи ребятшек дошкольного возраста.

Это открывало широкий простор для весёлых выдумок. Самая же весёлая заключалась в том, чтобы, раскачав качели до предела, враз остановить их при помощи палки, которую кто-нибудь втыкал нижним концом в землю. Доска при этом становилась «на попа», а верёвки качели перекручивались, смешно кого-нибудь ущемляя. А ещё кто-нибудь под общий смех товарищей и совсем сваливался на землю. В качестве палки для торможения разлетевшейся доски с её немалым грузом мы не нашли ничего лучшего, как старое кленовое граблевище. Так как его острый конец уходил в землю слишком глубоко, то в неё упирались рогатиной, держа граблевище остриём кверху. Конечно, надо было смотреть в оба, чтобы при опускании качели оно не воткнулось кому-нибудь в живот. Обычно, как хозяин этого аттракциона и его изобретатель, я орудовал тормозом сам. И, как следовало ожидать, однажды в азарте игры забыл отвести острый конец палки в сторону. С размаху он вонзился мне в правую сторону живота.

Боль была сильной. Но, пожалуй, не больше, чем при неожиданном ударе кулаком «под вздох», только острее. Сначала я не понял, что, собственно, произошло, и соскочил с доски. И только тут заметил, что конец граблевища находится где-то внутри меня, его рогатина торчит спереди, а вниз по ногам стекает что-то тёплое. Согнувшись и поддерживая торчащую из живота длинную палку в горизонтальном положении, я поковылял к крыльцу. И возможно даже, что добрался бы до него, если бы не мать. Она как раз вышла из дома мне навстречу с ведром в руках. Отчаянно вскрикнув, мать упала на крыльце, загремев ведрами. А я остановился и, постояв так несколько секунд, тихонько свалился набок.

Как везли меня до больницы нашего уездного городка 3-ва, до которого было вёрст пятнадцать, я не помню.

Но смутное воспоминание о запахе хлороформа, яркой керосиновой лампе под потолком и золотых очках бородастого доктора в белом халате у меня сохранилось.

Затем потянулось бесконечное тягостное забытье, среди которого в памяти всплывают только отдельные тусклые впечатления. Унылая, казённого вида палата с такими же казёнными большими окнами, серыми одеялами на железных койках и тусклой лампой, подвешенной на цепочках на самой середине квадратного потолка. Помню ещё поникшую фигуру матери, сидящую на табуретке у моего изголовья. А над ним прилепленную к перекладине коечной спинки такую же поникшую зажжённую свечечку. Это значит, что я «отходил», и доктор, считавший моё положение почти безнадежным, разрешил матери присутствовать при моей кончине. Спустя много лет я понял, что вошёл в ничтожный процент заболевших воспалением брюшины, которые умудрились не умереть от него без всяких антибиотиков.

Постепенно впечатления от больницы становятся более отчётливыми и уже не такими тягостными. Среди них появляется длинная полосатая дорожка на полу больничного коридора, громадная икона Пантелеймона Целителя в том же коридоре с лампадой перед ней, лица двух докторов: доброго «главного» в пенсне и сердитого, хотя и не такого главного.

Страшноватой поначалу казалась мне и фельдшерница – женщина громадного роста с зычным голосом и руками, сильными, как у мужика. Но самую большую и добрую память о себе оставил у меня мой сосед по больничной койке мальчик Миша. Других больных в своей палате я не помню. Они появлялись и исчезали, пролежав какие-нибудь две-три недели. А Миша лежал долго, даже дольше, чем я. Он был здешний, городской, и в больницу попал с осложненным переломом бедра. Гонял голубей на крыше высокого сарая и свалился оттуда прямо на обух колуна, воткнутого в чурбан для колки дров. Миша был очень общителен, сильно скучал среди взрослых больных и искренне обрадовался, когда я начал приходить в себя. Наше знакомство началось с моего вопроса – зачем у него на одной ноге такая чудная штанина из белой глины? Мальчик объяснил мне, что это не штанина, а какой-то гипс. И налепили ему этот гипс потому, что у него самый



тяжёлый перелом, который только случалось лечить нашему доктору. В тоне соседа мне слышалось хвастовство, и я сказал, что любой перелом пустяк по сравнению с тем, когда человек чуть не насквозь протыкает себе брюхо палкой. К моему удивлению Миша с этим согласился, и я почувствовал к нему симпатию. Он учился уже во втором классе начальной школы и держал под подушкой хрестоматию, выданную ему в начале учебного года. Чтобы похвастаться своей грамотностью и развлечь меня, Миша читал из неё по складам рассказы и стихи. Я тоже брал книжку в руки и рассматривал в ней картинки. Из букв я знал тогда только две: «х» и «в», которые выучил по пасхальной открытке, наклеенной мамой на внутреннюю сторону крышки нашего сундука. Затейливо нарисованные, они означали «Христос воскрес». Я выискивал эти буквы в строчках хрестоматии и обрадованно, как и полагается, когда встречаешь старых знакомых, говорил: «Это хы». Или: «А это вы!»

Миша нашёл, что у меня недюжинные способности к грамоте, и взялся обучить всей азбуке. Он попросил часто навещавшую его мать, толстую красивую женщину, торговавшую на здешнем базаре бубликами, принести ему прошлогодний букварь. По этому букварю я скоро выучил все буквы, а механизм составления из них слогов и целых слов меня прямо-таки восхитил. За то, что я, хотя и по складам, мог прочесть уже название Мишиной хрестоматии «Божий мир», даже главный доктор погладил меня по голове и сказал, что если дело и дальше пойдёт так же успешно, то из меня выйдет второй Ломоносов. Кто такой Ломоносов я, конечно, не знал и спросил об этом у Миши. Тот ответил, что тоже не знает, но высказал догадку, что это, вероятно, кто-нибудь из прежних больных доктора, угодивший сюда со сломанным носом. От хорошей жизни с докторами никто знакомства не водит.

По базарным дням, когда в 3-ов приезжали мужики из Брезелихи, ко мне довольно часто наведывалась мать. От приключившейся со мной беды она сильно осунулась и даже как будто постарела. А вот живот её с каждой неделей становился всё больше. Это стало заметно уже с начала осени. Мать стала двигаться медленнее, чем прежде, и ходить как-то вразвалку. Теперь она приезжала ко мне одетая в широкую кофту, но всё равно было видно, как

под этой кофтой у неё выпячивается живот. Ещё по Малой Охте я знал, что такие животы, по крайней мере у женщин с нашего двора, означают скорое появление в их семействе очередного пополнения. Садясь возле меня на табуретку, мать складывала руки на животе и как-то необычно уходила в себя, вроде бы к чему-то прислушиваясь. Даже моё становившееся всё более быстрым выздоровление она воспринимала, по-видимому, уже не как главное событие её нынешней жизни. А у меня уже сняли толстый шов, и доктор не только разрешил мне расхаживать по палате и коридору, но даже обязал фельдшерницу ежедневно выводить меня в больничныи садик, в котором стояли давно уже голые и белые от снега деревья.

А однажды в нашу палату фельдшерница явилась в сопровождении моего отца. Раза два он приезжал ко мне и прежде, но только очень ненадолго, так как помещик отпускал его из Экономии неохотно. Я отцу страшно обрадовался, тем более что он, как оказалось, приехал меня из больницы забирать. Это подтвердила и фельдшерница, сказавшая, что выдаст мне сейчас мою одежду и я поеду домой. Радость от этого события мне омрачала только необходимость покинуть в унылой палате со взрослыми неинтересными дядями бедного Мишу. Он подарил мне на память свой букварь и чуть не заплакал при расставании, хотя отец сбегал куда-то и принёс ему целый кулек сладких рожков.

Перед воротами больницы нас ожидал в тарантасе конторщик Степан Гаврилович. Он приезжал в город по делам Экономии, привёз отца и согласился захватить на обратном пути меня. Порученные ему дела Степан Гаврилович уже завершил, и мы направилась к выезду из города. Но по дороге остановились перед домом с вывеской, на которой я уже смог, хотя и не без труда, прочесть давно знакомое слово «Пивная».

По сравнению с пивной на Охте здешняя пивнушка оказалась совсем маленькой и неинтересной. В ней не было ни кирпичных сводов, ни механического органа с тоже механическим усатым дирижером, помахивавшим палочкой в глубине небольшой ниши. Совсем другой и малоинтересной была тут публика – мужики с базара да несколько мещан в длиннополых сюртуках. Ни тебе раз-

вязно-веселых или горько плачущих пьяненьких мастеровых, ни жилистых ломовиков с их мурцовкой.

Подошедшему еврею-трактирщику отец заказал пива и раков, а для меня – бутылку лимонада с цветастой наклейкой.

– Что это у тебя за книжка? – спросил Степан Гаврилович, заметив букварь, который я держал под мышкой. Я показал ему Мишин подарок. – Значат, грамоте решил учиться, – сказал конторщик, взглянув на букварь, – а не рано ли тебе еще?

– А я уже весь букварь знаю! – похвастался я.

– Так-то и знаешь? – недоверчиво усмехнулся конторщик. – А ну, скажи, какая это буква? – И он приставил палец к первой букве на пивной этикетке.

– Пы! – ответил я сразу, так как давно уже прочёл всё слово.

– А ещё какие буквы ты знаешь?

Я затараторил:

– А, бы, вы, гы...

– Здорово! – похвалил Степан Гаврилович. – А слога ты умеешь составлять?

Я тут же составил даже целое слово: «пи-во», и сказал, что над дверью снаружи написано «пив-на-я».

Он был восхищен:

– Да ты, Димка, настоящий грамотей! Приходи ко мне книжки читать, у меня их много... – И конторщик, уже обращаясь к отцу, сказал: – Любил я в молодости книжками побаловаться. Про рыцарей там, да про сыщиков... А батька заставлял меня читать про святых. Тоже, правда, интересно, но не так...

Отцу явно польстила похвала в мой адрес такого образованного человека, как Степан Гаврилович. Он был сыном сельского дьячка, и только из-за болезни не смог закончить семинарию, в которой проучился до шестого класса. Правда, наш конторщик нигде, кроме 3-ва да пару раз Полтавы, никогда не бывал и до конца жизни остался дремучим провинциалом.

Выпив пиво и лимонад, мы весело покатали домой. Глядя на улицу и дома на них, я удивлялся, по какому праву всё это называется городом? Город – это когда мощеные улицы, многоэтажные дома, трамваи и конки. А здесь из кирпича были построены только несколько не-

казистых двухэтажных домов в самом центре да часть некрасивых торговых рядов на базарной площади. В целом же 3-ов состоял из почти таких же хат под соломой, как и в нашей Брезелихе. Стоящими внимания сооружениями мне показались только затейливый собор в конце главной улицы да четырёхэтажная паровая мельница, возвышающаяся на окраине. Фамилию её владельца – Крестовоздвиженский – Степан Гаврилович несколько раз уважительно упоминал в разговоре с отцом. Самый крупный из здешних купцов, он был одним из главных покупателей брезелевской пшеницы.

Дома меня с радостным криком и визгом встретила Тайка, чего от неё, говоря по правде, я даже не ожидал. Мать, тяжело поднявшись с табуретки, обняла меня и заплакала от радости. Широко улыбалась и тянулась ко мне пухлыми ручонками начавшая уже ходить Поля. Хорошо вернуться домой после долгого отсутствия и чувствовать себя героем дня.

Это ощущение сохранялось довольно долго. Ребята, навещавшие меня с разрешения матери, относились ко мне с почтением. Шутка ли! Кому ещё пропороло живот палкой, кого потрошили ножами страшные доктора и кто ещё пролежал на больничной койке без малого три месяца? Расспросам не было конца. Очень ли мне было больно при операции? Острые ли у доктора ножи и каких они размеров? Правда ли, что в животе у меня вырезали целый аршин какой-то кишки? Сначала я отвечал всё правильно, честно отрицая преувеличения. Но скоро вошёл во вкус своей исключительности и начал безбожно привирать. Впрочем, кажется, и сам уже верил, что видел своими глазами, как свирепый доктор огромным кривым ножом взрезал мне живот и как при этом я мужественно не плакал. А на место удаленной кишки он вставил мне резиновую, наподобие той, которая идёт от пожарной машины, только чуть покороче и тоньше. А в больнице я нисколько не боялся докторов, даже самого главного, от грозного рыка которого под кровати прятались все взрослые больные.

Бегать мне ещё не разрешалось, но выходить на улицу было даже предписано. Гуляя, я часто заходил в квартиру Степана Гавриловича, действительно разрешившего мне просматривать его книги. Правда, я мог

пока прочитать только их названия, большей частью для меня ещё непонятные, да разглядывать картинки, если они были. А книжки, что я по-настоящему понял только когда все они развеялись прахом, были тут исключительно интересные и характерные для чтива простонародного грамотея тех времен. Кроме многочисленных «житий» в библиотеке соседа находились рыцарские романы лубочного издания, вроде повести о неустрашимом Гуаке, сборники народных украинских анекдотов под названием «Смийся-регочись, да за боки берись», любовный письмовник, дававший готовые тексты признаний в любви к дамам всех состояний, возрастов и сословий, поповские рассказы о нарушителях церковных предписаний, понесших за это кару от самого Бога, известная уже мне книга старца Мартына и множество других. Я очень хотел прочесть эти книги и вскоре действительно прочёл их почти все. Но предварительно надо было усвоить ещё науку чтения по букварю. Занятия с книжкой казались мне увлекательной игрой, интерес к которой усиливало ещё восхищение окружающих моими успехами в чтении. Даже мать, которая прежде относилась ко всему, чем я увлекался, с довольно большой долей сомнения, умиленно слушала теперь, как я читаю свой букварь. По старой привычке я делал это стоя на коленях перед табуретом с положенной на него книжкой. В отличие от гоголевского Петрушки период восхищения одним только процессом составления из букв слов прошёл у меня довольно быстро. Теперь мне всё больше нравилось рождение из этих мёртвых знаков живого смысла, заключенного в их комбинациях, при этом я всегда пытался его конкретизировать. Прочтя, например, фразу о пахаре, который «пашет поле», я спрашивал у матери, не наше ли поле тут имеется в виду? «Нашим полем» я называл тот участок помещицкой земли перед окнами кухни, который засевали кукурузой.

– Это про всякое поле сказано, – отвечала мать, ласково вороша мои жёсткие волосы с намечающимися вихрами. – Поле без пахаря, оно и не поле вовсе. – Её выпяченный живот касался моего плеча. – Учись, сынок, может, хоть ты у нас образованным будешь.

Она подавляла вздох, вызванный не то мечтой о моей образованности, не то сожалением о собственной

неграмотности и темноте. И мать отходила, тяжело колыхая своим животом.

Слух о моих якобы чрезвычайных успехах в грамоте дошёл даже до молодой барыни Веры Николаевны, жены Брезеля-младшего. У них с Петром Сергеевичем был единственный сын, который учился уже в кадетском корпусе в Киеве. Она подарила мне через моего отца несколько дошкольных книжек барчука, по-здешнему «паныча». Первой из них была сказка про кота, козла и барана, напечатанная чётким крупным шрифтом и украшенная яркими картинками. Главным персонажем этой сказки был кот, воришка и плут, из-за проделок которого вся троица должна была бежать с родного двора. Но тот же хитрый и продувной кот впоследствии выручал своих туповатых товарищей из множества бед, пока все трое благополучно не вернулись домой.

Забавные похождения персонажей сказок сразу же меня захватили. Однако нетерпеливое желание узнать, что будет с ними дальше, наталкивалось на досадную медлительность кропотливой работы по составлению слов. Это походило на попытку быстро бежать по вязкой размокшей почве. Техника чтения поначалу поглощала почти всю мою умственную энергию, и осмыслить прочитанное в целом я сразу не мог. Но прочтя книжку несколько раз подряд, я в конце концов не только до тонкости понял содержание сказки, но и заучил её наизусть. Теперь я водил пальцем по строчкам только для вида, бойко тарыхтя текст по памяти. Это производило впечатление беглого чтения, и за мной утвердилась слава вундеркинда, который «так и режет по-печатному». Много людей заходило к нам специально для того, чтобы послушать моё чтение. Особенно удивлялись и умилялись ему женщины. «Мой-то, – вздыхала иная, – уже третий год в классы ходить, а куды ему до Димки...» Мать, это я отчетливо замечал, была очень польщена такими похвалами её сыну, а я надувался от гордости, почти не сознавая своего жульничества.

Однако тщеславие бывает иногда и неплохим помощником. Вскоре каждую из присланных мне Верой Николаевной книжек я одолевал за какой-нибудь день или два. Потом нередко я начал брать отнюдь не детские книжки у конторщика и, подзуживаемый похвала-

ми старших: «Димка-то ещё одну книгу прочел, толстую такую. Да напечатано-то как мелко!» – действительно прочитывал их. Никакой непедагогичности в подобном чтении никто вокруг не замечал. Раз книга напечатана, значит, читать её может всякий, кто, конечно, умеет. Некоторое неудобство моего чтения для окружающих заключалось только в том, что теперь я ещё чаще стал приставать к ним с вопросами. Они касались, главным образом, смысла вычитанных в книжках и абсолютно непонятных для меня слов из монашеского, рыцарского, донжуанского, ворожбитского и прочих неведомых мне доселе обиходов.

– Язычник, – спрашивал я, например, – это тот, у кого большой язык?

Или:

– «Милостивый государь» – это, наверно, добрый рыцарь, который всех милует? Да?

Далеко не всегда удавалось получать толковые ответы и объяснения. Значения некоторых слов не знали даже взрослые. Случалось, что они путали понятия, то честно ошибаясь, то не желая сознаться в собственном невежестве и нередко ещё больше сбивая меня с толку. Например, табельщик Трофим на мой вопрос, что такое гороскоп, ответил, что это такая труба, через которую учёные люди смотрят на звёзды. А то, что она составная, я догадался уже сам. Иначе зачем бы в книжке писалось о составлении гороскопа? Однако сколько-нибудь удовлетворительно увязать полученное объяснение с содержанием прочитанной повести о некоем великом астрологе мне так и не удалось. Её главный персонаж только тем и занимался, что составлял свои трубы неизвестно из чего и каким образом.

Просил я также объяснений по поводу такого поведения некоторых героев из прочитанных книг, которое представлялось мне совершенно нелепым. Например, за каким чёртом Симеон Столпник, как дурак, простоял на своём столбе целых восемь лет? Я пробовал повторить его опыт и однажды взобрался на вершину высокой тумбы, к которой привязывали лошадей. Но терпения простоять так у меня хватило всего на несколько минут. Ничего хорошего в этом занятии не было.

А неустрашимый рыцарь Гуак, победив однажды на турнире другого рыцаря и обнаружив при оказании ему первой медицинской помощи, что тот – женщина, не только не рассердился на девчонку за её грубый обман, но и начал бегать за ней на задних лапках, совершая по прихоти этой обманщицы всевозможные храбрые глупости.

Однажды всё из того же брезелевского дома отец принёс мне прописи. И сказал, что по-настоящему грамотный человек должен уметь не только читать, но и писать. Я, конечно, с этим согласился и начал с его помощью учиться письму. Но к методике обучения каллиграфии оба мы относились с полным пренебрежением. И начали прямо с букв, минуя все эти неинтересные палочки и крючки. Причём я копировал их в тетрадку с прямыми линиями. Вскоре повторное выведение отдельных букв тоже показалось мне делом почти механическим, а следовательно, и довольно нудным. Поэтому, кое-как освоив их начертание, я постарался поскорее перейти к написанию слов и целых фраз. Вот в этом было уже что-то колдовское. В самом деле, один грамотный человек может при помощи совершенно немых букв передать другому грамотному человеку какую угодно сложную мысль! Занятие же всяким колдовством – дело неизменно увлекательное. Скоро из-под моего пера – карандаш уже был пройденным этапом – на бумагу начали выкатываться целые стада уродливых знаков, не ведающих ни строя, ни порядка, ни дисциплины. Каракули то налезали друг на друга, напоминая вагоны столкнувшихся поездов, то разбредались врозь. Концы строк оказывались для них всегда неожиданными, как недавно построенный забор для слепых. Поэтому буквы или громоздились тут, образуя целые пирамиды, или сваливались под строчку, как в яму, в панике хватая друг друга за ноги. И всё же написанное мной можно было кое-как разобрать. Мать с гордостью показывала мои упражнения в письме своим гостям. Те рассматривали их с неизменным восхищением, хотя нередко держали тетрадку вверх ногами. Некоторые с доброй завистью вздыхали и пророчили мне блестящую карьеру. Женщины слышали, что особо одарённых мальчиков иногда принимают бесплатно в гимназию и они потом становятся чиновниками или землемерами. Мать тоже вздыхала: «Дай-то Бог...»



Впоследствии я справился почти со всеми недостатками сумбурного начала своего образования, но только не с привычкой писать некрасиво и неразборчиво. Она преследует меня всю жизнь, доставляя массу неприятностей как мне самому, так ещё больше тем, кто вынужден разбирать мною написанное. Только полный переход на машинопись несколько ослабил для меня и этих людей бедствия моего дурного почерка. Но и теперь я все ещё завижусь тем, кто пишет аккуратно и чётко.

Чтение книжек для взрослых и обучение письму относятся уже к весеннему времени последнего предвоенного года. А почти в самом его начале, вскоре после моего возвращения из больницы, в нашей семье произошло событие давно ожидаемое, но оказавшееся, тем не менее, каким-то вроде бы неожиданным.

Однажды поздно ночью, не заботясь о том, проснёмся мы или нет, отец торопливо перенёс меня и Тайку с нашего сундука на печь в кухне. Этой печью мы обычно не пользовались. Поэтому на ней хранился всякий хлам, который отец как попало сбросил на пол. Затем он выкатил на кухню колясочку со спавшей Полей. Здесь уже хозяйничала какая-то незнакомая старуха, растапливавшая печь и ставившая к огню чугуны с водой. На кровати в комнате громко стонала мать. Затем стоны перешли в сдавленные крики, внезапно оборвавшиеся и сменившиеся совсем другим криком. Уже не маминым и даже не очень громким, но раздражённым, требовательным и настойчивым.

От непривычной жары на печке, от всей этой суеты и беспокойства за мать ни я, ни сестра уснуть, конечно, не могли. Плач новорожденного в комнате то затихал, то взрывался с новой силой, сопровождаемый бормотанием повитухи и слабым голосом матери. Она, слава Богу, осталась жива. Вскоре бабка вынесла из комнаты и показала нам нашего нового братца. Так она отрекомендовала нам белый продолговатый туго свернутый пакетик, который держала в руках. Из верхнего конца свёртка торчала круглая лысая голова, по форме напоминавшая перезревший помидор, а по цвету – морковь. Снизу из пелёнок торчали такого же цвета две крохотные ступни. Повитуха так и этак вертела свёрток перед печью, с которой мы тара-

щили глаза на новоявленного братца, и расхваливала его с усердием торговца, сбывающего залежавшийся товар:

- Во, какой богатырь! Во, какой красавец!

А богатырь и красавец противно орал, морща нос-пуговку и чуть не до ушей растягивая беззубый рот. Нам он, по правде говоря, не слишком-то понравился.

Крестить новорожденного в сельскую церковь носили наши соседи - Степан Гаврилович и его жена Горпина Тарасовна, которые после этого стали называться нашими кумом и кумой. С ними пошли только отец и я с Тайкой - мать лежала ещё в постели. Кроме нашей маленькой кучки в церкви никого больше не было. Поэтому в ней гулко раздавались возгласы священника и плач младенца, особенно громкий, когда его окунули в купель - блестящий медный таз на толстой ножке, наполненный водой.

- Крещается раб божий Сергей, - провозгласил наш батюшка отец Григорий, а новоявленный «раб божий» отвечал ему пронзительным «уа-уа». Вода, кажется, была довольно холодной.

Когда мать поднялась с постели, Серёжку поместили на жительство в Полину колясочку, принявшую уже четвертого по счёту своего обитателя. Полю же переселили в кровать к родителям. Она теперь бодро топала и произносила довольно много слов, по-прежнему улыбаясь во весь рот, который уже нельзя было назвать совсем беззубым.

Когда вблизи не было взрослых, мы с сестрой вели иногда разговоры о тайне появления на свет Серёжки и вообще детей. Взрослые в широком непроницаемом створе строго хранили от нас эту тайну, отчего интерес к ней многократно усиливался. Правда, никакой чепухи про аистов и капустные листья в нашей семье не рассказывали. И даже не пытались скрывать, что рождение детей как-то связано с беременностью их матерей. Мать, когда носила Сережку, однажды даже сказала нам, что в животе у неё сидит наш будущий братик или сестричка. Впрочем, это было и так совершенно очевидно, так как после рождения детей у женщин тут же опадали животы. Выходило, что и мы сидели в материнском чреве. Я даже пытался представить в своём воображении этот период своей жизни. В животе у мамы было, наверно, очень тепло и довольно уютно. Зато, несомненно, очень темно и нестерпимо скучно, как при сидении в наглухо завязан-

ном мешке. Конечно, только по своей крайней глупости ещё неродившиеся несмышлёныши безропотно терпят такие условия. Все они, однако, в конце концов как-то выбираются оттуда, хотя и не ясно, как именно. Ещё труднее было ответить на вопрос, как младенцы попадают в материнскую утробу. Ко всему этому имеют какое-то отношение их отцы. Но тут стена сговора взрослых о невыдаче этого секрета становилась особенно глухой.

Правда, было известно, что для того, чтобы у женщины появились дети, она непременно должна обвенчаться в церкви с мужчиной, своим женихом и будущим мужем. Тогда из невесты она превращается в его жену и становится способной рожать детей. Но мы никак не могли связать появление этой способности с ритуалом венчания.

– Может, дети оттого бывают, – предположила как-то Тайка, – что батюшка пускает на невесту с женихом дым из круглой коробочки и что-то поет?

Как всегда, она говорила глупости и на этот раз. Мало ли по каким поводам кадят и поют в церкви, но не бывает же от этого детей! Скорее их появление, полагал я, как-то связано с держанием над головами жениха и невесты золотых венцов. Этого не делается ни при каких других церковных обрядах.

– А почему тогда у нас нет детей? – возражала Тайка. – Мы ведь тоже с тобой венчались...

Меня злила Тайкина глупость. Ну какие там дети могут быть от кастрюли и уполовника?

Мы с ней решили было сыграть в обряд крещения ребенка. Однако не смогли договориться по вопросу, какая из Тайкиных кукол будет изображать новорожденного. Сестра настаивала на кандидатуре Димки – его всё равно не жалко. Я же считал, что Димка не годится – разве младенцы рождаются с одной ногой? И предлагал Соньку или какую-нибудь из матрёшек. Тайке было жалко Соньку – ещё раскиснет при окунании в воду! А что касается матрёшек, то здесь она побила меня моим же оружием: если младенцев не бывает без одной ноги, то тем более их не может быть без двух. Игра в крещение так и не состоялась.

Из других событий этой зимы я лучше всего запомнил те, которые относились к праздникам. На Рождество к нам в квартиру ввалилась большая ватага «христославов», ходивших по хатам со «звездой» на палке и огром-

ным мешком для сбора подношений. Сгрудившись на пороге кухни вокруг полотняного транспаранта с намалёванным на нём «сиянием» и зажжённой внутри свечкой, христославы очень громко не то пели, не то выкрикивали славославие младенцу Христу. Они были очень разными по возрасту и росту, от совсем ещё маленьких мальчиков до высоченных усатых парубков. Самый большой из них нёс наполовину уже заполненную торбу. У нас эта торба пополнилась жареной курицей и большим караваем белого хлеба. Так как подношения христославам было делом престижа, то на них не скупилась. В торбе были не только всевозможные пироги, жареные гуси и поросята, огромные кольца украинской домашней колбасы и прочей снеди, но даже бутылки с домашними наливками.

Немного позже мы с матерью, только что оправившейся от родов, ходили слушать крещенскую обедню. Богослужение в этот праздник проходило не в церкви, а на льду речки, в котором была устроена так называемая «иордань». На одной стороне большой, очищенной от снега площадки холодно темнела аккуратная прямоугольная прорубь, изображавшая символическую купель. В её зеленоватой воде отражался высокий, в два человеческих роста красивый крест изо льда. Он был обязательной для греко-католической церкви восьмиконечной формы с тройными полукружьями на концах перекладин. На передней стороне креста его контур, в несколько уменьшенном виде, повторялся тонкой ледяной накладкой приятного пунцового цвета. Это достигалось подкрашиванием льда свекольным квасом.

Священник служил перед аналоем, тоже вырубленным изо льда и украшенным орнаментом из того же замороженного кваса.

Мороз в тот день выдался как по заказу – настоящий, крещенский. Все пришли к обедне в валенках, шубах и овчинных кожах. По время богослужения мужчины были обязаны стоять без шапок, спасая уши поднятыми воротниками. Только немногие лысые и старики смешно повязали себе головы платками, завязанными на самой макушке забавным узлом, напоминавшим заячьи уши. Мне мать повязала голову своим платком совсем по-девчачьи, обернув длинные концы вокруг шеи. Я отчаян-

но протестовал, но она была неумолима. Либо так, либо на водосвятие она меня не возьмёт! Пришлось смириться.

На ледяном аналое лежало Евангелие, страшная книжища, закованная в переплёт с бронзовыми застёжками. Даже обрез у неё был позолочен. Мне было жаль батюшку, который перед тем как перевернуть очередную страницу, украдкой дул на покрасневшие пальцы, а потом прятал их за «епитрахиль» – широкую полосу золотой парчи, надетую поверх шубы. По-видимому, эта парча спасала батюшкины руки от мороза так же плохо, как его длинные, но редкие волосы – уши. Поэтому священник явно старался закончить службу как можно скорее и читал евангельский текст скороговоркой. Стоявшие тут же певчие отвечали на его возгласы сиплыми от мороза голосами и тоже торопливо «частили», по выражению матери. У сердитого хромого регента голова была повязана платком, как у деревенской старухи, а его козлиная борода смешно торчала вперед. Только когда священник подошёл к купели и обеими руками высоко поднял над ней золотой крест с распятием, хористы оживились, запели более внятно и даже с некоторым воодушевлением. Это был заключительный акт освящения воды, означавший, что скоро можно будет разбежаться по своим тёплым хатам. И только батюшка опустил свой крест, как мужик, стоявший сбоку проруби, сбросил с себя тулуп и валенки. Оказалось, что под ними он был совершенно голый. Перекрестившись правой рукой и держа левую ниже живота, как это делают при народе все голые, мужик бултыхнулся в прорубь. В публике раздалось непроизвольное мужское кряканье и женское аханье.

– Ой, лышенько! – закрестилась стоявшая с нами рядом молодка.

Мать тоже перекрестилась. А мне сделалось вдруг очень холодно, и стало немного теплее, только когда искупавшийся в святой воде прихожанин выскочил на лёд, где на него сразу же накинули тулуп и сунули в руки здоровенную чарку водки. Тут же подкатили ожидавшие в стороне сани в упряжке и умчали героя в село.

Обычай окунаться в иорданскую купель вовсе не был обязателен по каноническому церковному ритуалу. Это делалось вполне добровольно и вряд ли даже из подлинно религиозных побуждений. Скорее купание в ледяной

воде было проявлением демонстративного молодечества и стремления стать героем дня. Остальные участники крещенского моления ограничивались тем, что уносили некоторое количество святой воды с собой. К проруби потянулись женщины с бутылками, кувшинами и глечиками – горшочками с высокими горлышками. Мать набрала этой воды во флакон из-под одеколону «Букет моей бабушки». Яркая наклейка на флаконе изображала красавицу с голыми плечами, томно нюхающую цветы. Это было последнее из найденных на свалке сокровищ моей коллекции, разорённой жандармами при обыске нашей бывшей квартиры на Охте.

Вернувшись домой, мать побрызгала святой водой под образами, затем почему-то на печку и на Серёжку, спавшего в своей постели. Он был беспокойным ребенком, и только краткость сегодняшней службы позволила матери решиться оставить его на попечении отца, сидевшего по случаю праздника дома. Несколько капель воды попали на всё ещё красную Серёжину физиономию, он проснулся и сердито запищал. Мать торопливо сунула флакон с остатками воды за образа и бросилась укачивать ребёнка. По-видимому, она забыла об этом флаконе. Во всяком случае, спустя много месяцев, уже летом я был свидетелем такой сцены. Отец, искавший что-то за иконами, наткнулся рукой на флакон со святой водой, вынул из него стеклянную пробку, понюхал и поморщился. Потом он хитро ослабилась, зажал флакон в кулаке и понёс его к матери на кухню.

– Понюхай-ка!

Та нюхнула и плюнула в помойное ведро.

– Ты что за гадость мне под нос суёшь?

Тогда он разжал кулак. На её лице появилось выражение разочарования и обиды. Мать ведь всерьёз верила, что освящённая вода не загнивает. Трудно человеку расставаться с красивой иллюзией. И когда такие иллюзии умирают, то их не всегда просто отбрасывают в сторону, а хоронят иногда, как покойного друга. Это, наверное, и делала мать, когда выливала содержимое флакона не в помойное ведро, а на огородные грядки.

Весна в здешних местах была в те годы почти неизменно дружной и энергичной. Быстро стаивал обильный снег. Я с приятелями мальчишками строил ветряные и

водяные мельницы. Мы сооружали на ручейках гребли-плотины и устанавливали в их узких проходах самодельные подливные колёса. Ветряные вертушки мы поднимали на высоких жердях выше крыш, где было выгоднее ветру. Кое-кто из наших умельцев делал ветряки с поворотным устройствам, вроде флюгера. Такой ветряк сам устанавливался точно по ветру, да ещё показывал его направление. Были у нас также ветряные вертушки с трещотками. По частоте их треска можно было судить о силе ветра, даже не выходя на улицу. Мне пришла в голову мысль заменить деревянную трещотку музыкальным валиком из сломанного мною будильника. Его останки тоже были привезены сюда среди всякого другого хлама.

Коллективными усилиями ветряк с музыкой был построен. Но торжественного «Коль славен» не получилось. При слабом ветре устройство молчало, так как гребёнка металлических «голосов» с колышками оказывала вращению вала значительное сопротивление. При сильном ветре оно начинало крутиться слишком быстро, издавая забавное торопливое треньканье. Впрочем, мы решили, что так даже интереснее.

Но самый главный интерес у меня вызывали водяные колеса. Когда вода в ручейках начала иссякать, меня осенила идея перехитрить природу и сделать работу мельницы независимой от сезонных условий. Для этого, казалось мне, достаточно на одном валу с водяным колесом закрепить ещё одно с черпаками по ободу. Устанавливать такое устройство непременно на текучей воде будет не обязательно. Нужно только сделать колесо с ковшами несколько большего диаметра, чем рабочее, чтобы оно доставало до воды внизу, и приспособить рядом кривой желоб. Тогда, выливаясь из ковшей и протекая под лопастями рабочего колеса снова и снова, вода будет крутить его неограниченно долго. Это качество особенно ценно для условий зимнего времени, когда наша машина сможет работать даже над какой-нибудь лоханкой в закрытом помещении.

Санько, продолжавший оставаться у нас главным, одобрил мою идею, и мы с ним рьяно принялись за работу. Но сколько мы над ней ни бились, все построенные нами мельницы работали только до тех пор, пока на них льёшь воду из кружки. Затем они останавливались. Не-

удачу затеи мы отнесли, как и все изобретатели вечного двигателя, к недостаткам конструктивного выполнения.

- Зализни оси трэба, - заключил Санько, - тоди б пишло...

Вскоре на полях проглянули озими. На кольях низенького плетня, которым был отгорожен от улицы наш огород, на их коротких смешных веточках-прутиках засеребрились барашки. Колья были вытесаны из веток вербы. Господский сад как будто весь засветился изнутри нежным изумрудным светом, а село почти утонуло в белом и розовом цветении вишневых и яблоневых садов.

Дети, да и не только они одни, с нетерпением ждали наступления «Великодня», как называли здесь праздник Пасхи. Причиной этого нетерпения было отнюдь не религиозное рвение, а желание разговеться после жёстких ограничений шестинедельного Великого поста. Этот пост, кроме нашей семьи, соблюдали здесь почти все. Бравировать подобным нарушением религиозных установлений, особенно в деревне, тогда было нельзя. Поэтому мать в недели поста постоянно прятала скромное от посторонних глаз. Она и сама считала, что несоблюдение постов - большой грех, особенно для взрослых. Но подчинялась отцу, совершенно равнодушному к религии, насмешливо относившемуся к церковным обрядам и соблюдавшему их только по необходимости. Духовенство он не уважал и называл служителей культа «патлатыми» и «кутейниками». Иногда шутил, что при его появлении в церкви певчие неизменно затягивают «Христос воскрес». Этим он хотел сказать, что посещает храм божий не чаще одного раза в год. В Питере это было весьма близко к истине, но здесь не совсем. Непосещение церкви по большим праздникам и хотя бы в одно воскресенье каждого месяца явилось бы вызовом деревенскому благоприличию, что было совершенно недопустимо в его положении политического поднадзорного, за которым, как-никак, наблюдают.

Мать, наоборот, ходила в церковь с большой охотой. И если бы не вечные хлопоты по хозяйству, то не пропустила бы, наверно, ни одного богослужения. Нередко она брала с собой к обедне и меня. Я считал, что сельская церковь - место довольно занятное. Тем более что здесь не было ни чайной, ни пивной. Правда, все впечатле-



ния, особенно под конец церковной службы, портила усталость. Всю обедню нужно было выстоять на ногах, а в праздники она продолжалась часа полтора. И все-таки интересно было смотреть на красивый иконостас, на блестящее облачение батюшки, слушать пение хора и даже нюхать ладанный дым.

Были в церкви и интересные картины, хотя и немногочисленные. Самая интересная, написанная прямо на стене притвора над входом в храм, изображала Страшный суд. На самом верху фрески, в разверстых небесах, восседал божественный и грозный судья – Иисус Христос. Несколько в стороне от него парил архангел с трубой в одной руке и огненным мечом в другой. Внизу с правой стороны чинно стояли праведники, одетые в униформу в виде поповской рясы с епитрахилью спереди. Вокруг головы каждого праведника светило сияние, а руки они держали сложенными на животе. На лицах счастливых было что-то общее с выражением Тайкиной физиономии, когда за совместную шалость попадало мне одному, а она с невинным видом стояла в стороне. Но самое пристальное моё внимание привлекала левая часть картины. В безбрежное море клубящегося огня, геенну огненную, рогатые черти с вилами гнали столь же безбрежное стадо голых грешников. В позах и лицах осуждённых на вечные муки отображались отчаяние и ужас. Было страшно смотреть, как они сыплются с крутого обрыва в кипящую и горящую смолу.

У матери в церкви была «своя» икона какой-то Параскевы-Пятницы. Эта икона стояла не в общем иконостасном ряду, а помещалась в одном из притворов в отдельном киоте. Это и решило, вероятно, выбор моей мамой своего небесного сюзерена. Кроме того, она и вообще больше тяготела к святым женского пола, как к способным, по-видимому, лучше мужских божеств понять женские горести и обиды.

Отдельным было у Параскевы и «паникадило» – огромный, по грудь взрослому человеку, подсвечник, с такой же огромной, толщиной в руку, бутафорской свечой посередине. Вокруг этой свечи на большом металлическом диске было размещено множество гнёзд для маленьких свечей, которые ставили молящиеся. Во время обедни их тут был понатыкан целый лес, тоненьких и гнущихся от

собственной тяжести. Такая свечка стоила одну копейку. Мать, входя в церковь, покупала её у лавочника Евтеева – он же наш церковный староста, сидевший во время больших служб рядом с церковным «свечным ящиком» у самого входа в храм. Лавочник занимался привычным делом и здесь, торгуя церковными свечами в порядке общественной нагрузки, как сказали бы теперь. Но вряд ли и без некоторой пользы для себя.

За горением свечей во время богослужения наблюдал пономарь, которого мать здорово недолюбливала за то, что он не давал им догореть даже до половины. Когда церковный служитель обходил многочисленные паникадила, она всегда следила за ним злым, ревнивым взглядом. Пономарь носил с собой железный ящик для огарков, щипцы для их выдёргивания из подсвечников и железную изогнутую трубку, на другом конце которой была надета резиновая груша. С помощью почти такой же груши нам, ребятам, ставили дома клизму.

– Вот уже идёт, нечестивец колченогий, прости меня, Господи!

Мать часто и мелко крестилась, скашивая глаза в сторону нечестивца, подходившего к иконе Параскевы со своим ненавистным инструментом. А он безжалостно фукал из спринцовки с кривой трубкой на немощные огоньки свечек и сбрасывал их в ящик. Идолопоклоннице, ощутимо потратившейся на приобретение для своей богини жертвенного воска хотелось, конечно, чтобы он догорел до конца. Церковь же и её клир были заинтересованы в обратном. Жуликоватые церковники беззастенчиво обирали не только своих прихожан, но и святых угодников. Мать попеременно с молитвами бормотала что-то нелестное по адресу колченогого пономаря – у него действительно одна нога была чуть короче другой, пройдохи Федьки-лавочника и даже самого отца Григория.

– С такими дьяволами не захочешь да согрешишь, прости меня, Пресвятая Угодница!

Досаду на причетников она нередко срывала на мне, благо в поводах для замечаний недостатка никогда не было. Злым шёпотом, а то и тычками мать учила меня благопристойному поведению в храме божьем:

– Не верти головой, как сыч, не в хлеву стоишь!

Я переставал вертеться, понимая, что в такие минуты лучше всего замереть на некоторое время. Но тут же следовал толчок в плечо:

– Что стоишь как остолоп, рожу перекрести!

Я начинал усиленно креститься, но опять получалось не так:

– Не мотай щепотью, как свинья хвостом, не пуговицы чистишь!

Я не разделял недружелюбия матери к пономарю уже по одному тому, что его фукалка для задувания свечей казалась мне весьма занятным изобретением. Однажды дома я достал из нижнего ящика спринцовку и фукнул из неё на огонёк лампы, зажжённой по случаю какого-то праздника перед иконой Богородицы. Опыт удался блестяще. Но мать была так возмущена, что не смогла даже накричать на меня, а опустилась на стул и некоторое время сидела молча с бессильно повисшими вдоль тела руками. Немного успокоившись, она попыталась мне объяснить, что за куда менее кощунственные дела, чем задувание лампы «поганой» трубкой, грешников ожидает на том свете вечный огонь. Я возразил, что когда вырасту большой, то сделаю такую спринцовку, из которой можно будет зафукать даже адский огонь. Мать онемела от нового приступа возмущения и начала испуганно креститься перед иконами. А потом, махнув рукой, ушла на кухню, заявив, что из меня, вероятно, вырастет самый большой нечестивец на свете.

И всё же в страстной четверг она взяла меня с собой в церковь на чтение «Страстей господних». Предпасхальные вечерние службы продолжались до полуночи. И всё это время нужно было стоять и слушать монотонное чтение глав из Евангелия, в которых повествовалось о последних днях жизни Христа. Да стоять не просто, как обычно, а с зажжённой свечкой в руках. Но это-то меня главным образом как раз привлекало. Я даже заключил рискованное соглашение с матерью: если я не выдержу тягот траурной всенощной, захныкаю или усну, то участвовать в освящении яиц и куличей после пасхальной заутрени я не буду.

В юности человек часто склонен переоценивать свои силы. Вечерняя служба в Великий Четверг оказалась нестерпимо тягостной и скучной. Певчих на хорах не было.

Перед стоящим посреди церкви аналоем отец Григорий заупокойным голосом читал Евангелие, заунывно подывая в конце каждой фразы. А на колокольне, как будто ставя в конце каждой фразы точку, так же заунывно звонил колокол. Я и раньше замечал, что звон на колокольне раздаётся как раз в нужные моменты богослужения. И очень этому удивлялся, пока не разглядел, что пономарь дёргает за верёвочку, конец которой свисает из отверстия в стене позади свечного ящика. Оказалось, что другой конец верёвки привязан к колокольчику, находящемуся на колокольне.

Церковь была битком набита народом, причём все действительно держали в руках горящие свечки. Однако в тесноте это оказалось не столь приятным делом, как я себе представлял. Меня вместе с моей свечкой притиснули к домотканой колючей свитке какого-то дядьки, стоявшего впереди. Огонь, зажатый между моим животом и спиной этого дядьки, погас. Но слегка подпалить его свитку, пустить мне в нос вонючий дым и заляпать воском мои новые праздничные штаны и куртку он успел. От духоты, усталости и батюшкиного завывания меня скоро начало неудержимо клонить ко сну, а от запаха палёного волоса еще и тошнить. И всё-таки весь этот мучительный вечер я выстоял на ногах, хотя, пожалуй, не столько за счёт волевых усилий, сколько из-за физической невозможности упасть. В тесноте заключалось и некоторое преимущество – в ней, оказывается, можно спать и стоя.

Из церкви все выходили, обернув свечки бумажными кулками, чтобы их не задул ветер. Считалось плохой приметой, если не сумеешь донести до дома «святой» огонь. Когда мы вышли на паперть, мать снова зажгла мою свечу от своей, но ещё на церковном дворе она опять погасла. Дело в том, что от усталости я не мог держать её вертикально и едва волочил ноги. А мать, как только мы пришли домой, шепча что-то, сразу же начала огоньком своей свечи выжигать крест на верхней перекладине дверного проёма входной двери. Отцу, открывшему нам дверь и снова улегшемуся на кровать, это было видно из комнаты.

- Колдуешь? – спросил он сонным голосом.
- Ладно, ты спи! – ответила мать.

Потом она от той же свечки зажгла лампадку перед образами, накопила ее пламенем крест на потолке перед печью и только после всего этого быстро раздела меня и положила на сундук. А сама опустилась на колени перед иконами.

До Пасхи оставалось только два дня. У нас, как и всюду, шли последние приготовления к празднику. Даже на улице пахло раздражающе вкусным. Мать пекла куличи и пироги, запекала в тесто окорок и сварила вкрутую сотни три яиц. Несмотря на мизерное жалование отца – здесь его заработок был вдвое меньше, чем на питерском заводе, еды было полное изобилие. Продукты в деревне стоили баснословно дешево.

Вечером, когда отец возвращался с работы, начиналось интересное и весёлое дело – крашение пасхальных яиц. Скепсис в отношении религиозных обычаев и обрядов не мешал отцу участвовать в подготовке к праздничному чревоугодию. И он с видимым удовольствием красил яйца покупными красками в весёлые яркие цвета – красный, синий и голубой, а отваром луковой шелухи – в красивый красновато-коричневый тон. Я жалел, что он не умеет делать ещё и «писанок». То есть не просто окрашенных, а расписных яиц, как во многих хатах на селе. На писанки поверх окраски луковым отваром наносили красивый традиционный орнамент и обязательные буквы «Х» и «В». Иногда на пасхальных яичках рисовали также целующихся голубков и летящих ангелочков, но это было уже влияние городской мещанской цивилизации. Раскрашенные яйца предназначались не для съедения. Их дарили друг другу на праздник Христова Воскресения и держали в доме на видном месте в качестве украшения.

Куличи у матери получались очень вкусными, но скромными. А мне хотелось, чтобы они были такими, как изображаемые на пасхальных открытках. То есть украшенными кремовыми навершиями в виде церковных куполов и целых пятиглавий. На эти мои претензии мать отвечала, что такие куличи делают только в очень богатых домах специалисты-кондитеры. А она этого не умеет, да и нужных приспособлений у неё нет. Как всегда в подобных случаях, я начинал строить фантастические планы на будущее. Вот уж у меня, когда я вырасту, куличи будут сделаны по всей форме! Даже с кремовыми звон-

ницами на маковках, в которых будут звонить настоящие колокольчики...

– Ладно, не мешай! – отмахивалась от меня мать заляпанной в тесте рукой.

Даже нам с Тайкой, которых святотатственно весь пост кормили как обычно, очень хотелось «разговориться». Можно себе представить, какое нетерпение испытывали ребята, в чьих семьях пост строго соблюдался. У конторщиковых детей от постного борща и капусты с конопляным маслом заметно заострились носы и втянулись и без того впалые животы.

В субботу под самый праздник я долго не мог заснуть, требуя от матери всё новых подтверждений, что она меня не обманет и возьмёт с собой к пасхальной заутрене. Эта заутреня начиналась почти вслед за продолжавшимся с самого вечера богослужением, часа в два ночи. В сотый раз я напоминал матери, что с честью выдержал все поставленные ею условия в прошлый четверг. Не раскис и стоически вытерпел до конца нудную ночную службу. Меня тревожила неопределённость её ответа.

– Ладно уж, герой, – усмехалась мать, – свитку-то чужую подпалил!

Я запальчиво объяснял, что совершенно в этом не виноват. Что свитке, собственно, ничего особенного не сделалось, а сам пострадавший вообще ничего не заметил.

– Ладно, спи, – мать взъерошила мне волосы, – а то ночью тебя и из пушки не разбудишь...

Она была права. Поднятый в начале второго часа, я долго не мог толком сообразить, что происходит, хотя был уже полностью одет и обут. По-настоящему проснулся только на улице. Мы с матерью шли мимо огромного и тёмного господского сада сквозь тёплую черноту весенней украинской ночи, напитанной запахом цветущих деревьев и влажной земли.

Село в эту ночь не спало. По его широкой главной улице тянулись, негромко переговариваясь, люди с узелками в руках. Такой же узелок был и у матери – завязанная в белый платок тарелка, на которой стоял обложенный крашеными яйцами кулич. За церковной оградой люди развязывали свои узелки и ставили тарелки прямо на землю, образуя вокруг церкви несколько кольцеобразных рядов. За её ярко освещёнными окнами шло самое продолжи-

тельное в году торжественное богослужение. С вечера, как и в предыдущие последние дни страстной недели, оно начиналось с чтения Евангелия, но уже заключительных его глав, заканчивающихся громогласным извещением, что распятый и погребённый Христос воскрес. В этом месте хор мужских и детских голосов грянул торжественный христианский гимн «Христос воскрес из мёртвых», в который тысячелетиями вкладывали свой талант и душу церковные композиторы Византии и России. Если католичество создало великолепную и величественную органную музыку, то православию, отрицавшему применение при богослужении всякого иного музыкального инструмента, кроме человеческого голоса, принадлежат изумительные по силе эмоционального воздействия хоралы. Сейчас «Христос Воскрес» с подъёмом и воодушевлением исполняли добровольные певчие-крестьяне, в большинстве превосходные певцы, и тщательно отобранные в церковный хор мальчишки-школьники. За оградой церкви, приглушённые её стенами и от этого казавшиеся ещё более торжественными, слова гимна «Смертию смерть поправ» так же торжественно, хотя и безмолвно, подтверждались запахами весны, тихим мерцанием начинающих уже блекнуть звёзд и доброй настроенностью людей. Все они, включая даже таких малюток как я, находились сейчас во власти возвышающего мифа о конечном торжестве Добра над Злом и Жизни над Смертью.

– Христос воскрес, сынку! – сказала мне незнакомая пожилая крестьянка.

Она произнесла это растроганным голосом человека, только что пережившего реальный страх за исход евангельских событий и теперь радующегося их счастливому концу. Я ответил как надо:

– Воистину воскрес...

А потом из раскрытых настежь ворот церкви вышел крестный ход. Впереди процессии в блестящем облачении медленно выступал отец Григорий, брызгавший большой волосяной метёлкой на наши ритуальные яства святой водой из красивого пузатого ведра. Это ведро рядом с ним нёс пономарь. За священником следовал хор с пятившимся задом хромым регентом. За хором прихожане несли зажженные фонари на палках, иконы и хоругви.

Из-под сумеречной ещё вышины колокольни доносился громкий ликующий звон.

Под этот непрекращавшийся звон в радостном и приподнятом настроении мы и вернулись домой. Отец уже встал, был одет и умыт.

– Христос воскрес! – сказала ему мать.

Он отнёсся к ритуальному приветствию без обычной насмешливости и ответил:

– Воистину... – и они поцеловались.

Прежде я как-то никогда не замечал, чтобы родители целовались друг с другом, и это показалось мне несколько странным. Сегодня, впрочем, целовались все и со всеми – таков уж обычай. Однако я не догадался похристосоваться с отцом первым, и он обратился ко мне сам:

– Христос воскрес, богомол!

Я ответил, подражая ему, солидным басом:

– Воистину... – и мы тоже поцеловались.

Мать на эту сцену смотрела с умилением, а в отце проснулся его обычный бес насмешливости:

– А что, мать, как из нашего Димки да поп выйдет? Работёнка у него будет не пыльная, да и мы с тобой под старость будем кутью хлебать...

– Хоть бы в великий праздник не охальничал! – нахмурилась мать.

А я подумал, что над идеей отца надо будет поразмыслить. Решение поступить в кавалергарды начинало уже стираться и блекнуть. А вот положение главного священнослужителя в церкви и его блестящее облачение находились на виду и были, пожалуй, ничем не хуже службы и формы гвардейцев.

– За стол садитесь! – сказала мать. – Хоть не постились, а разговеться есть чем.

Мы съели по освященному яйцу и куску кулича. Я, правда, предпочел бы кусочек творожной пасхи, хотя она и не была освящена. Пасха стояла тут же, но предназначалась почти исключительно для гостей, как и всё, что было лучшего в нашем доме. Масса из творога, перетёртого со сливками, сахаром, подкрашенная шафраном и сдобренная ванилью, была отпрессована в виде усеченной пирамиды с красивыми крестами и буквами «Х В» на гранях. Это было сделано в специальной форме, взятой напрокат у жены управляющего. Огорчение от запрета



попробовать пасху несколько возмещалось сознанием, что я вместе с взрослыми сижу за пасхальным столом в это раннее утро, тогда как Тайка ещё дрыхнет вместе с прочей нашей мелюзгой. Потом она будет завистливо расспрашивать меня, что было на освящении куличей и как происходило это разговение на рассвете. Рассказать ей об этом, конечно, можно. Только не сразу, а после повторных просьб.

Поднявшись из-за стола, отец надел фуражку. Я и раньше заметил, что одет он не по-праздничному, как мы с матерью, а в рабочие штаны и куртку, и направился к выходу.

– Опять что-нибудь не слава богу? – недовольно спросила его мать.

Оказалось, что ночью испортился фонарь на парадном дворе, такой же, как и тот, что висит напротив конторы. Об этом сказал ему перед нашим приходом ночной сторож. Фонарь надо срочно починить, потому что у Брезей вечером будут гости. И отец ушел, пообещав скоро вернуться.

– Сгорел бы этот фонарь зелёным огнем! – сердито буркнула мать. – И в светлое воскресенье покоя нет!

Мысль о том, чтобы фонарь светил зелёным светом, мне понравилась. Впрочем, лучше бы красным или синим.

Однако я сильно недоспал в эту ночь, а сейчас ещё и наелся. Поэтому как только заряд возбуждения, полученного от новых впечатлений, несколько иссяк, меня потянуло ко сну.

– Подожди, – сказала мать. – Сейчас посмотришь, как солнышко вставать будет, а тогда уж и спи...

И она объяснила, что восход солнца предстоит сегодня особенный, не такой, как во все прочие дни года. Радуясь воскресению Спасителя, солнышко будет «играть». Это меня так заинтересовало, что сон сразу пропал. Теперь, не отводя глаз, я смотрел в окно, как за «нашим» полем со всходами кукурузы разгорается заря. От нетерпеливого желания увидеть, как будет проявлять свою радость солнце, мне казалось, что оно запаздывает с выходом, просыпает, что ли? А мать на просьбу рассказать, хотя бы приблизительно, что же сейчас должно произой-

ти, отвечала с таинственным видом антрепренера, подготовившего для публики эффектный номер:

- Потерпи немножко, сейчас сам увидишь...

Потом она решила, что пусть уж зрелище пасхального восхода посмотрит и её старшая дочь. И притащила к окну на кухне Тайку, сонную и завернутую в одеяло. Не понимая, зачем её вытащили из постели, сестра протирала глаза кулаками, смешная в своём одеяле и отцовых шлепанцах. Но мне было не до неё.

Яркое, с оранжевым оттенком золото неба за кладбищем накалялось всё сильнее и, наконец, как будто подплавилось снизу. Из-за горизонта показался верхний край солнечного диска, и скоро оно выкатилось целиком. Солнце было невиданно громадных размеров – до этого я никогда не видел восхода: приплюснутое сверху, красноватое и не слишком яркое. Оно смешно пульсировало, как полувзвешенный, собирающийся сорваться с соломинки мыльный пузырь. Действительно – играло!

- Видите, детки, как солнышко Христову Воскресению радуется! – растроганно сказала мать, вытирая передником повлажневшие от умиления глаза.

Конечно же, мы это видели. Тайка, которая, наконец, совсем проснулась, хлопала в ладоши и выкрикивала:

- Солнышко танцует, солнышко танцует!

Даже мне, наделённому, по мнению матери, весьма въедливым, почти еретическим умом («Весь в батьку пошёл», – вздыхала она всегда не то с удовлетворением, не то с сожалением) не пришёл тогда в голову простейший вопрос: а не точно ли так же ведёт себя солнце с восходом и в другие дни этого времени года? И мы с непосредственностью и восторгом первобытных язычников наблюдали за светилом до тех пор, пока, немного поднявшись над горизонтом, солнце успокоилось. И от праздничного танца перешло к своему повседневному и будничному делу – светить. Теперь смотреть на него стало уже невозможно.

Праздник Пасхи, продолжавшийся целую неделю, был на Руси преимущественно праздником чревоугодия. Отощавшие за добрые ползимы довольно строгого поста православные усердно отъедались на домашних колбасах, куличах и сваренных вкрутую яйцах. В здешних местах эта снедь была в достатке даже у самых бедных. А вот пили украинские крестьяне в меру. За исключением счи-

танного числа неизбежных во всяком обществе алкоголиков, малороссийская деревня того времени по размаху пьянства не шла ни в какое сравнение с деревнями Восточной России. А о фабричных районах центральных русских губерний и говорить нечего.

Кроме самых необходимых работ по хозяйству, большинство взрослых в эти дни были заняты приёмом гостей и хождением в гости. А дети, кроме обычных игр, увлекались ещё игрой в «битки». В этой игре присутствовал элемент материальной заинтересованности, связанный с соответствующим риском. Заключалась она в том, что игроки стучались острыми концами «крашенок» – пасхальных яиц, специально прихваченных для этой цели из дома. Варёные яйца были не только средством игры, но и ее ставкой, так как разбитое яйцо переходило во владение победителя. Посредством такой постепенной выбраковки отбирались экземпляры, составлявшие не только гордость и славу своих владельцев, но и обеспечивающие им, по крайней мере на время праздников, роскошную жизнь. Считалось, что кроме удачливости в этой игре требуется ещё и некоторое умение. Отбирая дома яйца для игры, надо было суметь выбрать самые прочные, постукивая их «носками» себе по зубам. Предполагалось, что многое зависит ещё и от умения ударить своим яйцом по яйцу противника. Бить надо было по возможности резче. Особенно азартные игроки делали это иногда даже предварительно разбежавшись. При этом они, как и полагается при всякой атаке, строили свирепые физиономии и издавали воинственные вопли. Кое-кто откровенно жульничал. Сырые яйца прокалывались с обоих концов, их содержимое выдувалось и заполнялось расплавленным сургучом. Иногда поддельные битки вытачивались также из мела и проклеивались для большей прочности раствором крахмала или столярного клея. Однако у доморощенных шулеров не хватало, как правило, догадки подменять время от времени свой слишком уж безотказный «биток» настоящим яйцом. После кратковременного триумфа их шумно уличали и с позором изгоняли из компании. А иногда и лупили всей оравой.

Вскоре после праздников в нашей семье произошло знаменательное событие – была приобретена швейная машинка «Зингер». Конечно, в рассрочку. Эта давняя мечта

матери вряд ли была бы осуществлена теперь, когда заработок отца резко уменьшился, не наведайся в нашу Экономию разбитной коммивояжер американской фирмы. Этот обходительный господин долго беседовал с матерью на кухне, красноречиво соблазняя ее преимуществами обладания швейной машинкой и удобствами приобретения дорогих вещей в рассрочку. А она смущенно вздыхала и всё вытирала о передник сухие руки. Вечером того же дня родители долго обсуждали вопрос: приобретать ли им машинку сейчас или ещё повременить. Отец был за немедленное подписание соглашения с фирмой, мать же смущенно отнекивалась:

- Ладно уж, обойдусь как-нибудь...

Но было видно, что ей очень хочется иметь машинку. Отца такая нерешительность жены, видимо, только подзадоривала:

- Ладно, мать! Купим тебе машинку, да ещё ножную. Денег на первый взнос, пожалуй, хватит...

- Что ты, Егор, куда уж нам! - замахала она руками. - Мне хотя бы ручную...

- А как ты думаешь, механик, - обратился ко мне отец, - ножную или ручную машинку для мамки брать?

Я не знал разницы между этими машинками и поэтому ответил вопросом на вопрос:

- А какая машинка была у тети Кати?

- Ручная, - ответил отец.

Я так и думал. У нашей соседки, матери того самого Титка, которого я так вероломно заманил в помойную яму, была машинка, украшенная знакомыми изображениями царской четы - поясные портреты, т. е. «ручные», как я понял тогда это слово, хотя даже руки царя и царицы были видны далеко не полностью. На «ножных» же машинках портреты царских особ сделаны, надо думать, во весь рост, что гораздо интереснее. Поэтому я ответил:

- Ножную...

- Так тому и быть, - заявил отец. И на другой же день подписал какие-то бумаги, принесённые к нам в дом обходительным господином из 3-ва.

А ещё через несколько дней доставили и машинку. Смотреть, как её сгружают с телеги, сбежались все ребята и чуть ли не все женщины нашей Экономии. Многие завистливо охали и все восхищались великолепным при-

обретением. Мать сияла, хотя и вздыхала иногда, вспомнив, вероятно, о своём крупном долге перед заморской фирмой. Погашать его нам предстояло теперь в течение двух лет.

Машинка была не такая, как у тёти Кати. Та просто ставилась на стол, а эта имела собственный столик с педальным механизмом. Этот механизм показался мне очень интересным. И всё же я был несколько разочарован. Дело в том, что никаких царских портретов, даже «ручных», на корпусе машинки не было. Когда же я спросил у отца, куда они девались, тот взглянул на меня с неприязненным удивлением. После своей ссылки сюда он был с царём и вовсе не в ладах.

- Гляди, какой верноподданный выискался! Это мать, что ли, тебе про помазанника божия толкует?

Его подозрение было напрасным, мать никогда и ничего мне о царе не говорила. Но главную ошибку он совершил сейчас, неосторожно упомянув слово «помазанник», выяснить значение которого я давно собирался. Люди приносили это слово ещё более по-разному, чем даже слово «царь»: одни с оттенком елейного почтения, другие – со злой иронией. Теперь представилась, наконец, возможность узнать смысл странного слова, и я прицепился к отцу с вопросом, что оно означает. Помазанник – это, наверное, тот, который чем-то что-то мажет. Но почему он «божий»? Отец понял, что он неосторожно проткнул мешок со щекотливыми для него вопросами. И неохотно ответил, что так некоторые называют царя, которого самого при каких-то обстоятельствах чем-то мажут. Стало ещё непонятнее – зачем мажут? Отец не стал мне больше ничего объяснять, а мать, уже начавшая робко пробовать свою машинку, заявила, что если я не перестану задавать глупые вопросы, то она меня прогонит. Она быстро освоила полезный механизм и не могла ему нарадоваться. Я же силился постичь самый принцип действия швейной машинки и часами торчал возле матери, когда она шила, мешая ей работать. А один раз, когда она отвернулась на минуту, застрочил куда-то вбок оставленное на машинке шитье.

Даже такой относительно небольшой предмет, как эта машинка, усилил тесноту в нашей комнатке. В ней ютилось теперь шесть душ. Поэтому родители решили

отселить меня, хотя бы на летнее время, в чулан – небольшую кладовку, размещавшуюся рядом с комнатой. Вход в чулан был из сеней, что делало его как бы совсем отдельной территорией. У стены, отделявшей кладовую от нашей комнаты, стоял ларь для муки, разделённый на отсеки. На его крышку положили соломенный матрац, сделанный матерью из мешка. Специально для меня она сшила из накопившихся лоскутков ещё одно маленькое одеяло.

С Тайкой на сундуке должна была теперь спать Поля, а её место на кровати родителей предназначалось для Серёжки. Это потому, что он был беспокойным и капризным ребёнком и мать измучилась, вставая к нему по десять раз за ночь.

– Чёрт, а не ребёнок, – сокрушалась она, когда Серёжка совсем уж выводил её из себя. – Тоже надо было утратить, пока маленьким был...

Однако мать не уточняла теперь, кто был первым кандидатом на утопление и даже не скупилась на комплименты для меня, когда уговаривала переселиться в чулан. Она выражала уверенность, что, как почти уже взрослый мужчина, я не побоюсь оставаться ночью один. Тем более что кровать родителей от моего ложа отделяет только тонкая деревянная перегородка.

Вообще говоря, в чулане мне даже нравилось. Здесь пахло мукой, таранью и ещё чем-то неопределённым, но приятным. На полках стояли банки из зелёного и белого стекла, в которых мать хранила варенье, заготовленное ею на целый год, разной величины глечики с молоком и простоквашей. Почти под самым потолком было прорезано небольшое горизонтальное оконце, создававшее уютное неяркое освещение. Но одно дело заглядывать сюда днём, другое – оставаться одному ночью. Я крепился, стараясь оправдать расточаемые мне авансом комплименты по поводу моей взрослости, и не возражал открыто против своего отделения. Однажды вечером мать проводила меня к моей новой постели, примяла вздымавшийся горой свеженабитый матрац, заботливо подоткнула со всех сторон одеяло, произнесла ещё несколько лестных похвал моему бесстрашию и ушла, захватив с собой лампу. В чуланчике стало совсем темно, и только чуть вырисовывался прямоугольник оконца.

На юге темнеет рано и очень основательно даже в первой половине лета. А я уставал от целодневной беготни, «ухайдакивался», по выражению матери. Поэтому засыпал почти сразу, как только ложился в постель. Оказалось, однако, что для такого быстрого и спокойного засыпания, кроме усталости, нужен ещё целый ряд условий: прикосновение тёплого тельца сестрёнки, её ровное дыхание, разговор родителей вполголоса на их кровати и даже скрипучий писк Серёжки. И густая темнота комнаты была привычной, своей. Мысль, что в ней может появиться нечто враждебное и чуждое, никогда не приходила мне в голову. В комнате никак не могло возникнуть ощущение одиночества и отрешённости. Здесь же, как только я остался один, как будто обрадовавшись моей незащитности, на меня со всех сторон полезли страхи. Наши мальчишеские разговоры о нечистой силе не прошли даром. Мне чудились притаившиеся в углах страшилища, мохнатые пауки со множеством глаз, крылатые жабы и – особенно страшные своей неопределенностью и бесформенностью – просто сгустки темноты. Я знал, что лучшими средствами против нечистой силы являются крестное знамение и заклинание «Свят, свят, свят». Съежившись под новым одеялом и мелко крестясь, я усердно шептал, это «свят» и ещё «чур, чур меня!». Страхи тем не менее не уходили и даже увеличивались в числе. А потом, накопив силы, они ринулись в атаку все разом и пошли напролом. Я пытался противопоставить им убеждение, что нечистая сила бессильна против смелости и одолевает только тех, кто боится её. Но мистический ужас оказался сильнее всех убеждений и заклинаний, сильнее даже страха прослыть трусом. Он как-то враз захлестнул меня всего, и уже как будто не я, а кто-то другой, пугливый и глупый, отчаянно заверещал, заколотив в стену кулаками и коленями:

– Мама, мама!

Она прибежала сразу с зажжённой лампой в руках. Возможность подобного поведения с моей стороны была, видимо, предусмотрена. Я дрожал, как в ознобе, а мать одной рукой обхватила меня за трясущиеся плечи, другой гладила по вихрастой голове:

– Ну, чего испугался, маленький? Тут же никого нет, видишь?

При свете лампы, поставленной на одну из полок, я видел, что в чулане действительно нет никаких жаб и пауков и в нём мирно поблескивают глянцевыми боками банки и глечики. Меня очень тронуло, что мать не только не застыдила меня – «Большой, а невесть чего испугался!» – но даже назвала «маленьким». В другое время я бы, пожалуй, обиделся – какой же я маленький! – но сейчас понимал, что таким образом она выражает мне полное понимание и сочувствие. Постепенно я успокоился и уснул. А когда просыпался, то видел на полке привёрнутую лампу. Свет, даже слабый, разгонял чудищ куда надежнее, чем все заклинания и молитвы.

На другой день отец принёс из мастерской специально сделанный для меня ночник-коптилку, так называемый «каганец». С этим каганцом я спал ещё с неделю. А потом так освоился со своим новым местожительством, что и без ночника никакие страхи меня больше не посещали.

Незадолго до моего переселения в чулан произошли два неприятных для меня события. Оба они были связаны с проявившейся склонностью более чем критически относиться к нормам общепринятой морали. Вскоре это привело к попыткам обмануть родителей и даже самого Бога. Всё началось с внутреннего протеста против запрета трогать сладости, влечение к которым было у меня тогда почти неодолимым. Наверное, этот протест был бы менее сильным, если бы запрет распространялся на всех и не вызывал острого чувства несправедливости. Всё, что нам, детям, давалось только изредка и в самых ограниченных количествах, а то и запрещалось совсем, могли без всякого ограничения, как сказали бы теперь «от пуза», лопать гости. Постепенно я начал их почти ненавидеть. В самом деле, если маленькую ложечку варенья мать иногда и клала нам в чай, то обязательно со всякими условиями и оговорками. Вроде обещания с моей стороны есть суп – то, что я не любил. А вот гостю за чаем непременно говорилось елейным голосом:

– Что это вы так мало варенья берете? Не нравится, наверно, оно немного засахарилось...

И гость – черт бы его побрал! – только что бухнувший себе в стакан полную ложку варенья, снисходительно за-



черпывал из вазочки вторую, да ещё со здоровенным верхом.

Только по крохотному кусочку досталось нам с Тайкой и от творожной пасхи на праздники, всё остальное сожрали гости. А вишневого сока, перебродившего с сахаром и поэтому немножко пьяного, детям не давали даже и понюхать. Как напиток, не имевший себе равных в мире, он предназначался исключительно для гостей.

Нарастающее ощущение несправедливости рано или поздно лишает ограничительные постановления всякого рода уважения к ним со стороны тех, кто подвергается обидной дискриминации и правовому ущемлению. Неуважение же к законам снимает чувство моральной ответственности за их нарушение. Правда, мать постоянно внушала нам, что запрещающие установления взрослых поддерживает-де сам Бог, который всё видит. Но этому её утверждению я не особенно доверял. Мать как заинтересованная сторона, похоже, сильно преувеличивала до тошноту и мстительность Бога. Однако так я думал лишь до поры до времени.

Однажды отец купил в «шинке» у лавочника-еврея несколько бутылок сидра, как называли здесь слегка подслащённый дешёвый морс. А «шинком» именовалось на селе небольшое помещение за мануфактурной лавкой Ботвинника, которое открывалось только по праздникам. Сюда приходили дядьки и парубки. Одни чтобы выпить бутылку пива, другие – купить для девчат этого самого сидра. Название помещения сохранилось от времени, когда дед нынешнего владельца лавки действительно содержал здесь, ещё до введения государственной монополии на продажу водки, сельский кабачок.

Морс в нашей семье выдавался в качестве приза после обеда тем из детей, кто безотказно съедал постылый суп и не вертелся за столом. Мне это почти никогда не удавалось, и Тайка злорадствовала:

– Димке сегодня опять не дадут сидра!

– Ну и не надо! – говорил я, стараясь придать своему голосу как можно больше равнодушия. Но это была только хорошая мина при плохой игре.

Что красть нехорошо – это я, конечно, знал. Ну, а заставлять человека есть то, что ему не нравится, и не давать того, чего он хочет, – хорошо? Сомнения в моральной

правомерности законов – первый шаг к их нарушению. За ним последовал и второй.

Премиальный морс мать держала в графине синего стекла, который после обеда снова ставила в незапирающийся посудный шкаф, находившийся в комнате. Убрав со стола посуду, она мыла ее на кухне, а девчонки либо вертелись возле её юбки, либо выходили на улицу. В комнате оставался один Серёжка, спавший в коляске.

После некоторых колебаний я решился на преступление, бывшее, впрочем, таковым только с формальной точки зрения. Я ведь не воровать собирался, а лишь восстановить попорченную справедливость. Для этого достаточно было, оставшись одному в комнате, открыть шкаф, достать из него графин и отпить прямо из горлышка несколько глотков законно полагающегося мне напитка. Затем выскочить на улицу через открытое окно.

После первого удачного опыта восстановление справедливости постепенно стало делом привычным. Теперь своё послеобеденное «ну и не надо» я произносил уже с неподдельным равнодушием. И с гордым видом уходил на улицу, чтобы спустя несколько минут забраться через окно к заветному шкафу.

Почти всякая воровская операция связана со спешкой. Это, конечно, портило мне удовольствие. Но для смакования морса и разглядывания узоров на графине времени не было – в комнату в любой момент мог кто-нибудь войти. И однажды, отпив по обыкновению прямо из горлышка здоровенный глоток, я почувствовал во рту что-то вроде жидкого огня. Однако выплюнуть его полностью я не успел. Большая часть этого огня прокатилась по пищеводу в желудок, и там стало горячо, как от кипятка. Другая часть какого-то страшного пошла ударила мне в нос и проникла даже в глаза, отчего из них сразу брызнули слёзы. Испуганный, ошеломлённый, перхая и кашляя, но по-прежнему сжимая в руке чудом не выроненный графин, я и предстал перед матерью и выглядевшими из-за её юбки сестрами.

– Это он перцовой водки хватил, воришка несчастный! А я-то думаю, чего это ситро так быстро выходить стало?

Мать стояла на пороге с видом инквизитора, скрепив на груди руки.

И не только не проявила испуга или сочувствия к моему несчастью, но и произнесла целую проповедь о неотвратимости божьего наказания за всякое нехорошее дело. При этом она обращалась даже не ко мне, а к разинувшим рты сестрам:

– Вот, доченьки, вор-то думает – гляди какой я хитрый, никто моих пакостей и не заметит... Ан Бог-то, он всё видит! От него и под землёй не скроешься...

Сёстры испуганно таращили глаза на потолок, за которым им мерещился всевидящий Бог, а потом переводили взгляд на меня, обречённого, по их явному убеждению, на скорую и скверную смерть. Однако я не только не умер, но как только чуть откашлялся и отплевался, тут же выскочил в окно и убежал. Вслед за мной из того же окна высунулась мать:

– Что, стыдно людям в глаза смотреть?

Я не приходил домой до самого вечера, отсиживаясь по закоулкам и страдая от странного головокружения, тошноты, ощущения, что рот обварен, и, главное, от чувства стыда. Но стыд этот и досаду я чувствовал вовсе не из-за того, что воровал лимонад, а от того только, что так глупо попался. Мамин Бог был тут явно ни при чём. Ведь не он, а именно она заменила ситро в графине водкой, в которую чуть не доверху напихала стручкового перца. И не для питья совсем, а чтобы растирать отцу спину, простуженную ещё в Маньчжурии при переходе вброд весенних рек.

Поэтому даже после провала своих первых мероприятий по восстановлению социальной справедливости я не проникся особой верой в неотвратимость божьего наказания за нарушение повелений взрослых. И тоже не потому, что сомневался в существовании Бога или в том, что он действует на стороне этих взрослых и усердно шпионит за нами – детьми. Просто я считал неправдоподобным, чтобы с эдакой высоты можно было уследить решительно за всем, что делается на земле. Вскоре, однако, я был жестоко наказан за недостаток веры в абсолютность божьего всеведения.

К празднику Троицы мать сшила мне белоснежную куртку из шикарной, в мелкий рубчик, дорогой материи «пике». Небольшой лоскут этой материи она купила у Ботвинника со значительной скидкой, так как сумела

убедить его, что никому другому он этого лоскута всё равно не продаст по причине его малости. Это был остаток отреза, привезенного мануфактурщиком по заказу поповских дочек.

Пикейная куртка была лучшей носильной вещью за всё моё бедное детство. А вот носить эту роскошную обновку мне почти не пришлось. И всё из-за божьего гнева, который я навлек на себя своим неверием в его способность зорко подглядывать за детьми, чтобы злобно мстить им за неисполнение его несправедливых установлений. Он доказал эту способность настолько убедительно, что даже мне пришлось уверовать в неё и признать, что все попытки перехитрить Бога заранее обречены на провал.

Полуязыческий-полухристианский праздник Троицы был на Украине очень красивым и весёлым. Его традиции восходили к временам дохристианской Руси. Стены сельских хат украшали в «Троицын день» зелёными ветками, перевитыми длинными вышитыми рушниками. Пряный, как-то по-особенному приятный запах этих трав ещё долго стоял в сельских домах и после того, как зелёный праздник красного лета заканчивался.

День Троицы был нерабочим, и родители отправились после обеда на луг за селом посмотреть, как там водят хороводы сельские девчата. С собой они взяли девочек и маленького Серёжку. Я же идти на луг отказался, заявив, что мне это неинтересно и я хочу играть с ребятами. Мать хотела было настоять, чтобы я шёл со всеми. Возможно, она хотела похвастаться перед народом моей курточкой, но отец принял мою сторону:

– Чего неволить парня, раз ему неинтересно!

Тогда и мать махнула рукой:

– Ладно, оставайся! Только гляди, курточку не испачкай!

Но дома я остался совсем не потому, что так уж сильно хотел побегать с мальчишками. Это мне разрешилось летом и во всякий другой погожий день. Но сегодня создалась единственная в своём роде возможность осуществить, наконец, давно задуманный мною план отведать самодельной вишнёвой наливки. Она хранилась в нашем чулане, не запираемом на замок и тогда ещё не ставшем моей летней резиденцией. После того как вишнёвка некоторое время бродила в бутылках на свету, её пере-

ливали в большой фаянсовый кувшин с металлической крышкой на шарнире. Этот кувшин был куплен ещё в Питере. Над его ручкой от крышки отходил хвостовик, при нажатии на который она откидывалась. Налитый почти до краёв вишнёвкой, хитрый кувшин стоял в чулане на самой верхней полке.

Из-за угла я проследил, когда наши отойдут подальше, вернулся в дом и вошёл в чулан. На этот раз опасности попасться у меня не было никакой. Однако я понимал, что иду на преступление куда более серьёзное, чем кража безалкогольного морса. Мать на просьбы разрешить мне хотя бы только пригубить ароматной наливки отвечала, что люди, начинающие пить спиртное с детства, повзрослев, непременно становятся отпетыми пьяницами и валяются под забором. В это я тоже не особенно верил, но дело шло сейчас не о присвоении принадлежащего мне по праву, а о деянии, по отношению к которому даже моя самооправдательная философия не очень-то подходила. Поэтому я волновался и нервничал, чему немало способствовало ещё и нетерпеливое вожделение чревоугодника.

Вместо того чтобы принести из кухни табуретку, представить её к полке с кувшином, аккуратно отлить запретного сока себе в кружку и всласть упиться им где-нибудь на огороде, я начал действовать торопливо и бестолково, как последний дурак. Вскарabкался по стойке чуланного стеллажа наверх и, держась за неё правой рукой, левой наклонил кувшин на себя и нажал большими пальцем на хвостовик. Возможно, я находился под действием павловского «динамического стереотипа», привыкнув при отпивании морса хлебать краденое только через край. В рот неосторожному вору попало вряд ли больше чайной ложки напитка. Да и этот жалкий глоток показался мне тогда горше полыни. Добрый стакан густого липкого сока вылился на тщательно отглаженную грудь моей белоснежной обновки, окрасив её спереди и на плечах в полыхающий за версту темно-красный цвет.

А вот теперь, когда свершилось непоправимое и терять мне было, в сущности, уже нечего, я вёл себя с какой-то механической правильностью. Такая правильность нередко сопутствует состоянию безнадежности и отчаяния. Методически и не торопясь, я вытер мокрой тряпкой красные лужи на полу и на полках, тщательно обтер

белый кувшин, осмотрел, не упустил ли ещё чего, и запер дверь в чулан. Затем осторожно, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза, вышел из дома и, пригнувшись, пробрался в канаву с высоким бурьяном. Ту самую, в которой сидел в прошлом году после несостоявшейся попытки разжечь в сенном сарае самодельный паровоз. И всё это время я находился в состоянии холодного внутреннего ужаса. В канаве я снял с себя куртку и долго смотрел на нее – жертву и неумолимую свидетельницу моего преступления. Что такое пятна от ягод я знал хорошо. Матери удавалось отстирывать их даже с не очень светлых вещей только за несколько раз, да и то не всегда.

Относительная терпимость даже очень плохого познается только путём его сравнения с худшим. Ожидая здесь возмездия за едва не учиненный прошлым летом пожар, я думал в тот день о безвременном конце своей молодой жизни, но не об общественном сраме. Ведь тогда дело шло хотя и о преступно опасной, но все же чисто технической инициативе. Сейчас же предстоял позор уличения в вульгарной домашней краже, совершённой для других при смешных, а для меня при весьма трагических и безмерно отягчающих вину обстоятельствах. Конечно, удайся мне эта кража, я скоро утвердился бы и в её моральной законности как одного из тайных мероприятий по борьбе с несправедливыми запретами. А вот неудачные попытки изменить существующий порядок вещей неизбежно превращают их в глазах людского большинства в преступный акт. Даже когда под них подведена и более прочная моральная база, чем под моё намерение хлебнуть запретного спиртного.

Драматизм ситуации с испорченной курткой не ограничивался моим конфликтом с людскими установлениями и ответственностью перед родительским судом. Не подлежало сомнению также, что он возник при участии высших и притом явно враждебных мне сил. Такой вывод напрашивался сам собой из простого сопоставления фактов. В провале попыток хищения лимонада и вишнёвки было нечто пугающе общее. В обоих случаях мои же собственные действия совершенно неожиданным образом оборачивались против меня, становившегося как бы невольным доносчиком на самого себя. Хватив перцовки, я тогда громко закашлялся, а по залитой вишнёвым соком

куртке и дурак поймет, чем я занимался в отсутствие родителей. Выходило, что мать была права и что всевидящий Бог всегда изыщет способ сделать тайное явным. То есть, попросту говоря, молчаливо наябедничать. Притом таким образом, что сам ябедник останется как бы и в стороне. Она, оказывается, нисколько не преувеличивала непостижимых шпионских и доносительских талантов Бога. А я, благодаря своему неверию, оказался в ужасном, совершенно безвыходном положении. Мелькнула мысль, а что если покаяться перед Богом? Попросить у него прощения и ниспослания чуда. Ну что ему стоит сделать так, чтобы пятна с куртки исчезли? А я ему дам за это клятву, что впредь никогда не буду нарушать запрета трогать вкусные вещи. Пускай даже всё, что есть в нашем доме лакомого, слопают гости!

Но разве Бога умолишь? Над картиной Страшного суда в притворе нашей церкви было нарисовано огромное всевидящее око. Окружённое сиянием, оно втыкалось в каждого, кто входил в притвор, холодным и мрачным взглядом. И пока человек оставался в церковных сенях, не спускало с него этого взгляда, в какой бы угол он ни забился. И сколько бы ни было здесь людей, таким же пристальным и подозрительным взглядом «око» смотрело на каждого. Это был взгляд самого Бога и, судя по нему и по тем пакостям, которые Бог мне подстраивал, ничего доброго ждать от него не приходилось. И все-таки, несмотря на всю ясность и логичность этих рассуждений, я попытался замыть курточку в той бочке, в которой чуть было не утонула Тайка. Недавно прошёл дождь, и воды в ней было почти до краёв. Я долго и усердно жамкал и полоскал испачканную куртку, потом отжал её как умел и убедился, что вишневые пятна на мокрой материи только чуть-чуть ослабли и сделались размытыми по краям. Исчезать же они даже и не собирались. С точки зрения следователя, куртка стала теперь как бы отчётливым протоколом совершения преступления: сначала кража наливки, затем неуклюжая попытка замести её следы.

Волоча за собой мокрую куртку, несчастный и подавленный, я бродил, как всегда в подобных случаях, по дальним закоулкам Экономии, почти безлюдной сегодня из-за праздничного гулянья на селе. Приходили в голову, конечно, и мысли о спасительной смерти. Но

теперь я знал уже точно, что одного желания умереть для её вызова мало и надо делать что-то ещё. Залезть, например, головой вниз, как это не понарошку сделала Тайка, в бочку с водой и посидеть там некоторое время. Но какое именно время? Хватит ли его до возвращения родителей? А то, пожалуй, вытащат из бочки и отхлопают по щекам, чтобы вернуть добровольному утопленнику жизнь на его же горе.

Случайно я оказался на краю открытой силосной ямы, опорожнённой уже более чем наполовину. Остаток прокисшей кукурузы образовал у одной из выложенных кирпичом стенок ямы крутой откос, уходивший нижним краем под бурю жидкость, покрывающую её дно. На днях, пробегая по осклизлому краю этой ямы, тогда почти ещё полной, в силос упал всё тот же невезучий Стёпка. Одет он был в белые холщовые штаны и цветастую рубашку. Но побуревшие от силосного сока, эти вещи мало отличались друг от друга по цвету, когда, сопровождаемый стаей любопытных, Стёпка с рёвом бежал к своей мамке.

Случай со Стёпкой навёл меня на спасительную мысль. Как будто лёжа в каком-то секретном ящичке в моей голове, она вроде лишь того и ждала, чтобы выскочить из него в совершенно законченном виде. Через какую-нибудь секунду, скатившись по силосному откосу в остро пахнущую жижу, я окунулся в неё чуть не с головой и сразу же вылез по спущенной в яму лестнице наверх. Изобразить себя случайно пострадавшим было делом совсем уже нетрудным. По мере приближения к дому я плакал всё горше, весь бурый от силосного сока и облепленный с ног до головы клочьями перебродившей кукурузы. Конечно, я не ждал похвалы за свою хроническую ошалелость и неосторожность. Но брань за неё не шла ни в какое сравнение с ответственностью за домашнюю шкодливость.

Мама встретила меня на крыльце причитаниями и криками. Такого идиота, как я, не в нарядные бы куртки обрядать, а выгонять бегать голышом! Пусть знают добрые люди, что я и в грош не ставлю материнские заботы и отцовские труды! Что мне наплевать на то, как она три дня подряд ходила к лавочнику, выторговывая у него несчастный лоскут... Как выпрашивала в барском доме выкройку для куртки. Как, замирая от страха испортить



материю, кроила, шила, крахмалила эту куртку! Старалась, чтобы её замурзанный нечестивый сын хоть в божий праздник имел бы сколько-нибудь пристойный вид!

В периоды тяжких душевных переживаний я легко поддавался воздействию жалких слов. Поэтому и сейчас, сидя нагишом на печке и глядя, как мать замачивает в корыте мой праздничный костюм, я заливался неподдельными слезами. Но ни эти слёзы, ни сожаление о подпорченной обновке, ни вполне искреннее сочувствие матери, которой так не повезло с сыном, не мешали чувству скрытого торжества и приятного ощущения, что я хитрее не только её, но и самого Господа Бога. При достаточной смекалке можно, оказывается, перехитрить даже этого кляузника и профессионального шпиона. Доказательство тому – сетования матери по поводу паразитической вьедливости кукурузного сока. Никогда бы не подумала, что его так трудно отстирать, особенно местами. И как это черт угораздил её неслуха свалиться в силосную яму!

Через полчаса, накормленный и переодетый в свою будничную одежку, я уходил из дома с приличествующим случаю скорбным выражением лица, но с тем же самодовольным чувством жулика, сумевшего обвести вокруг пальца и полицейского шпика, и своих судей. Однако недаром говорили у нас на селе: «не кажи гоп, пока не перескочишь». Оказалось, что торжествовать победу над Богом мне было ещё рано.

Почти уже в сумерках мимо нашего домика ежедневно прогоняли с пастбища небольшое стадо коз, помещение которых находилось на парадном дворе рядом с коровником. Обе барыни, старая и молодая, предпочитали почему-то козье молоко коровьему. Впереди козьего стада всегда важно шествовал, потряхивая бородой, большой козёл с огромными, загнутыми назад рогами и свалывшейся бурой шерстью. Этот козёл был, кажется, самым несимпатичным животным изо всех, каких я когда-либо знал. Он лез ко всем бодаться, издавал противный запах и славился способностью есть всё, вплоть до банных мочалок и стирального мыла. Проходя мимо верёвки, на которой сушились принадлежности моего праздничного туалета, козёл стащил с неё злополучную куртку и начал флегматично её жевать. Мать, заметившая это в окно, вы-

скочила из дома с отчаянным криком и кинулась с ухватом наперевес на рогатого похитителя многострадальной вещи. Козёл немедленно перешёл в контратаку и с первого же удара сбил маму с ног. Её выручил подоспевший па-стух. Но самое ужасное в этот день уже свершилось: один рукав моей новой куртки был безнадежно изжёван, а на её спине проедена огромная дыра. Потом, чуть не плача, мать пришила к ней новый рукав и залатала дыру. Но уже не материей пике, которой больше не было, а чем бог послал. Великолепное праздничное одеяние стало разноцветным и приобрело нищенский вид.

Отец сделал заключение, что козла, до этого не трогавшего развешенного белья, привлек к нему неистребимый силосный запах. Мать же считала и козла, и меня ниспосланным ей свыше наказанием за какие-то грехи. И один только я знал, что и пятна от вишнёвки, и силосный запах, и козел – всё это лишь естественные средства мести мне со стороны сверхъестественного существа. Бог оказался гораздо каверзнее и изобретательнее, чем я думал. Но самый тягостный вывод из всего случившегося заключался в том, что от неусыпного божьего контроля не только над самыми тайными поступками, но и мыслями, человеку никуда не уйти. Мать была права, а это значило, что какими бы несправедливыми и неправомерными ни казались мне всяческие запреты и ограничения, наложенные на детей взрослыми, их необходимо выполнять. Отсюда вытекало, что нет смысла также и философствовать на тему об угнетении маленьких большими. На их стороне находился тоже, конечно, взрослый и такой же несправедливый Бог. Да к тому же непостижимо хитрый, пронизательный и неодолимо сильный.

Безнадежность борьбы за социальную справедливость рано или поздно парализует чувство внутреннего протеста против несправедливости. Это хорошо знают диктаторы всех времен. Постепенно я перестал ревновать гостей к сладостям и даже к вишнёвке, которую они до капли выпили уже в тот же злосчастный день святой Троицы. Так из первобытных «табу» вырабатываются законы. В том числе и не подлежащие официальному контролю, чисто этические.

Дольше всего от этих событий во мне сохранился страх перед перцовой настойкой. Я боялся попробовать

жидкость из бутылки с изображением стручка красного перца на наклейке даже тогда, когда уже умел пить неразведенный спирт и ямайский ром. А когда, наконец, решился на это, то был очень удивлен. Никаким жидким огнём фабричная перцовка не оказалась, напоминая его лишь очень отдаленно.

Погода к концу лета, как всегда в этих местах, установилась сухая, в меру жаркая, как будто специально приспособленная для уборки хлебов. Уже шла подготовка к обмолоту богатого урожая, и отец чуть свет уходил на ток, где со своим помощником устанавливал и отлаживал локомобили для вращения молотилок. Мать поднималась с постели ещё раньше, чем отец, – ей надо было растопить печь и накормить мужа перед выходом на работу.

Она всю жизнь вставала спозаранку. А вот своих детей по этой части мать немножко баловала. В то время как все другие здешние ребята поднимались вместе с родителями, мне она запрещала выбегать из дома «ни свет ни заря». Но в иные дни это было совершенно необходимо, и на этот случай у меня с товарищами был негласный уговор. Если рано утром происходило что-нибудь чрезвычайное, они тихонько постукивали концом хвостины по оконцу моего чулана. Получив такой сигнал, я потихоньку одевался и через сени незаметно выходил на улицу. Тогда мать, заметившая это, придумала с вечера забирать из чулана мои штаны. Сейчас, однако, было тепло и не имело особого значения, в полный ли костюм или в одну только длинную рубашку был одет кто-нибудь из многочисленных зрителей необычайных утренних происшествий. А такие происшествия случались здесь постоянно. То железной «кошкой» вылавливали из колодца упущенное соседкой ведро, то ловили бугая, сорвавшегося с привязи. Бык рассвирепел от вида красного околыша форменной фуражки паныча-кадета, приехавшего погостить к родителям. Барский кучер вёз барчука с железнодорожной станции как раз в то время, когда специально приставленный к бугаю дед прогуливал его по парадному двору. Громадный бык в ярости опрокинул бричку и покалечил лошадь. Паныч и кучер спаслись бегством только потому, что бугай занялся втаптыванием в грязь слетевшую с головы кадета фуражку. Покончив с этим, он долго ещё куролесил по всей Экономии. А потом как-то сразу

успокоился, принял от своего стража и камердинера пучок травы и, флегматично жуя, дал себя увести, как будто ничего не случилось.

Происшествие с быком было, конечно, не совсем рядовым. Но мы, дети, интересовались и такими вещами, на которые ни один взрослый не обратит внимания. Иной только плюнет и отвернётся, а бывает, что ещё и накричит: таскаете, мол, тут всякую гадость! Дохлой крысы не видели, что ли? Во-первых, если и видели, то далеко не все. Во-вторых, в таких случаях неизбежно возникал требующий изучения вопрос: когда и по какой причине крыса околела? Начинались рассказы о жизни крыс, а их было немало. По глубине и неисчерпаемости эта тема уступала разве только разговорам о нечистой силе.

В то раннее утро, которое память сохранила мне в мельчайших подробностях, я проснулся не от стука хвостины в стекло. Звук был совершенно иной, неясный, но чем-то тревожный. Некоторое время он не повторялся, и я подумал было, что это мне почудилось во сне. В чуланчике было тихо, очень светло и по-обычному уютно. В оконце проскальзывали тёплые и ласковые солнечные лучи. Отражаясь от банок и глазурированных горшочков на полках, лучи по-хозяйски расположились на противоположной стене под оконцем в виде зелёных и красноватых бликов. Кроме того что солнечные зайчики были красивы, они обладали ещё приятной подвижностью и добрым нравом. Каждое утро весёлые блики на стене приветствовали моё пробуждение радостным танцем. Если же они не догадывались иногда сделать этого сразу, то достаточно было напомнить им о себе, слегка стукнув в стену кулаком или пнув стеллаж с полками ногой. Но сейчас необходимости в этом не было. От тарактения проехавшей по улице телеги зайчики танцевали особенно лихо и весело. Правда, значительно ниже своего обычного места на стене. Это значило, что солнце взошло совсем недавно, и утро стоит еще очень раннее.

Успокоенный пляской весёлых зайчиков и тишиной, я перестал прислушиваться. Опустил голову на подушку и чуть было опять не уснул. Но тут странный звук повторился снова. Он был глухой и невнятный, похожий на сдавленный стон. Я отбросил одеяло и спустил ноги со своего ларя. Теперь тишина была уже какой-то тягостной. Но

продолжалась она недолго, её опять нарушил тот же звук. Ещё после двух или трех его повторений я понял, что это такое: с нашей кухни доносился женский плач. Спрыгнув с ларя и путаясь в доходившей мне почти до пят рубашке, я прошлепал через тёмные сенцы и открыл дверь на кухню. Лицом к ярко пылавшей печи, но довольно далеко от неё, на табуретке сидела мать. Уронив голову и уткнувшись лицом в ладони, она плакала. Было видно, как дрожат и конвульсивно дергаются проступающие сквозь тонкую ситцевую кофту её плечи и худые лопатки. Пытаясь сдержать рыдания, мать подпирала подбородок нижней частью ладоней, а пальцами старалась зажать себе рот. Но спазмы в горле сдержать она не могла. Они-то и прорывались у неё время от времени тем вибрирующим, хватающим за сердце звуком, который встревожил меня даже во сне, хотя он и не был громким. А потом и совсем разбудил. Мать, сидевшая к двери спиной, не заметила моего появления. Я не мог понять, отчего это она плачет, но тоже начал всхлипывать и постанывать ещё стоя на пороге. А потом подбежал к матери и с плачем вцепился в её старенькую кофту. Не меняя позы и не оборачиваясь, она привлекла меня к себе. И не в силах более сдерживать крика, запричитала во весь голос:

- Сыночек ты мой, сиротиночка ты моя бедная... - и снова закрыла лицо руками.

Причитания по поводу сиротства её детей я слышал от матери ещё на Малой Охте. Но тогда она плакала не так горько, да и причина для этого плача была очевидной - жандармы увели куда-то нашего отца. Кроме того, год назад я ещё не мог воспринимать горе матери с такой остротой, как теперь, хотя и не знал пока его причины.

Открылась дверь из комнаты, и на её пороге появились в одних рубашонках, как и я, обе мои сестры. Тайка заплакала сразу же и вцепилась в материнскую кофту с другой стороны. А Поля осталась на пороге, непонимающе глядя на нас и плаксиво морщась всем своим круглым добрым личиком.

Сначала я заплакал просто потому, что плакала мать. Вопрос, почему мы плачем, возник у меня уже после появления здесь сестёр. Было очевидно, что произошло что-то очень плохое. Вероятно, маму кто-то сильно обидел.

Но кто именно и как? Я начал тормошить её, выкрикивая сквозь слёзы:

- Чего ты плачешь, мам?

Но она не отвечала, продолжая заливаться слезами и причитать что-то о несчастных сиротах и своей горькой доле. Мне показалось даже, что меня она совсем не слышит. Тогда, ухватившись за руки матери и почти повиснув на них, я попытался оторвать от её лица прижатые к нему ладони. Однако руки были у неё сильные, и мне это не удалось. Но потом мать сама отвела их, чтобы обхватить за плечи меня и Тайку. Теперь мы видели лицо мамы, опухшее от слёз, и её дрожащие губы. Судорожно хватая ртом воздух, она проговорила срывающимся голосом:

- Вой... вой... на, деточки... Война, будь она трижды проклята... - и снова закрыла лицо руками.

Само по себе это слово я знал давно, и оно не вызывало у меня никаких горестных или ужасных представлений. Скорее, наоборот. Всё связанное с понятием войны казалось мне интересным, красочным и ярким: увлекательные игры, красивая военная форма, блестящее оружие, самые интересные игрушки. Настоящий смысл жестокого слова мне тогда только ещё предстояло постигнуть. Правда, очень скоро и достаточно полно. Но своё зловещее звучание оно приобрело для меня уже в то далёкое утро моего детства, чтобы никогда уже более не изгладиться из моего сознания.

На пороге кухни появился отец. Его возвращение домой в такой час, да ещё в самом начале страдной поры было явлением совершенно необычным уже само по себе. Вид у отца был подавленный и удручённый. Как тогда, когда у него были неприятности с жандармским управлением. Он молча посмотрел на нас, шагнул вперёд и тяжело опустился на лавку. Обернувшись, мать впиалась в лицо мужа вопросительным взглядом, в котором сквозила безнадежность.

- Запасным первой очереди приказано явиться на комиссию в 3-в завтра, - сказал отец. - Сегодня приедет чиновник из воинского присутствия. Шей вещевого мешок, Марфа!

Она опять закрыла лицо руками и простонала, как от зубной боли. Мы с Тайкой не знали, что такое запасные

первой очереди и воинское присутствие, но снова громко заревели. Плакала теперь и Поля. К хору наших голосов вскоре присоединился Серёжка, всеми забытый на родительской кровати в комнате. Но его голос не был созвучен с нашими. Эгоистичный несмышлениш просто требовал не то безотлагательного кормления, не то ещё чего-то, ему нужного, нисколько не интересуясь ни объявленной накануне войной, ни неотвратимостью немедленной отправки на фронт его отца, ни всеобщим горем.

А на другой день отец, мать, я с Тайкой и даже маленькая Поля стояли в большой толпе на площади перед волостным правлением. Дома под присмотром соседки остался один только Серёжка. Провожать первую партию мобилизованных, несмотря на страдную пору, вышло чуть ли не всё село и многие из рабочих и служащих Экономии. Призванных мужчин среднего возраста можно было сразу узнать по их небольшим, но туго набитым холщовым мешкам с ляжками и тесно обступившим каждого из них домашним. Такой же мешок был и у нашего отца. Мать сшила его ещё вчера, и он долго оставался влажным от её слёз. А сегодня утром она укладывала в этот мешок насушенные за ночь сухари, сало, кусок простого мыла, две смены белья, иголку и нитки. Она пыталась ещё сунуть в него домашние коржики и пироги, но отец не позволил.

Я уже знал, что мужчины с мешками – это уже не просто дяди, а «запасные первой очереди» и «нижние чины». Все они прошли действительную службу в армии, а некоторые, как мой отец, побывали даже на японской войне. Кое у кого из таких на груди блестели маленькие крестики и медали. Воинские награды отца тоже перекечевали из рамки над комодом на его сатиновую рубашу. На бархатной подложке от них остались только синие тени на слегка выцветшем фоне. Несмотря на удрученность от предстоящей разлуки с отцом, я и теперь испытывал за него настоящую гордость. Никто здесь не шёл в сравнение с ним по числу крестов и медалей на груди.

Мобилизованных вызывал по списку с высокого крыльца волости какой-то военный, рядом с которым стояли урядник и сельский староста. К фамилиям вызываемых офицер обязательно добавлял их воинский чин – «рядовой» или изредка «унтер-офицер». Те отзывались

из толпы словом «есть», которое они выкрикивали громким, деланно бодрым голосом. И сразу же за этим «есть» раздавался женский плач. Громкий, в голос, с протяжными причитаниями почти всегда принадлежал жёнам. К неподдельному горю женщины, отныне «солдатки», тут часто примешивался ещё элемент некоторой традиционной демонстративности, почти обязательной тогда на селе при расставании супругов на людях. Горе матерей ни в какой демонстрации не нуждалось, и они глухо рыдали, повиснув на плечах у своих сыновей. Иные из пожилых женщин так и не могли расцепить конвульсивно сжатых старческих рук. Таких мягко, но настойчиво оттаскивали чуть в сторону их седоусые мужья. Отцы прощались с сыновьями последними, соблюдая приличествующую мужчинам сдержанность.

- Ну, прощевай, сынку! - говорил сыну старик. - Начальство слухай, а батька з мамкою тэж нэ забувай...

- Прощевайте и вы, - отвечал сын, сам уже нередко отец семейства, отступив на шаг и в пояс кланяясь родителям.

Затем он надевал шапку, предварительно быстрым движением той же шапки проведя по глазам. Вскидывал на плечи свой мешок и направлялся к толпе призываемых, собравшихся на краю площади у начала дороги в город. Провожающие перед ним расступались, давая уходящему на войну широкий проход. По этому же проходу за мобилизованным следовала и вся его семья, в которой только его собственных детей бывало уже по пять-шесть душ. Окончательно вопрос о пригодности для военной службы призванных решала военно-медицинская комиссия в 3-ве. Но почти все запасные первой очереди были мужчинами во цвете сил, и из того, первого набора в нашем селе, насколько я помню, не был выбракован ни один человек.

Из работников брезелевской Экономии в этот набор, кроме нашего отца, попали ещё двое служащих - дворецкий и столяр Хома Панкратович. Дворецкий, какой-то малоприметный, несмотря на свою довольно видную должность человек, оставался таким же и тут. Тихо плакала его жена, тётка Мотрина, а дети, двое мальчишек дошкольного возраста, насупленно молчали. Зато гром-



ко, как на кладбище, причитала столяриха, сопровождаемая дружным хором целой оравы ребят.

- Старший унтер-офицер Путинцев! - выкрикнул офицер с крыльца.

- Есть! - отозвался отец.

Он не пытался, как большинство ещё не бывших на войне солдат помоложе, изобразить себя бодрее, чем чувствовал. И ответил на вызов каким-то хрипловатым, как будто сорванным голосом. Мать, плакавшая и до этого, обхватила мужа за плечи и уткнулась лицом ему в грудь:

- Вернёшься ли ты, Егорушка?..

Он короткими, нервными движениями гладил её по спине и растрепанным волосам, как маленькую. В первый раз мать показалась мне как будто и в самом деле маленькой, требующей защиты и ласки. Мне стало нестерпимо жаль и её, и отца, и себя, и сестёр. Я тоже заплакал, хотя на протяжении более чем суток мужественно крепился. Заревели и сестры: старшая - уткнувшись в низ отцовской рубахи, Поля - вцепившись в юбку матери. Отец откашлялся, как будто у него запершило в горле.

- Ну ладно, Марфа, довольно... Детей береги...

Затем он поочередно приподнял нас с земли и поцеловал. Меня задержал дольше других:

- В школу, Димка, наверное, без меня пойдешь... Так ты там не очень задавайся, что шибко грамотный... Учителей и мать слушай...

- Унтер-офицер Путинцев? - уже нетерпеливо повторил с крыльца представитель воинского присутствия.

Отец опустил меня на землю и так же нежно, как только что мать, погладил по голове своей жесткой и тяжелой рукой.

- Письма-то будешь мне на войну писать, грамотей?

От волнения и слёз я не мог вымолвить ни слова и только часто закивал головой - буду, мол...

Когда по привезенному из 3-ва списку были вызваны все призываемые, провожающие сгрудились уже по сторонам дороги, обмениваясь с ними последними прощальными словами, наставлениями и пожеланиями. Все старались перекричать друг друга, в толпе поднялся многоголосый гомон и плач. Со двора волостного правления выехал верхом на лошади тот самый военный, который вызывал людей с крыльца, и скомандовал:

- В колонну по четыре стройся!

Под усилившиеся крики и плач мобилизованные кое-как вытянулись в подобие колонны.

- Шагом марш!

Люди тронулись, почти не соблюдая ни равення, ни строя. Формально, впрочем, они ещё и не были солдатами. Их родные шли рядом. Отец шагал крайним в одном из нестройных рядов. Мать, держа на одной руке Полю, другой держалась за его рукав. Рядом, боясь быть оттёртыми, цеплялись за её юбку мы с Тайкой.

- Про нас не забывай, Егорушка! - умоляющим голосом говорила мать. - Побереги себя... Тебя убьют, и мы пропадем...

- Не всех же убивают, Марфа... - Но голос отца звучал глухо, неубедительно.

Сельская дорога-улица в центре села, довольно широкая, потом резко сузилась. Плетни садов и огородов подступили почти вплотную к её проезжей части. Толпа провожающих оказалась вытесненной назад. Когда же плетни кончились и дорога пошла уже между неогороженных полей, все бросились догонять колонну. Мать тоже попыталась это сделать, однако не смогла. Задыхаясь от бега под палящим солнцем, с тяжёлой ношей на руках, с волосами, выбившимися из-под платка, она почти не видела дороги. И, споткнувшись на высохшей колее, упала. Громко закричала ушибленная Поля. Мы видели, как отец издали махал нам рукой, приказывая остановиться. Перекрывая шум толпы, невнятно донесся его голос:

- Береги детей, Марфа...

Но мы все-таки продолжали брести в толпе стариков и совсем маленьких детей далеко позади уходивших. А те поравнялись уже с сельским кладбищем. За его старым плетнём и заросшей бурьяном канавой, среди почерневших покосившихся крестов топорщились пунцовые головки будяка и темнели заросли высокой крапивы. Это был дальний угол деревенского погоста. Тот самый, который становился виден из окон нашей кухни, когда вырубали кукурузу.

Много лет спустя, читая гаршинские «Записки рядового Иванова», я вспомнил это наше горестное шествие мимо кладбища. Ведь и оно могло бы сказать тем, кого мы тогда провожали: «Остановитесь! Зачем идете вы уми-

рать среди чужих полей?» Только день был не осенний и хмурый, как тот, в который уходил на войну с турками полк Иванова, а яркий и солнечный. По сторонам дороги колосились тучные, ещё не скошенные поля. И наверное, не погосту, а им, этим полям, принадлежал тогда по праву голос Родины:

– Остановитесь! На кого вы нас покидаете?

Но труженики и кормильцы, отцы, мужья и сыновья уходили. Скоро их нестройная колонна скрылась за поворотом дороги, и над золотым морем колосьев остались видны только плечи и голова всадника, через минуту и они погрузились в необъятное море спелых хлебов.

А мы – ссутулившаяся, сразу как будто постаревшая женщина и трое прильнувших к ней ребят – остались стоять на пыльной дороге и долго ещё глядели вслед ушедшим. Я и Тайка уже понимали, что эти люди отправились не просто в отлучку, а на войну, с которой возвращаются далеко не все. Возможно, и мы со своим папой попрощались сегодня навсегда. Но даже если он и вернется когда-нибудь, то очень нескоро. А до того нам нужно будет жить с одной только мамой, отчего и ей, и нам придётся очень плохо и трудно. Только маленькая Поля ничего этого ещё не понимала. Она устала от жары и духоты, хныкала и просилась «на ручки». Мать поправила на голове снова сбившийся платок, провела его концом по сухим уже теперь воспаленным глазам и подняла девочку на руки:

– Ну что же, пошли...

Она произнесла это каким-то глухим бесцветным голосом. И мы побрели домой, как с похорон, низко опустив головы.

Вспоминая этот печальный день во времена своей тоже не слишком весёлой молодости, я часто думал о нём как о конце своего детства. Позже я понял, что это не так. Хотя и кажется иногда, что гнетущая действительность может почти полностью лишить ребёнка возможности творить главное богатство своего духовного мира – иллюзию, превращая его в печального маленького взрослого. Но так только кажется. Ребёнок всегда остается ребёнком, а детство – детством. Нередко случается даже, что будучи несчастливым, оно делает будущего взрослого духовно более богатым.

Часть 3

# Мировая война

Мое первое письмо отцу на фронт

Извещения о гибели солдат на фронте  
и первые инвалиды

Наши игры в казака Крючкова

Ранение и приезд отца на побывку

Пленные австрияки, чех Франц и его выдумки

Поступление в школу, тамошние порядки и нравы

Рождние брата Коли. Хрестоматия «Божий мир»  
и «Закон Божий»

Эпидемия дифтерии и смерть Поленьки

Беженка Марыся

Моя дружба с сыном лавочника  
и обязанности «шабес-гоя» в еврейской семье

Известие об отречении царя



«Здравствуй, отец наш и кормилец Егор Иванович! Кланяется тебе твоя жена Марфа Андреевна с детками: Дмитрием, Таисией, Пелагеей и Сергеем от белого лица и до сырой земли. И желаем мы тебе доброго здоровья и да хранит тебя Мать Пресвятая Богородица. А ещё кланяется тебе твой кум Степан Гаврилович с кумой Горпиной Тарасовной и детками: Олександром, Григорием, Оксаной и Панкратом от белого лица и до сырой земли. А ещё кланяется тебе шорник Кондрат Пахомович с женой Меланьей Трофимовной и детками...»

Мать продолжала увлеченно диктовать мне своё первое письмо мужу «на позицию», как называли в те времена фронт, не замечая, что я давно уже перестал писать и озадаченно перевожу взгляд с её лица на лист бумаги перед собой, испещрённый безобразными каракулями. Дело в том, что на половине отчества жены шорника кончилось всё, что уместилось у меня на одной стороне большого листа плотной разлинованной бумаги, выдранной из старой бухгалтерской книги и наполовину заполненной цифрами. Вторая же сторона этого листа была густо заставлена ими почти целиком.

Для меня было уже очевидно, что поклонам по всей форме ото всех собравшихся на нашей кухне, чтоб передать их Егору Ивановичу, не хватило бы и пяти таких листов. Прослышав, что мы получили, наконец, весточку с его адресом – до этого было только одно коротенькое письмо из маршевого батальона, – добрый десяток соседей по Экономии явились к нам, чтобы лично присутствовать при написании ему ответного письма из дома. Места на лавке не хватило. Один из гостей сидел на перевёрнутом ведре, другой примостился в углу на дровах. Было на кухне ещё три табуретки. На одной стоял на коленях я, опираясь о стол локтями, так как и теперь писать мог только в такой позе. На другой, напротив, сидела мать. Третью

табуретку занимала дебелая Горпина Тарасовна на правах ближайшей соседки, кумы и лица, снабдившего нас бумагой. Это она принесла использованный конторский «гроссбух», к сожалению плотно заполненный на девять десятых цифрами.

- Ну, чего остановился? - заметила, наконец, мать мою растерянность.

Я молча протянул ей исписанный лист. Она повертела его и так и этак:

- Сколько поклонов отписал?

Я сказал. Теперь уже она озадаченно посмотрела на присутствующих. Те кричали, потирали подбородки и скребли затылки, передавая друг другу моё творение.

- А ты мельче пиши! - посоветовал кто-то.

Советовать-то, конечно, можно. Но я и так изо всех сил пытался писать мельче. Однако какая-то неодолимая сила как будто распирала мои буквы изнутри. Если ценой невероятных усилий и удавалось иногда выписать буквицу потощей, то следующая за ней раздувалась до совсем уж великанских размеров. В результате в строке помещалось не более четырех-пяти слов. Крайне неэкономно использовалась ёмкость страницы и по вертикали. Несмотря на четкие горизонтальные линии бухгалтерского бланка, буквы никак не хотели выстраиваться вдоль этих линий. С неодолимым упорством они карабкались куда-то вверх или перелезали на нижнюю строчку, нередко загибаясь ещё ниже. Моя расточительность по части использования места на дефицитной бумаге была сравнима разве только со словесной расточительностью цветистого традиционного стиля тогдашних простонародных писем, одна мысль отступить от которого хотя бы по части риторических повторений никому из собравшихся и в голову не приходила. Перемножившись друг на друга, эти два вида расточительности почти сразу завели наше мероприятие в тупик.

Я вовсе не был тут единственным грамотеем, который мог бы написать письмо под диктовку. Тот же конторщик Санько сделал бы это гораздо лучше меня, не говоря уже о самом Степане Гавриловиче. Но мать очень хотела, чтобы письмо было написано именно мной. Во-первых, это очень порадует нашего отца в его окопном неприюте, а во-вторых, наличие в семье собственного

писаря избавляло её от необходимости обращаться с постоянными просьбами о написании письма к посторонним людям. И, наконец, это было делом престижа нашей семьи и моей чести как известного на всю округу вундеркинда. Я тоже понимал все эти доводы и взялся за каторжное для меня дело с полным сознанием его важности. Однако в своей войне с беспорядочно расплывающимся стадом букв, густо перемешанных с бесчисленными кляксами и отпечатками моих пальцев, я терпел сейчас явное поражение. Писал я по требованию матери чернилами – карандаш-то быстро стирается! – и вымазал ими не только руки и нос, но даже кончик языка. От напряжения я держал его высунутым чуть не до половины и загнутым далеко вбок.

– Что же делать, раз не помещается! – сказала Горпина Тарасовна.

Конторщице-то, конечно, было хорошо! Даже её трёхмесячный Панкратка успел отбить воину на передовой свой поклон «от белого лица и до сырой земли». А вот другим казалось обидно.

– Может, для моих найдется место на другой сторонке? – заискивающе спросил шорник.

Мать сравнила оставшееся место на листе с уже использованным и вздохнула.

– Нет, никак не хватит!

Детей у Кондрата Пахомовича было восемь душ, а в письмо надо было вместить ещё его заключительную фразу. Притом тоже составленную по обязательной, почти канонической форме. О том, чтобы втиснуть в заляпанный лист какое-нибудь деловое сообщение, говорить уже не приходилось.

Шорник досадливо крякнул, поднялся со своего места на лавке и, обиженно нахлобучив картуз, вышел. За ним потянулись остальные. Не дописав даже окончания отчества шорниковой жены, я перешел к стандартной формуле концовки. Писать-де больше нечего. Все мы, слава Богу, живы-здоровы, чего и тебе, отец наш, желаем. Выше, под столбцами цифр в графах «Деб.» и «Кред.» писарским почерком Степана Гавриловича было аккуратно выведено «Итого по странице» и проставлена сумма рублей и копеек.



При всей трудности написания самого письма для меня ещё более трудным и ответственным делом было надписание конверта. Тут ничего нельзя было оставить недописанным. В отличие от чеховского Ваньки Жукова я уже знал, что письмо тогда по адресу не дойдет. Слов же на небольшом прямоугольнике конверта надо было уместить великое множество. На беду таких, как я, писарей условные «почтовые ящики» тогда ещё не были изобретены. Письма нужно было адресовать на ближайшее к расположению воинской части почтовое отделение. И только затем писать слова: «Действующая армия» и «Полевая почта», трёхзначный номер пехотного стрелкового полка, номер батальона, роты и полный титул старшего унтер-офицера Егора Ивановича Путинцева. Полк отца стоял тогда на территории Царства Польского вблизи какого-то «фольварка» под чертоломным названием Грум-Бржечишки. Приходится удивляться терпению и добросовестности тогдашних почтовиков, военных и гражданских, умудрявшихся доставлять абонентам миллионы писем с такими громоздкими адресами, да ещё надписанными грамотеями, подобными мне. В этих адресах, как правило, не было и намёка на знаки препинания, далеко не всегда соблюдался нужный порядок слов, не говоря уж об искажении географических названий по причине малограмотности. А через пятьдесят с лишним лет министр связи СССР, отвечая группе журналистов, ставивших в пример его ведомству четкость работы дореволюционной почты, заявил, что царская почта обслуживала-де преимущественно привилегированные классы России. Журналисты, правда, напомнили высокопоставленному советскому чиновнику, что дворяне и купцы не могли в один только первый год войны отправить шестьсот миллионов писем. Одно из этих писем, добравшихся до размокших от начавшихся осенних дождей окопов на русско-германской границе, было первым, написанным мною в моей жизни.

- Пиши мельче! - умоляюще твердила мать, пока я, закусив чуть не до крови язык, пытался укротить проклятую склонность непокорных букв к разбуханию. Но несмотря на все мои старания, адрес на лицевой стороне конверта полностью так и не уместился. Отчество и

фамилию адресата пришлось перенести на его обратную сторону.

Хотя в тот год мне ещё не исполнилось полных восьми лет, обязательных для приёма в приходскую школу, мать ходила просить заведующего этой школой и её «шефа», как называли бы теперь нашего священника отца Григория, чтобы меня зачислили в первый класс. Конечно, в порядке исключения, принимая во внимание моё высокое грамотейство. Ей, однако, отказали. Решить этот вопрос был волен только важный чиновник в уезде, именуемый инспектором народных училищ. К нему и следовало обращаться с подобной просьбой. Но отправиться в самый 3-ов мать не решалась, и моё поступление в школу пришлось отложить до следующего года.

Несмотря на мобилизацию значительной части крестьян, батраков, а также постоянных рабочих и служащих Экономии – после первого набора вскоре последовал второй, – урожай и на крестьянских, и на помещичьих полях был убран в тот год без потерь и весь обмолочен. Уже в первые месяцы войны можно было заметить, что взрослое население приобретает облик, характерный для военного времени: в нём начинали преобладать женщины и старики. Изменился и состав курских кацапов, приехавших, как всегда, копать и вывозить с полей сахарную свеклу. Парней и молодых мужиков среди них теперь почти не было. Женщины работали даже возчиками, чем прежде занимались только редкие бабы-бобылки. Появилось неизвестное мне прежде слово «солдатки». Солдатками теперь были не только моя мать, жены столяра и дворецкого, забранных вместе с нашим отцом в первый же призыв, но и шорничиха Маланья Трофимовна, мужа которой призвали на войну несколько позже, несмотря на целую ораву детей, табельщица Явдоха и много других женщин. С каждым месяцем их становилось всё больше.

По вечерам солдатки собирались на нашей кухне потолковать о войне и нарастающих трудностях жизни. Прежде всего – о тяжком бремени, которое накладывала на их плечи необходимость одной, без мужа, прокормить ребятишек. Поэтому самыми несчастными считались те, у кого их было много. Женщинам, у которых детей было поменьше, солдатки остро завидовали. Я почти всегда присутствовал при этих разговорах и прислушивал-

ся к ним, хотя многого понять не мог, как, впрочем, и сами женщины. Почему, например, у образованных людей потомство всегда малочисленнее, чем у «простых»? У учительницы Катерины Титовны с мужем, фельдшером сельской амбулатории, только двое ребят, а у молодой барыни Веры Николаевны и всего-то один сын! А у всех этих Гапок и Христин, у которых подчас и есть почти нечего, к тому же возрасту уже по пять-шесть душ детей! Почитай, ни одного года после замужества не обходится без ребёнка... В этом, по мнению солдаток, заключалась одна из несправедливостей устройства мира. А в связи с отсутствием кормильцев-мужчин вопрос о такой несправедливости стоял особенно остро.

Дети требовали хлеба, но они же мешали женщинам этот хлеб зарабатывать, что вызывало у некоторых молодых матерей чувство озлобления, граничащее с ненавистью. Особенно резко эти чувства проявляли они к «грудникам». Имея на руках грудного младенца, почти невозможно было заработать копейку на уборке свеклы, треплении конопли или других работах в Экономии. Некоторые из «наймиток» пробовали таскать сосунков с собой на работу. Но даже у этих бедняг существовало представление о пределе выносливости их детей. И не всякая решалась держать своего младенца в пору холодных осенних дождей на куче ботвы где-нибудь под телегой. Некоторые бегали в свой единственный перерыв в течение бесконечного рабочего дня к себе на село, чтобы покормить ребёнка. В остальное время он должен был довольствоваться лишь «куклой» – завернутым в тряпочку жёванным хлебом. От такой кормёжки младенцы быстро превращались в дистрофиков, но с удивительным упорством продолжали жить.

– Уж помер бы, что ли, – сокрушалась иная, – а то ведь ссохся весь, изморщился, как старый дед! А всё живёт, матери душу надрывает...

Нелегким было положение и в нашей семье, хотя Серёжка был уже отнят от груди. Мать иногда ходила стирать бельё в прачечную при господском доме. Эта прачечная работала лишь от времени до времени, по мере того как в барской семье накапливалось грязное бельё. За работу здесь мать получала какие-то гроши плюс право питаться вместе с челядинцами на дворовой кухне. Кроме того,

ей по приказу старой барыни в дни работы выдавали снятое молоко из господской молочной. Раздача этого молока происходила еще до начала работы, поэтому мать по утрам брала меня с собой, чтобы я отнёс домой полученное молоко. Свежий «обрат» всё же лучше, чем постоявший полдня в тёплой прачечной. С крынкой, завязанной в платок, мы шли через угрюмый и мокрый осенний сад, мимо еще тёмного господского дома к небольшому домику с высоким крыльцом, стоявшему на парадном дворе. Это и была «молочная», в которой удой от нескольких десятков великолепных семментальских коров перерабатывался на сливки и масло. Большая часть отходов этого производства шла на корм телятам и поросётам. А то, что оставалось, отдавали некоторым рабочим и служащим Экономии по выбору всё той же старой барыни. Вставала она едва ли не раньше всех своих слуг и самолично распорядилась на молочне с раннего утра – это была главная сфера её хозяйственной деятельности. Когда, многими годами позже, я увидел изображения старинных русских барынь на картинах художников XIX века, их облик оказался мне знакомым. Точно такой же была старая и старомодная баронесса Брезель. В своём чепце, капоре середины прошлого века, окаймлённом кружевной оторочкой, с крючковатым носом на морщинистом лице и суковатой палкой в руках, она казалась мне сквозь пар молочни неприступной и грозной властительницей, от которой лучше было держаться подальше. Я, пожалуй, нисколько бы тогда не удивился, если бы барыня огрела клюкой какую-нибудь недостаточно расторопную работницу. Под стать её внешности был у старой Брезельши и голос – повелительный, резкий и громкий.

Самым интересным предметом в молочне был сепаратор. Что-то вроде пузатого эмалированного самовара с большим колесом на боку, которое крутила за ручку толстая сенная девка. Мне очень хотелось рассмотреть хитрую машину поближе, но из страха перед барыней я на это так и не решился. Получив литра два синевато-белой жидкости и назидание матери не упасть по дороге и не разбить крынку, я отправлялся обратно через всё ещё тёмный сад уже один. Дома я будил Тайку в тех редких случаях, когда её ещё раньше не поднимал своим криком Серёжка. Мы умывались, подметали пол. Затем завтра-

кали картошкой, сваренной матерью и не успевшей ещё совсем остыть. Поля имела право подниматься позже, хотя она тоже несла обязанности младшей няньки при особе Серёжки. Правда, эти обязанности сводились пока только к присмотру, чтобы Его Величество не расквасило себе нос или не опрокинуло на себя чугунок с кипятком. Квалифицированное же обслуживание брата в тех нередких случаях, когда Серёжка напускал под себя лужу, производила в отсутствие матери только его старшая нянька. Тайка занималась этим весьма добросовестно и с чувством ответственности за порученное дело. Иногда не обходилось без шлепков и ворчания, что у людей вот дети как дети, а у нас... Покрикивала Тайка и на свою не слишком поворотливую помощницу. Поля была склонна уделять куклам и просто ничегонеделанию куда больше внимания, чем брату. Но спрос с неё был ещё мал. А вот себе самой маленькая хозяйка позволяла заниматься куклами только по вечерам, когда возвращалась с работы мать. Она по-прежнему рассаживала их вокруг своего самовара, но была теперь с ними более строга, чем прежде. И очень экономна.

- Ты зачем в свою чашку вторую ложку сахара бухнул? - ловила она на расточительности и жульничестве все того же Димку. - Забыл, что ли, что война на дворе?

В дни работы в прачечной в обеденный перерыв, запыхавшись, прибежала мать и приносила полагающуюся ей порцию борща и каши из «людской» столовой барского дома. На мне лежала обязанность притащить к этому времени дров из сарая, растопить печь на кухне и поставить к огню чугунок с картошкой. Обычно мать приносила ещё несколько толстых ломтей хлеба, добытых всё на той же челядинской кухне. Всё это она отдавала нам, уверяя, что знакомая стряпуха тайком кормит её в рабочее время. Иногда, возможно, это и было правдой, но вряд ли всегда. Мать тут же убегала, а мы с Тайкой обедали без неё, кормили младших, мыли посуду и снова подметали пол. Когда всё было в порядке, мать, вернувшись с работы, хвалила нас и говорила, что вот уж порадуется отец, когда узнает, какие славные дети у него растут. Случалось, однако, что мы с сестрой не могли поделить между собой какие-нибудь обязанности, ссорились и даже дрались. В результате такого несогласия нужное дело оставалось не-

выполненным, посуда – невымытой, а то и разбитой. Тогда мать нас ругала, жаловалась на судьбу, ниспославшую ей таких лентяев и неслухов, и говорила, что попросит Санько или ещё кого-нибудь из чужих людей, чтобы тот написал отцу о наших художествах. И как всякий раз при воспоминании о муже, на лицо матери набегала тень, а мысли неизменно переключались на её Егорушку. Где-то он сейчас? Жив ли ещё? Понурившись, она умолкала и смахивала рукавом набежавшую слезу.

С фронта пришло уже немало извещений о воинах, павших смертью героев за «Престол и Отечество». И всегда в таких случаях в хате, в которую сельский почтальон приносил почтовый печатный бланк, получивший впоследствии название «похоронки», раздавался плач в голос овдовевшей солдатки и рёв осиротевших ребят. Их, как правило, на руках не старой ещё матери оставался целый выводок. Первым из нашей Экономии был убит господский кучер красавец Тимофей. Перед хаткой его вдовы, молодой, дородной и тоже красивой Мотри, собралась целая толпа, так как в самой хатке могли поместиться только близкие друзья и родственники семьи погибшего. Мы с матерью тоже стояли в этой толпе, слушая, как молодая вдова, оставшаяся с двумя маленькими детьми на руках, выпевает в хате поэтические формулы древнего плача. Обычай запрещал женщинам в таких случаях выражать своё горе произвольным образом. Собравшиеся слушали с искренним сочувствием и в то же время с молчаливым вниманием к тому, насколько истово выводит Мотря древние, как народное горе, слова:

– Соколику ж ты мий ясный! Да какие ж вороны чёрные выключють твои очи, да какие ж ветры буйные косточки твои поразвеют...

Мужчины стояли, опустив головы. Почти все солдатки, в том числе и моя мать, вытирали слёзы. У любой из них черед «выть» по мужу мог наступить уже завтра. Это случалось всё чаще. Голосистые женские плачи постепенно стали как бы обычным явлением, и толпы, собиравшиеся по этому поводу, становились все меньше.

Солдатские письма часто приходили из прифронтовых и тыловых госпиталей. В них сообщалось о тяжёлых ранениях и увечьях. На селе появились первые отпущенные «по чистой» инвалиды войны с пустыми рукавами

гимнастёрок цвета хаки или деревяшками вместо ноги. Женам калек остальные солдатки завидовали – хоть безногий или безрукий, да есть теперь мужик в доме.

Работать в господской прачечной мать нанимали всего лишь на несколько дней в месяц. Поэтому она стирала бельё иногда ещё на квартире управляющего Экономией. Но это был предел занятости, на который ей можно было рассчитывать тут в зимнее время. Прокормить себя и четверых детей на такой заработок мать, конечно, не смогла бы, если бы не овощи с огорода, хранившиеся в погребе, который тоже был при нашем домике. В лавке Евтеева мы покупали только простую муку, соль, спички, керосин да по временам ещё растительное масло. Все эти продукты, хотя и медленно, дорожали. Сахар в нашей семье стал роскошью. Теперь мы пили сладкий чай только по праздникам, кладя в стакан не более одной ложки сахарного песка. Зависть старших детей вызывал теперь Серёжка, которого мать иногда подкармливала манной кашей – в чулане хранился небольшой запас манной крупы. Эту пищу богов получал самый бесполезный и самый иждивенчески настроенный член нашей семьи. Впрочем, постепенно и Серёжка переходил на пустые капустные щи и вареную картошку с солью.

Когда мать не работала на подёнщине, наша кухня по вечерам опять превращалась в клуб солдатских жён. Разговор шёл всё о том же, но жалобы на трудность прокормить ораву ребятишек становились всё отчаяннее.

– Они меня саму, кажется, скоро съедят! – говорила нестарая, но уже морщинистая и худая солдатка, устало сгорбившаяся на лавке.

И я тут же представлял себе, как на эту костлявую женщину набрасываются и гложут семеро её голодных детей. Всё острее проявлялась и нынешняя зависть многодетных женщин к малодетным, в особенности же – к вовсе бездетным. Бабы часто перемывали кости какой-нибудь Глушачихе, которая, прожив с мужем лет пять, так и не «понесла». Прежде к ней откосились с презрительной жалостью – на кой чёрт бабе-неродихе и на свете-то жить? Теперь же, когда её Степан ушел на войну, бездетная женщина казалась остальным солдаткам настоящей счастливницей. Себя ей прокормить совсем не трудно, может отправляться «внаймы» хоть за сто верст, где больше пла-

тят. Даже на наряды у Глушачихи остаётся. Сама гладкая, подозрительно весёлая... Тут про весёлую солдатку начали говорить что-то злое, понизив голос и озираясь на меня. Я расслышал только, что кто-то подарил Глушачихе великолепные мониста, а кто-то другой даже красные черевички. Я не мог понять, что же тут плохого? Дают – бери!

О самой войне, причине всех бедствий, солдаты толковали не так уж часто и больше со знаком вопроса: для чего и кому она понадобилась? Существовало, правда, ходячее представление, что война ведётся в защиту Российского Отечества от войск германского царя. У немцев земли мало, и поэтому им скоро есть нечего будет. Так вот они и порешили поживиться за счёт русских. Отец как-то прислал с фронта открытку с карикатурой на кайзера Вильгельма. Изображение немецкого царя повторялось на ней дважды. На одном германский император в прусской каске с двуглавым орлом выглядел самоуверенно и браво. Усы у Вильгельма лихо топорщились кверху, под стать острию его каски, а сам он глядел весело и бодро. Подпись под этим изображением гласила, что оно сделано ещё до начала войны с Россией.

Вторая картинка изображала того же кайзера уже во время этой войны. Теперь вид у него был мрачный и унылый. Кверху торчал только один ус, другой же понуро свисал книзу.

– Чтоб ему и второй ус в землю вогнало! – зло сказала одна из солдаток, муж которой был тяжело ранен, лежал в каком-то прифронтовом госпитале, и было неизвестно, выживет он или нет.

Однако другие бабы, рассматривая картинку, проявляли больше любопытства, чем злобы. Никому из наших женщин ещё не доводилось видеть изображения хоть одного чужеземного царя, тем более германского. Особое внимание привлекли к себе торчащие усы Вильгельма.

– Как у того пана, что к нашему Брезелю в прошлом году приезжал! – заметила молодича, работавшая на парадном дворе телятницей.

Другие тоже видели этого брезелевского гостя, полка-управляющего большим помещичьим имением в соседнем уезде, наведывавшегося в нашу Экономию по какому-то делу. Возник вопрос – обязательно ли быть паном или царём, чтобы усы росли таким необыкновенным



образом? Мать снисходительно объяснила деревенским, что это достигается применением фиксатора – «диксатура», по её выражению. Ну, это вроде того, как хлопцы склеивают иногда волосы патокой, чтобы вихры не торчали...

С косметической темы разговор опять перекинулся на политическую.

– Уж если приспичило царям драться, – сказала жена мобилизованного шорника, – так нехай бы они меж собой и бились... А зачем им наших мужиков в это дело впутывать?

– Говорят же вам, Маланья Трофимовна, – терпеливо поясняла мать, – что немецкий царь землю у нас отобрать хочет...

– Вот и я говорю, – настаивала шорничиха, – выехали б цари вот на это поле да подрались бы себе на здоровье... А мы б посмотрели да и пошли б под того, кто сильней. Земли-то у нас с вами, Марфа Андреевна, только и есть, что под ногтями...

– А как же с верой быть? – возразила мать. – Наш-то царь православный, как и мы. А у немецкого, небось, и вера другая...

– Да пусть он себе хоть мочалу молится, – не сдавалась шорничиха, – а я буду своему Богу молиться!

– А если Вильгельм тебя под свою веру погонит?

– Я ему погоню... – угрожающим тоном заявила Маланья Трофимовна, однако прозвучало это заявление не слишком убедительно.

Идея поединка монархов на заснеженном кукурузном поле перед окнами нашей кухни мне очень понравилась. Из романа о рыцаре Гуаке я уже знал, как это делается. И живо представил себе выезд на поле двух всадников в латах и с копьями наперевес. Наш царь благообразный, с небольшой рыжей бородой и через плечо у него пунцовая лента. А у Вильгельма один ус торчит вверх и так же, как этот ус, торчит пика на шапке. У плетня за огородом толпится народ. Однако на этой начальной стадии боя двух царей моё воображение почему-то застревало. Возможно потому, что я не мог «болеть» ни за кого из них. Вильгельм был официальным недругом России, против которого воевал и мой отец. Но тот же отец был обижен

царём Николаем и не любил его – это я уже знал. Получался психологический тупик, и картина гасла.

Второй главной темой разговоров на нашей кухне после тягот жизни и войны было обсуждение снов. Каждая из женщин пространно, с мельчайшими подробностями рассказывала, что ей снилось за время, прошедшее со дня её последнего отчёта о своих сновидениях. Затем начиналось коллективное обсуждение вопроса, что бы эти сновидения могли означать или предсказывать. Признанным специалистом по части их толкования считалась моя мать. Она-то и делала большинство окончательных заключений. Однако не прежде, чем дотошно допытывалась не только о содержании сновидений, но и об обстоятельствах, при которых они привиделись. Сны, которые снились под пятницу, считались вещими, а под понедельник были «пустыми» – т. е. не имели никакого значения. Легче всего расшифровывались и считались самыми надёжными по своей предсказательной точности «простые» сны. Видеть во сне сапоги означало дорогу, лошадь – быть злонамеренно кем-то обманутым, собаку увидеть – встретить друга и т. п.

Я тоже считал себя достаточно компетентным человеком в деле толкования снов, так как с конторщиком Саньком прочёл почти до конца сонник Мартына Задеки. Толкования этого мудреца чаще всего не совпадали с принятыми у женщин, о чём я громогласно и заявлял иногда, довольно бестактно и не по чину вмешиваясь в их разговоры. В таких случаях чувствовалось, что мать охотнее всего просто прогнала бы меня с глаз долой. Но я был уже признанным грамотеем и ссылался к тому же на высокий халдейский авторитет Задеки. Поэтому она обычно заминала неловкость, заявляя, что я, наверно, что-нибудь спутал или не понял до конца.

Рассказывали бабы также о результатах своих визитов к «ворожкам», как называли здесь гадалок на картах. Таких гадалок в нашей местности было две. Одна – совсем старуха, жила в самой Брезелихе и обслуживала, главным образом, жительниц села. К услугам женщин Экономии была жена мобилизованного конюха, про которую говорили, что она как будто «в воду смотрит». Ворожеи, конечно, гадали не даром, а за деньги или чаще за подношения салом, пшеном, яйцами или ещё чем-нибудь

съедобным. Поэтому солдатки, в подавляющем большинстве бедствующие без мужей, к услугам ворожей прибегали не слишком часто, только в случаях особо тяжкой безвестности. Любопытно, что вера в предсказательную силу ворожбы сочеталась у нас с поговоркой «Будешь ворожить, когда нечего в рот положить», которую часто припоминала и моя мать.

К весне пятнадцатого года от отца очень долго не было писем, и мать извелась от тревоги и особо усердных и долгих молений перед иконами. Перед образом Богородицы она зажигала лампадку иногда даже в будние дни, вздыхая ещё и от того, что очень дорого стоило теперь деревянное масло. Но писем всё не было, и она решила идти к гадалке, хотя той надо было заплатить ещё дороже, чем богам. После долгих колебаний и размышлений мать решила, наконец, пожертвовать одной из трёх маленьких банок варенья, оставшихся ещё от последнего довоенного года. Захватив эту банку и меня – со мной она чувствовала себя почему-то увереннее, – мать направилась к ворожке. В хате гадалки сильно пахло мятой. Угол и чуть не целая стена были завешаны иконами и картинками на религиозные темы. Мысль, что ремесло ворожей находится в противоречии с официальной религией, никому тут, кажется, и в голову не приходила. Мы от порога перекрестились на образа, затем поклонились сидевшей под ними хозяйке:

– Здравствуйте, Параска Авксентьевна! – хотя до сих пор мать называла жену конюха просто Параской.

Та искоса бросила взгляд на банку, которую я развязал и поставил на лавку недалеко от двери, и, найдя, по видимому, подношение достаточным, сразу же достала из-за образов засаленную колоду карт.

– Твой трэфовый, что ли?

– Трефовый, трэфовый, Параска Авксентьевна! – закивала мать головой, усаживаясь на лавку рядом с хозяйкой.

На стол легло изображение бородача в короне и со скипетром в руке. Затем гадалка перетасовала колоду и начала сноровисто, в каком-то ей одной известном порядке раскладывать карты вокруг короля. Она перекладывала их с места на место, накладывала одну на другую «рубашкой» вверх, одни отбрасывала в сторону, другие

собирала, тасовала и раскладывала снова. Мать следила за манипуляциями ворожей с застывшим выражением тревожного вопроса на лице, пока та не ответила на этот немой вопрос:

- Жив твой трефовый, Андреевна. - Мать широко перекрестилась и облегченно перевела дух. - Только нехорошо ему сейчас, - продолжала гадалка, - постель тут у него скорбная...

- Ранен, наверно? - спросила мать, и губы у неё задрожали.

- Может ранен, а может болен...

- А жив-то хоть будет?

- Жив будет и здоров. Видишь, тут ему казенная дорога выпадает. Может это дорога домой... А на сердце у короля червонная дама... Это, Андреевна, по тебе твой трефовый убивается...

Выходя от гадалки, мать благодарно крестилась.

- Слава тебе, Господи, хоть жив наш кормилец... Может, ранен не очень сильно, так на побывку его домой отпустят... Дай-то, Господи!

Улучшившееся настроение матери передалось и мне, и уже не так было жалко банки варенья, отданной ворожее.

А та действительно «как в воду глядела». Через несколько дней пришло письмо из какого-то полевого госпиталя. Отец писал, что ранен пулей в бедро не слишком тяжело, но и не очень легко, кость тоже задета, хотя и слегка. На время выздоровления его обещают отпустить домой, и, вероятно, скоро он к нам приедет. Мать прямо-таки расцвела от счастья и на все лады расхваливала искусство Авксентьевны. Вот уж мастерица по части карт, как по книге по ним читает! В этот день мы ели, как на праздник, не вареную картошку, а жаренную на конопляном масле и пили чай с вареньем. Мать открыла одну из оставшихся банок, но тут же накрепко завязала её снова. Теперь никакого чаепития до приезда отца не будет. Угощение нужно не только для него, а и для неизбежных при его появлении гостей.

Я много размышлял тогда о гадании на картах. Как это получается, что листочки раскрашенного картона имеют таинственную связь не только со скрытым от взгляда гадалки настоящим, но и с никому не ведомым будущим?

А что это так, явствует из многочисленных примеров, когда карты открывают свои тайны тем, кто умеет ими пользоваться. Как та же тетя Параска, например. Мне было невдомёк тогда, как, конечно, и многочисленным клиенткам профессиональных и полупрофессиональных ворожей, что необходимым свойством этой профессии является достаточно тонкое психологическое чутье, пусть даже не всегда до конца осознанное его обладательницей. Кроме того, гадалки типа нашей Авксентьевны сами были женщинами, да ещё солдатками. Поэтому они совершенно точно определяли и душевное состояние своей клиентки, и её очередную жизненную ситуацию, не столь уж сложную при всей ее драматичности. А подвести под наиболее вероятный ход событий результат манипуляций с картами, да ещё пользуясь всеми этими туманными «казенными дорогами», «пустыми хлопотами» и «пиковыми интересами», было не так уж трудно. Нарочитой неопределенностью или двусмысленностью готовых формул своих предсказаний оракулы издавна слагают с себя всякую ответственность за их точность. Характерно, однако, что сельские гадалки явно воздерживались даже от предположительного толкования комбинаций карточных фигур очень уж неблагоприятным образом. Повидимому, щадя душевное состояние солдаток, они шли при этом на некоторый риск снижения своего престижа в тех нередких случаях, когда на их мужей приходили похоронки. Параска Авксентьевна твердо заявила, что муж Марфы Путинцевой жив, хотя она и не могла не понимать, что в любой день может прибыть извещение о его гибели.

В первые же месяцы войны особым царским указом на всей территории Российской империи был объявлен сухой закон. Фабрикация и продажа спиртного повсеместно запрещалась. Это событие тоже, разумеется, отразилось в кухонных разговорах, хотя и нельзя сказать, чтобы оно затронуло солдаток очень уж сильно. Пьянство всегда было сомнительной привилегией мужчин, а они составляли теперь незначительное меньшинство населения. Да и вообще, как я уже писал, в украинских сёлах того времени пили только в праздники, да и то в меру. Пьяницы были достаточно редким исключением. Поэтому интерес женщин к сухому закону был до какой-то сте-

пени отвлечённым. Они могли рассуждать о том, сколько времени может прожить настоящий пьяница без «горилки». Что такой пьяница умрёт, если оставить его совсем без спиртного, сомнений ни у кого не вызывало. Но одно дело, например, сельская пьянчужка бабка Степаниха, у которой в чём ещё только душа держится, другое – какой-нибудь краснорожий Никита, бывший панский объездчик. Этот Никита давно уже спился, был уволен из Экономии и просил под церковью милостыню «на пропой души». Но если Степаниха отдаст концы через какую-нибудь пару недель после закрытия монополюшки, то крепкий, по крайней мере с виду, мужик промучается, чего доброго, целых полгода...

Нечего говорить, что мрачные прогнозы наших женщин в отношении не столь уж многочисленных сельских пьяниц не оправдались. И те благополучно дожили до времени, когда застигнутый вначале врасплох сухим законом, изобретательный русский народ не нашёл весьма действенных средств для борьбы с этим безнадежным мероприятием.

Уже сошёл снег, и на полях производился посев яровых, на помещичьих землях – конными сеялками, на крестьянских, как водится, вручную. Я и мать вскапывали свой огородик, ставший для нас теперь главным источником жизни. Тайка со своей помощницей кормили на кухне Серёжку. Чтобы расширить площадь огорода, мать, к немалому ребячьему горю, решила убрать знаменитую качель. Мы вырыли столбы, распилили их на дрова и теперь обрабатывали площадку, плотно утрамбованную детскими ногами. Лопату местами нельзя было вогнать в землю простым нажимом ноги и приходилось тюкать ею грунт, как ломом.

– Как будто чёрт горох тут молотил! – с досадой сказала мать, выпрямляясь, чтобы вытереть пот с лица. Взглянув на дорогу, ведущую в село, она вдруг вскрикнула: – Господи, да кто ж это едет?

Со стороны господского сада сюда катилась телега, в которой кроме дядьки, правившего лошадей, сидел ещё какой-то человек в военной форме. С полминуты мать всматривалась в военного, потом отбросила лопату и с криком «Егорушка!» бросилась бежать навстречу едущим. Да так быстро, что я, на что уж был мастак бегать, едва

за ней поспевал. Не дожидаясь, пока телега остановится, она прыгнула в неё и обхватила человека в форме за шею:

- Егорушка, живой!..

И громко, как будто произошла какая-нибудь беда, зарыдала. Фуражка с кокардой слетела с головы отца и покатилась по дороге. Испугавшаяся лошадь понеслась вскачь.

- Тпру, тпру!.. - кричал возчик, натягивая вожжи.

Телегу еле удалось остановить только перед самым нашим домиком.

- Что ты, Марфуша, что ты...

Отец мягко высвободился из ее объятий и смущенно надел поданную мной фуражку. Он показался мне очень красивым в погонах унтер-офицера с крестами и медалями через всю грудь. Я успел заметить, что этих наград у него ещё прибавилось. Слезая с телеги, отец болезненно поморщился, и я вспомнил, что он недавно ранен. Затем он пошарил на дне повозки и достал толстую палку. Мать хотела взять его вещевой мешок, но отец не позволил:

- Сейчас он мне нужен будет.

Поблагодарив крестьянина, подвезшего его от самой станции, отец пошёл к нашему домику, тяжело опираясь на палку. С одной стороны, пытаюсь поддержать раненого мужа под локоть, шла мать, не сводившая с него счастливых глаз, с другой стороны бежал я, держась за широкий солдатский ремень отца. Я тоже, конечно, был очень рад его приезду, да ещё в столь импозантном виде. В ближайшие дни мне будут завидовать все окрестные мальчишки. Жаль только, что приехав с войны на побывку, отец не захватил с собой из окопов никакого оружия... Навстречу нам мчалась Тайка с развевающимися по ветру белокурыми волосами. Поля стояла на крыльце, жмурясь от солнца и с некоторым испугом разглядывала незнакомого человека в необычной одежде. Из открытой двери кухни доносился обиженный рёв брошенного всеми Серёжки.

По тогдашним понятиям, сохранявшимся в народе ещё долгие годы, всякий возвращающийся домой должен был привезти хотя бы символические подарки. Отступление от этого правила было признаком предельно бедственного состояния. Поэтому подарки везли даже солдаты с фронта. Матери отец подарил простенький деревенский платок, купленный за солдатские гроши на

каком-то пристанционном вокзале в Белоруссии, мне – целую обойму стреляных винтовочных гильз, малышам – кулёк карамелек. Из этого кулёка мы все тут же получили по конфете. Остальное мать спрятала:

– К чаю!

Были ещё извлечены из солдатского мешка немецкие галеты, захваченные вместе с вражеским интендантским обозом (они выдавались раненым в госпитале), пачка чая и сухари.

Но самый роскошный подарок достался Тайке. Это была большая, явно очень дорогая кукла с красивым фарфоровым лицом, но в сильно выпачканном платье со следами переехавшего её тележного колеса.

– В панском фольварке нашёл, – с некоторым смущением сказал отец, – на дороге валялась...

Вскоре я от него же узнал, что таинственный фольварк – это по-польски имение, вроде нашей Экономии, но поменьше. Хозяева прифронтовых усадеб бежали от войны, захватив с собой самое ценное. Остальное разграблялось местными жителями, а солдатам доставалось иногда только что-нибудь вроде этой куклы, никому уже не нужной. Тайка кукле, конечно, страшно обрадовалась и сразу же назвала её Палажкой. Мне же в этом изделии показалось интересным разве только то, что Палажка умела закрывать и открывать глаза в зависимости от того, в каком положении её держать. Сестра заметила этот интерес, и как только я притронулся к кукле, воинственно закричала:

– Не дам ломать!

А я и не думал её ломать, очень нужно!

Отец был отпущен домой только до заживления раны и подлежал возвращению в строй, как только врачебной комиссией при уездном воинском начальнике будет признан снова боеспособным. Поэтому периодически он должен был являться на медицинское освидетельствование в 3-ов. Отец ездил на эту комиссию дважды и прожил с нами немногим более месяца. Но уже через неделю по просьбе нашего управляющего он помогал ещё малоопытному механику Петрусю при ремонте локомотивов. Правда, не бесплатно. Владелец имения обещал ему неплохо уплатить за эту услугу.



По вечерам к нам приходили гости, но уже совсем другие, чем в отсутствие отца. Это были почти исключительно мужчины, либо так и не взятые на фронт по возрасту или состоянию здоровья, как наш сосед конторщик, либо уже отпущенные домой по инвалидности. Отец заслуженно считался самым бывалым и грамотным из всех, кто побывал уже не на одной войне. Он много видел, много знал, а следовательно, по общему мнению, должен был разбираться в политических и военных событиях лучше других. А они, эти события, волновали и остро интересовали всех. Прежде всего, вопрос о причинах затяжки войны. В её начале говорили, что нынешняя война продлится не более нескольких недель или – самое большее – месяцев. Но прошёл почти год, а на её окончание и намёка не было. Так в чём же дело? Так ли уж силён немец или у нас не всё в порядке? Даже я заметил, что ответ солдата-отпускника на этот щекотливый вопрос был не всегда одинаков. Он зависел от того, кто его задал и кто находился рядом.

Высылка из столицы, видимо, научила отца меньше бравировать опасными мыслями. Кроме того, унтер-офицер Путинцев был настроен тогда, в общем-то, вполне патриотически и не проявлял особого пессимизма. Одно дело неуважение к правительству, другое – желание победы своему народу. Война тогда ещё только начинала входить в стадию схватки на изнурение, а у русских войск, особенно на Юго-Западном фронте, нередко случались и обнадёживающие успехи. Поэтому отец почти не кривил душой, когда на вопрос управляющего именем – толстого, старого и страдающего одышкой человека – отвечал, что дела на фронте, слава Богу, идут ничего, а настроение у солдат бодрое.

Но когда вокруг были только свои, он неизменно начинал жаловаться на бестолковость главного командования и подавляющее превосходство немецкой военной техники и её боевого питания. Главная сила немца – в мощности артиллерийского и пулемётного огня. «Стволы» у него много и боеприпасов – невпроворот. Когда неприятель предпринимает наступление, то предварительно с помощью артиллерии перепахивает наши позиции в сплошное месиво из земли и солдатских тел. Мы же больше на «ура» надеемся, пуля-де дура, штык – моло-

дец! А какой он, к чёрту, молодец, когда у немцев через каждые пятьдесят шагов их окопов из особо укрепленного гнезда пулемет торчит! В траншеях у них, как в хорошей избе, стены тесом обшиты, а вдоль этих стен – лавки. Зимой немецким солдатам выдают жестяные банки с углем, пропитанным каким-то составом. Если этот уголь зажечь, то жестянка превращается в грелку, действующую много часов. С ней ног не отморозишь, как у нас. Вместо наших сухарей у немцев галеты, вместо тухловатой солонины – консервы. Есть даже такие, у которых двойное дно. В промежутках между днищами белый порошок насыпан. Если проколоть доньшко такой банки и поставить её в какую-нибудь лужу, состав начинает шипеть, разогревается, и мясо становится как будто на плите подогретым... Хитёр немец! Учён, умён и своих солдат бережёт... А наши генералы больше на русских баб надеются. Ничего, мол, что серая скотинка тысячами погибает, бабы новых защитничков Престола и Отечества наплодят... Недавний поднадзорный – с момента мобилизации на фронт никто таким формально более не считался – опять забывал, что он всё же «политически неблагонадежный».

Присутствующие невесело смеялись.

– Оно, конечно, – сказал сосед-конторщик, – каждый действует тем, чем он богат. Немец, вот, железом богат, а мы – людьми.

– Дурью мы ещё богаты! – сердито сказал отец.

Патриотизм уживался в нём с неистребимо критическим мышлением. Впрочем, только в таком случае любовь к Родине и может быть названа патриотизмом в хорошем смысле этого слова, без пренебрежительной приставки «ура» или «квасной». «Кто не ведает горя и гнева, тот не любит Отчизны своей». Но трудно приходится русскому человеку, ведающему это горе и гнев! Слишком часто его раздражает мучительное чувство раздвоенности, вызванное, с одной стороны, желанием добра своей Родине, с другой – сильным желанием схватить эту Родину за шиворот и основательно встряхнуть.

Отец с немцами воевал честно, а судя по его очередному кресту, и доблестно. Настоящей вражды к ним он, однако, не испытывал. Солдат ведь воюет не по собственной охоте. Любопытно, что территориальные приязнания немцев на Восточную Европу отец считал почти

оправданными морально. Как-то в совсем уж узком кругу он показывал открытку, подобранную им в захваченной немецкой траншее. Открытка изображала карту Европы, через большую часть которой, закрашенную зелёным, полукругом шла надпись по-немецки «Рюслянд». В центре полукружия, образованного редко расставленными буквами, дымилась большая жёлтая куча, от которой, подтягивая полосатые портки и пугливо озираясь, убегал русский мужик в лаптях. Мужика согнал с места над кучей немецкий солдат, бежавший, размахивая плетью из закрашенной розовым небольшой страны. На розовом было написано «Дойчлянд». У солдата с плетью были такие же усы торчком и остроконечная каска, как у Вильгельма с карикатуры.

- Значит, правду говорят, что немец хочет у нас землю отобрать! – сделала вполне правильный вывод из изображения на открытке мать.

- Дураков и в церкви бьют, – неопределенно ответил ей отец.

Она уставилась на него испуганно-недоумевающим взглядом.

- Так что ж, выходит, нам под немца идти? Он же тогда своего царя у нас посадит...

Отец досадливо поморщился:

- Ладно, не бойся! Отстоим мы и твоего царя-батюшку, и эту нашу кучу... – Он насупленно умолк, а я про себя подумал, что можно воевать честно и даже храбро, но приемля далеко не всё, за что воюешь.

После второй поездки в 3-ов отец получил приказ возвратиться в свою часть. Уезжал он в тарантасе управляющего, которому тоже нужно было в тот день на станцию, но до самого кладбища шёл пешком, хотя заметно ещё прихрамывал и опирался на палку. Рядом с возвращающимся на фронт солдатом понуро брели его жена, я и Тайка. Мать заплакала, когда отец сказал:

- Что ж, прощай, Марфа. Не убивайся зря, авось я и совсем ещё вернусь... – Он поднял от земли и поцеловал меня и сестру совсем как при первом прощании. – В этом году тебе, Димка, в школу уж непременно идти... Так помни, что я тебе говорил, не задавайся очень...

Отец забрался на тарантас, толстяк управляющий хлестнул лошадь, и тележка быстро покатила под гору.

Стояло раннее утро начала лета. Где-то наверху в море света заливался невидимый жаворонок. Кругом, насколько хватало глаз, зеленели поля. Привстав в быстро удалявшемся тарантасе, отец махал нам фуражкой. В это чудесное утро он уезжал на войну, которая, теперь я знал это, очень скверная штука и нет в ней ничего весёлого. От грохота пушек у людей там лопаются в ушах барабанные перепонки. А стреляют эти пушки снарядами, похожими на громадные пули, начинённые порохом. Снаряды разрывают человеческие тела в мелкие клочья, выворачивают их внутренности, отрывают руки и ноги. Хуже снаряда на войне нет ничего, как говорил отец. Пуля она что? – либо убьёт наповал, либо ранит, притом большей частью так, что отлежаться все-таки можно. Окончательно калечит она сравнительно редко. Конечно, с непривычки и пуле покланяешься. Но потом начинаешь её вроде и за свою считать. А вот «чемодан» – к нему не привыкнешь. «Чемоданами» отец называл тяжёлые немецкие снаряды. Есть ещё «шрапнель», что-то вроде снаряда-дробовика. Этот снаряд, долетев до цели, сам стреляет по ней крупной картечью с высоты сажен в пятьдесят. От него не скроешься ни в окопе, ни в снарядной воронке. Но больше всего всё-таки солдат боится проклятых «чемоданов». Хотя я точно знал уже, что это такое, однако отделаться от представления, что немцы стреляют по нашим окопам тяжёлыми, затянутыми в тугие ремни и начинёнными взрывчаткой страшной силы прямоугольными коробками с ручками для ношения, долго ещё не мог.

После отъезда отца в нашем доме установился прежний порядок, но работы было гораздо больше, чем зимой. Мать ходила теперь пропалывать свеклу на дальние помещичьи поля и возвращалась только поздно вечером. Заботы по огороду почти полностью легли на меня и Тайку. Постоянным телохранителем при Серёжке – он уже весьма энергично топал, переваливаясь на кривоватых ножках и на всё тараща удивлённые круглые глазёнки – состояла теперь Поля. Особенно строго ей было наказано глядеть за тем, чтобы её не в меру шустрый подопечный не забредал на проезжую дорогу и не свалился в нужник за огородом.

Несмотря на сильную занятость, я выкраивал время и для игр с мальчишками. Играли мы почти исключи-

тельно в войну, но уже совсем не так наивно, как делали это прежде. Наши представления о войне стали более сложными, конкретными и довольно разнообразными. Играли мы, например, в Кузьму Крючкова. Крючков был донской казак, шумно разрекламированный тогдашней военно-политической пропагандой как образец солдатской доблести и героизма. В одиночку действуя только винтовкой, шашкой и пикой, этот герой уничтожил будто бы целый кавалерийский отряд немцев. Портрет бравого Кузьмы в одетой набекрень фуражке лез в глаза не только с журнальных обложек, но и с цветных почтовых открыток, папиросных коробок, обёрток туалетного мыла и даже с конфет «Кузьма Крючков». Изобретателем игры в Крючкова был я. И в качестве такового пользовался преимущественным правом изображать в ней заглавную роль. Остальные участники этой игры, независимо от их числа, были моими противниками, заранее обречёнными на поражение и бесславное истребление. Главным атрибутом всякого казака был чуб, свисающий из-под его заломленной на правую бровь фуражки. Клок пакли, подложенный под принесённый кем-то непомерно большой отцовский картуз, одновременно изображал и этот чуб, и удерживал молодецкую фуражку на казацкой голове. Мы обернули старый картуз по тулье красной лентой, а над его полуоторванным козырьком наклеили бумажную кокарду. Фуражка получилась хоть куда. Верхом на палке, с пикой – выдернутым из метлы метловищем – в одной руке и деревянной саблей в другой, устрашая робких немцев своим чубом и ярким околышем, я бросался на них с обязательным в таких случаях криком «Ур-р-ра». Так как обе руки у лихого всадника были заняты оружием, то конь-палка удерживался в нужном положении при помощи одетой на шею верёвки. Немцы-кавалеристы, заносчиво гарцевавшие на таких же палках, при появлении легендарного героя сначала атаковывали его. Но большей частью тут же валились на землю вместе с конями, высоко задирая ноги. Остальные пускались наутек. Однако напрасно. Вскоре и их настигал и повергал в прах всё тот же непобедимый Кузьма.

Игра была высоко патриотической, но скоро надоела, так как допускала лишь очень ограниченное число вариаций. В этом смысле несколько интереснее были

игры в атаку русских на немецкие траншеи. Роль вражеских окопов выполняли многочисленные и разнообразно расположенные здешние каналы. Несмотря на отчаянное «р-р-р-р», издаваемое их защитниками и означавшее треск многочисленных пулеметов, мы уже знали, что пулеметы – это такие машины, которые прямо-таки хлещут пулями, как пожарная кишка водой. «Немцы» неизменно и быстро были выбиты из своих укреплений. Их почти всегда изображали самые малолетние участники игры, делавшие это с неохотой и только за неимением лучшей роли. Поэтому моральное состояние немецких войск всегда было весьма низким, что также немало содействовало их постоянному поражению.

Придумыванию военных игр очень помогал журнал «Огонек», отдельные номера которого иногда попадали к нам в руки. Как и все массовые журналы того времени, он издавался довольно бедно в тоненькой зелёной обложке. «Огонек» был одним из немногих периодических изданий дореволюционной России, название которого сохранилось до настоящего времени – его унаследовал известный советский журнал. Почти без изменений осталось и затейливое написание этого названия, выполненное в стиле конца XIX века. В годы войны этот журнал, как и все другие популярные издания, был заполнен почти исключительно корреспонденциями с «театра военных действий», победными репортажами и патриотическими статьями. Очень много места в нём занимали также фотографии и рисунки, изображающие эпизоды войны, портреты дам из аристократических фамилий, включая царскую, непременно в костюмах сестёр милосердия, фотографии офицеров, павших на полях сражений. А иногда и особо отличившихся солдат, вроде того же Кузьмы Крючкова. В конце журнала был раздел военной карикатуры, изображавшей в уродливом виде немцев и других военных противников России. Много места уделялось распространению идеи, что немцы не выдержат войны из-за своих продовольственных затруднений. В том же разделе военной шуток были напечатаны однажды стишки, отображавшие якобы содержание адресованного «муттер» в провинцию письма малолетнего немца, учащегося из Берлина. Письмо заканчивалось словами:

Ем я брюкву, пью я вассер  
И от голода распух.  
Гимназист второго класса  
Вальтер Бух.

Тут же был нарисован и портрет Вальтера Буха, мальчишки, пишущего письмо, тонкого как скелет, но с толстым брюхом.

Привлекали внимание картины немецких зверств: сожжённых деревень, трупов мирных жителей, виселиц с повешенными сербами. Но особенно поразила моё воображение фотография толстенной дубины, очень похожей на ту, с которой обычно изображают первобытных охотников. Только эта была ещё густо утыкана громадными гвоздями. Подпись под фотографией гласила, что такими дубинами немцы добивают на полях сражений раненых неприятельских солдат. Я долго размышлял над вопросом: а куда девают немецкие солдаты свои дубины, когда непосредственно им они не нужны? Не могут же немцы всё время носить их в руках! А если так, то куда можно спрятать оружие, по форме напоминающее ёрш для чистки ламповых стёкол, только гигантских размеров, веса и толщины?

Один из рисунков в «Огоньке» изображал грозовую ночь, во мраке которой, освещаемые вспышками молнии, двигались оцетинившиеся ножевыми штыками немецкие полчища. Среди леса этих штыков виднелся гигантский взрыв, взметнувший в чёрную высь людские тела, ружья, колёса повозок и даже стволы орудий. «Само небо против немцев», – патетически вещала подпись под рисунком. В тексте пояснялось, что во время передвижения немецких войск по собственным минным полям одна из молний ударила в какой-то фугас, и злые тевтоны подорвались на своих же минах. Возможно, что-нибудь подобное, совершенно не обязательно у немцев, действительно когда-нибудь и произошло. По картинкам в «Огоньке» мы знали, как выглядят современные пушки, пулемёты и даже броневики. И в меру своих возможностей, пользуясь подручными средствами, имитировали эти грозные орудия войны нового типа в наших играх. Кусок водосточной трубы, установленный на ручной двуколке, изображал пушку; самоварная труба, укреплённая на куске деревянного бруса с колесиками, выпиленными

из круглого полена и вращающимися на толстых гвоздях, была пулеметом и т. п.

В середине лета наша Экономия была взбудоражена прибытием из города большой группы, человек в полтораста, пленных австрийских солдат. Их пригнали к нам для работы в помещичьем имении. Австрияки шли по пыльной дороге, почти не соблюдая строя, в сопровождении двух конных стражников. Одеты они были в невзрачную и помятую серо-голубую форму. Самыми удивительными предметами этой формы, дотоле никем здесь не виданными, были смехотворные шапочки «пирожком» на головах военнопленных и их обмотки над грубыми ботинками. Вскоре в таких же обмотках, только жёлто-зеленого цвета, появились и вернувшиеся с фронта русские солдаты. Оказалось, что нужда хоть кого научит «юшку шилом хлебать», как говорили в Брезелихе. Поместили пленных австрияков в казармах для сезонников-мужчин, благо теперь эти казармы пустовали. В этом году с Курщины приехали одни только бабы. Рядом с баракком пленных в небольшой мазанке жили их постоянные конвоиры, те самые два стражника, которые сопровождали австрийцев на пути из 3-ва. Стражники были вооружены шашками и устаревшим огнестрельным оружием: револьверами «смит-вессон» и однозарядными винтовками-берданками. Впрочем, кажется, больше для формы. Работали пленные безо всякого конвоя. Их охранники или сидели в своей мазанке, или уходили куда-то на село. Подневольные рабочие косили и копнили сено, работали на молотилках, скирдовали обмолоченную солому. По всему было заметно, что для большинства пленных это была привычная работа.

- Хлеборобы, сразу видать, - вздыхали, глядя на худых, со впалыми глазами военнопленных, бабы-солдатки.

Но были среди австрияков и ремесленники, которых определили на работу в Экономии. Один стал помощником кузнеца вместо мобилизованного Савки, другой - подручным у Петруся, ставшего теперь машинистом вместо нашего отца. На войну его не брали из-за довольно сильной близорукости. Один австрияк заменил столяра, другой - шорника. В мастерской, где прежде работал многодетный Кондрат Пахомович, тачал теперь хомуты



и шлеи симпатичный пленный по имени Франц, чех по национальности. Видимо, заявку на комплект нужных ей мастеров Экономия сделала заранее.

Нас всех очень удивляло, что люди, одетые в одинаковую форму и служившие одному царю, вовсе не принадлежали к одному племени. Они часто с трудом понимали друг друга и поэтому держались отдельными группами. Настоящих же австрийцев – «швабов» – среди наших пленных и вовсе не было. Тут находились исключительно представители многочисленных славянских народностей «лоскутной империи»: чехи, словаки, западные украинцы – «галичане», как они себя называли. Они не хотели воевать за своих Габсбургов и при первой возможности сдавались в плен. Отсюда и происходила достаточность почти только символической охраны для этих бывших неприятельских солдат. Но нельзя сказать, чтобы пленные пользовались своей относительной свободой сколько-нибудь широко. Подавляющее большинство из них держалось в стороне от местного населения, даже от почти одноязычных с ними галичан. Возможно, этому способствовала неодинаковость вероисповеданий. Большинство западных славян были католиками, украинцы из Галиции – униатами. Правда, без романов военнопленных с солдатами на селе не обошлось. Хотя появились эти романы значительно позже и только один из них вылился в классическую форму, когда вернувшийся с фронта муж застал жену в объятиях австрияка. Но об этом потом.

Подавляющее большинство военнопленных вплоть до самого своего ухода из Экономии уже после ликвидации Русско-Германо-Австрийского фронта оставались какими-то нелюдимыми. Исключение составляли буквально единицы. Примерно через месяц после своего появления здесь, в самый разгар уборки хлебов, австрияки объявили забастовку. Они отказались продолжать работу, если им не будут улучшены бытовые условия, которые действительно были варварскими. Вместе с другими мальчишками и многими взрослыми из нашей Экономии я бегал смотреть на бастовавших пленных. Они выстроились в два ряда вдоль приземистого, крытого камышом барака-полуземлянки. На флангах этого строя, в небольшом отдалении от него, восседали на лошадях в

полном вооружении стражники. Между бараком и рядами пленных австрияков на длинных обеденных столах с врытыми в землю ножками-колыями стояли корыта с остывающим кулешом.

Как выяснилось потом, из-за этих-то корыт и загорелся весь сыр-бор. Пленные отказались из них есть.

Напротив двойной шеренги австрияков, чем-то сильно возбужденных и злых, стоял жёлтый брезелевский кабриолет, запряженный серой в яблоках лошадей. В экипаже сидел младший владелец имения Пётр Сергеевич Брезель, для чего-то всё время снимавший и протиравший своё пенсне. Рядом, с трудом взгромоздившись во весь рост на дрожки, к забастовщикам обращался с речью наш болезненно толстый управляющий. Слов этой речи я почти не разобрал, потому что её перекрывали хрюканье и поросычий визг. Эти звуки издавали пленные. У некоторых получалось очень похоже. Особенно у одного, совсем ещё молодого парня, увлечённо визжавшего на особо высокой ноте. Я ещё подумал, что для передразнивания старого толстяка, страдавшего одышкой и с трудом носившего свой колыхавшийся живот, низкое утробное хрюканье подошло бы больше. Оказалось, однако, что пленные никого не передразнивали, а таким способом изображали самих себя, намекая на вынужденное пользование для еды свинными корытцами. Только когда в своём кабриолете поднялся сам молодой пан, тоже явно взволнованный и расстроенный, и срывающимся голосом потребовал, чтобы претензия военнопленных была ему выражена членораздельно, хрюканье смолкло. Из рядов бастующих выступил уже немолодой, худой и высокий чех. Излишне громко для наступившей тишины он выкрикнул слова, разъяснившие главную причину конфликта:

– Мы есть человеки, люди... Мы не хотим кушать с корыт, как свинья.

Владелец имения сказал, что теперь он понял претензию и постарается уже в ближайшее время её удовлетворить. Корыта будут заменены мисками. Однако сию минуту этого сделать нельзя. Поэтому он требует, чтобы военнопленные съели свой обед и немедленно приступили к работе – в страду дорог каждый час. Барон вынул из жилетного кармана часы, сверкнувшие на солнце жёл-

тым блеском. На обсуждение его предложения он даёт забастовщикам один час. Если по истечении этого времени они не прекратят это безобразие, он вынужден будет позвонить в 3-ов с просьбой о вызове в имение воинской команды. Пан спрятал часы, откинулся на сиденье, и коляска укатила.

- Р-разойдись! - крикнул забастовщикам, топорща усы, наш сельский урядник, тоже оказавшийся здесь рядом со стражниками.

Его команда, однако, никакого действия не возымела. Пленные сбились в кучу и, видимо споря, начали о чём-то громко галдеть.

- Р-разойдись! - опять прокричал урядник, и снова безо всякого эффекта.

Тогда обескураженный представитель властей обратил своё рвение уже на нас, непрерывно растущую кучу малолетних и взрослых зевак. Взрослые сделали вид, что им и без окриков урядника совсем неинтересно тут оставаться, и ушли по своим делам. А мы, ребята, хотя и разбежались, но тут же заняли новые позиции за плетнями, чтобы наблюдать за продолжением событий.

Из толпы спорящих австрияков вскоре отделилась кучка пленных. Они вернулись к столам с ненавистными корытами и стали угрюмо хлебать остывший суп. Постепенно к этим штрейкбрехерам присоединились почти все остальные. Только несколько человек с безразличным видом улеглись на траву и, закинув под голову руки, стали смотреть в высокое небо с редкими кучевыми облаками. Потом те, кто съел свой обед, поплелись на поля, а кучку упрямцев урядник и стражники увели в контору. Вероятно, там их подвергли повторному увещанию, потому что один за другим угрюмые австрияки из домика конторы выходили и брели на работу. И только двоих, так и не пожелавших поверить помещику на слово, прибывшие из города стражники в тот же день увели в 3-ов. Одним из них был тот, который говорил «Мы есть человек!» Рядом со своим товарищем, невысоким смуглым и усатым черногорцем, он шагал по пыльной дороге в мундире внакидку, вызываясь засунув руки в карманы брюк. Это были первые увиденные мною люди, для которых чувство собственного достоинства оказалось сильнее приманки сытного пойла.

– В тюрьму посадят теперь австрияков, – жалостливо вздыхали вслед арестованным бабы, в том числе и моя мать.

Это уж от века, что русские женщины сочувствуют всем угнетённым, в особенности «арестантикам». Но увы, без намёка на мысль об активном протесте против этого угнетения.

Через несколько дней после этих событий из города привезли, притом не только для австрияков, целую телегу синих эмалированных мисок. Сплошной соломенный настил на нарах заменили хотя тоже соломенными, но тюфяками, сшитыми из старых мешков. Нашлись люди, которые говорили, что вот, мол, стоило только чужакам, что ещё вчера воевали против нас, заикнуться о мисках и тюфяках, как эти роскошные условия были им тут же предоставлены. А нашим бы небось... Некоторые резонно им возражали: а вы заикались? Ведь двое австрияков, признанных зачинщиками «корытного» бунта, в тюрьму из-за этих мисок пошли...

Одного из военнопленных, весёлого черноусого шорника Франца мы, ребята, очень полюбили и вечно толкались в его тесной, полутёмной, пропахшей выделанной кожей каморке. Общество детей Франц явно предпочитал всякому другому. Возможно потому, что он и сам был не по возрасту ребячливым, хотя и вовсе не дураком. Чех рассказывал нам разные забавные истории, которые от его нерусского акцента и частой необходимости заменять слова жестами становились ещё смешней. Франц был знатоком и выдумщиком всевозможных шутейных каверз, не всегда безобидных, но неизменно очень смешных. От нас он секрета из них не делал и вскоре приобрел целый отряд своих помощников и подражателей. Однажды с нашей помощью изобретательный чех соорудил довольно сложную систему рычагов и верёвочек, превращавшую качание дерева в работу небольшой колотушки, которая могла быть установлена довольно далеко от этого дерева.

Действие изобретения было испытано на управляющем, квартира которого находилась в самом здании конторы. В тёмный ненастный вечер мы закрепили колотушку на одном из наружных подоконников его квартиры. При каждом порыве ветра толстая палка гулко стучала в раму окна, а толстяк управляющий в одних под-

штанниках выбегал на крыльцо с ружьем в руках и угрожал застрелить скотину, хулиганящую возле его дома. Однажды он даже выстрелил вдоль стены, у которой притаился предполагаемый хулиган. Но тот оказался неуязвимым и неустрашимым и в ответ на выстрел заколотил в окно ещё сильнее.

Франц также усовершенствовал известный нам и ранее способ пугания людей в темноте. Заключался он в том, что подожженную лучину нужно было сунуть тлеющим концом в рот и, зажав зубами, сильно и прерывисто дышать, отчего тление становится ярче. Получается страшная ощеренная пасть, светящаяся изнутри багровым перемежающимся светом. Пугающая рожа стала ещё страшнее с тех пор, как по совету Франца мы стали рисовать печной сажей на физиономиях заливчатские, закрученные кверху усы.

Однажды в воскресенье, когда военнопленные тоже не работали, Франц принёс старое жестяное ведро с дырками по бокам. В ведре оказались тлеющие самоварные угли, на которых лежала подкова. Объяснять нам смысл очередной затеи долго не пришлось. Мальчишками она сразу же была понята и одобрена. Затаившись со своей снастью в канаве за плетнём, тянувшимся напротив забора барского сада вдоль дороги в Экономию, мы, как только вдали показывался редкий прохожий, бросали горячую подкову на середину дороги. Но её колея была покрыта толстым слоем пыли, в которой подкова наполовину тонула, и поэтому несколько прохожих подкову просто не заметили. Более цепкий глаз оказался у лавочника Евтеева, направлявшегося в гости к нашему управляющему – они были кумовьями. Его физиономия при виде находки расплылась от удовольствия: подкова – вещь в хозяйстве полезная и, говорят, приносит счастье. В следующую секунду «счастье» обернулось возгласом «Ой!» и отчаянной руганью на всю окрестность. Лавочник, тряся обожжённой рукой, долго ещё ругался, недоуменно озираясь по сторонам, а мы с Францем давились от смеха, лёжа в бурьяне за плетнём. Однако Евтеев оказался верен самому себе. Наругавшись, он поднял подкову с земли суковатой хворостиной, некоторое время нёс её на весу, а затем, предусмотрительно поплевав на железо, сунул находку в карман.

Мне шёл уже девятый год, и я был зачислен в нашу приходскую школу. По умению читать я годился бы и для третьего класса, но принять меня хотя бы во второй было нельзя. Во-первых, этому воспрепятствовал бы всё тот же формалист-инспектор. Во-вторых, несмотря на свою скороспелую грамотность в чтении, я в письме оставался совершенно небрежным каллиграфически. Когда я похвастался своим умением писать перед нашей учительницей, довольно ещё молодой, но строгой и сухова-той Катериной Титовной, та только вздохнула и покачала головой. Это было на первом уроке чистописания. Она показала нам, как надо в тетрадках, разлинованных «по трём косым» выводить примитивные палочки. Мне, уже написавшему на фронт почти десяток писем, такое задание показалось до смешного простым и лёгким. Лихо измарав целую страницу, в то время как другие корпели только ещё над первой строкой задания, я хвастливо поднял правую руку и со скучающим видом подпер щеку левой – готово, мол! Однако учительница, заглянув в мою тетрадь, не только не пришла в восторг от такой скорописи, но и поморщилась, как от зубной боли. Хотя длина палочек задавалась расстоянием между горизонтальными линиями тетради, а их направление – пересекающими эти линии «косыми», мои палочки не были ни прямыми, ни ровными, ни параллельными. Они напоминали кривые загогулины в беспорядке и «то густо то пусто» разбросанные по тетрадному листу.

Не лучше, правда, обстояло дело и у многих других моих одноклассников. Но там это вызывалось полнейшим неумением, у меня же – закоренелой привычкой. Я криво сидел за партой, неправильно держал в руке карандаш. А главное, твердо усвоил высокомерное пренебрежение ко всему, что касалось аккуратности написанного. Оно ведь предназначено для чтения, а не для любования! Катерина Титовна честно и не один год пыталась исправить последствия бессистемного обучения меня письму. Однако ей, уже достаточно опытной учительнице, это так и не удалось. Долгие десятилетия потом я страдал сам и заставлял мучиться других от своего отвратительного почерка.

Зато на уроках по чтению и арифметике делать мне было почти нечего. На занятиях с букварём и с огромными

школьными счётами я скучал, баловался, всем подсказывал, притом не столько из желания помочь незнающему, сколько из стремления показать свою учёность. Поэтому учительница часто выгоняла меня в коридор. Он был у нас широкий и довольно длинный. Добрую треть этой длины занимала вешалка, для которой отдельного помещения не было, хотя наша школа, построенная всего несколько лет назад на средства Брезелей, принадлежала к лучшим в округе. В ней были не только четыре комнаты для занятий, по числу классов – просторные, светлые и высокие, но даже учительская. В том же здании помещалась и квартира заведующего школой.

Выгнанные из класса, если позволяла погода, обычно болтались во дворе. Но когда шёл дождь или было очень уж холодно, приходилось околачиваться в коридоре. Я всегда старался при этом держаться поближе к вешалке на случай, если мимо пройдёт наш заведующий Филипп Андреевич или отец Григорий, преподававший в старших классах Закон божий. Их возможное внимание к наказанному за дурное поведение ученику являлось крайне нежелательным, и в случае их появления можно было быстро спрятаться за одежду. Однако скрыться таким же образом от назиданий нашей сторожихи тётки Катри, дежурившей во время уроков под часами и звонившей, когда приходило время, в большой звонок на длинной ручке, было невозможно. Она отличалась склонностью читать длинные нравоучения выгнанным из класса и предсказывать им весьма скверное будущее. Заметив выглядывавшие из-под чьего-нибудь полушубка ноги, тётка Катря отводила полушубок в сторону и укоризненно качала головой:

– Опять выгнали! Видно, хлопец, не хочешь ты учиться! Гляди, попрут тебя из школы совсем, как Игнашка Тарасюка...

Этот Игнашка сидел в двух первых классах по два года в каждом, пока не был исключён из третьего за уникальное хулиганство. Он принёс из дома клей, которым обмазывают стволы яблонь для защиты от гусениц, и намазал этим клеем стул учителя в классе. Прилип к нему сам Филипп Андреевич, строгий и благообразный человек в очках, с аккуратно подстриженной бородкой. Почувствовав что-то неладное, он хотел привстать со стула, но тот по-

тянулся за ним, сильно оттягивая книзу небогатые учительские штаны. Больше, чем заведующего школой, мы побаивались только нашего законоучителя и шефа – отца Григория. Однако картина, подстроенная Тарасюком, была настолько смешной, что весь класс прыснул. Остроумному изобретателю всяческих каверз в тот же день было объявлено, что он может убираться из школы на все четыре стороны и больше в неё не возвращаться.

Я пытался объяснить тётке Катре, что мой случай не совсем аналогичен случаю со знаменитым Игнашкой. Но сторожиха только повторила предостерегающе:

– Гляди, хлопче! Тот тоже, пока малый был, вроде ничего особенного не делал, а потом вон какое убоище выросло... – и заколотила в свой звонок, издававший удивительно резкий и громкий звук.

В то же мгновение, с первым ударом долгожданного звонка, двери всех четырёх классных комнат распахнулись настежь, и из них с невероятным шумом и гамом выкатились в коридор ученики. Школяры всегда и всюду отличаются шумливостью. Но мне до сих пор кажется, что рёв, издававшийся учениками сельских школ того времени, не имеет равных себе по громкости. Возможно, это потому, что средний возраст учившихся в них детей был гораздо выше нынешнего возраста младшекласников. Помимо того что значительная часть ребят начинала учиться в почти девятилетнем возрасте, в те времена широко практиковалось оставлять неуспевающих на второй, а часто и на третий год в одном классе. Некоторым, чтобы добраться до последнего четвёртого класса, требовалось пять, а то и шесть лет. Неудивительно, что многие из третьекласников были уже чуть ли не взрослыми парубками с кулаками по пуду, с уже пробивающимися усиками и лужёными глотками. «Ростом до неба, а дурны, як не треба», – говорила про таких тётя Катря. Но в сельской школе того времени хроническим «прошлогодникам» жилось совсем неплохо. Высокий рост и здоровенные кулаки давали им явное преимущество перед другими одноклассниками. Этими преимуществами прошлогодники, а тем более позапрошлогодники, широко пользовались для обирания своих более слабых товарищей. Стоило мне, например, развернуть на большой перемене тряпочку, в которую мать заворачивала мой скудный завтрак – пару



сложенных вместе кусочков чёрного хлеба, слегка при-  
трушенных сахарным песком или смоченных постным  
маслом, – как тут же появлялась протянутая рука нашего  
прошлогодника Панченко и раздавалось его требователь-  
ное: «Дай!» Я отламывал половинку одного из кусков, но  
требование уточнялось:

– Весь шматок давай!

Нередко случалось, что ещё какой-нибудь верзила от-  
бирал у меня и второй кусок. Мать возмущалась этим раз-  
боем среди бела дня и требовала, чтобы я пожаловался на  
вымогателей учительнице. Сразу было видно, что сама  
она никогда не училась ни в какой школе. Во-первых,  
на что, собственно, было жаловаться? Школьные «розби-  
шаки» назойливо попрошайничали, но силой они ниче-  
го ни у кого не отбирали: не хочешь – не давай... Другое  
дело, если жадине кто-нибудь походя и совсем по другому  
поводу залепит затрещину, от которой этот жадина, по  
ходящему выражению прошлогодников, тут же «нагадит  
пуд». Вымогатели были объединены в необъявленные  
корпорации. Ещё более крепкие и частые затрещины по-  
лагались ябедам, осмелившимся обратиться к учителю с  
жалобой на кого-нибудь из своих притеснителей. Случа-  
лось, что учителя и сами обращали внимание на поведе-  
ние особо наглых прошлогодников и вызывали в школу  
их родителей. Но это мало помогало – вымогатели давно  
уже притерпелись к отцовским кнутам и ремням.

Бурсацкой грубостью отличались и наши школьные  
игры. Самой популярной из них был род пятнашек, ко-  
торые назывались почему-то игрой в «свинопаса». Перед  
началом игры её участники мерялись на палке, кому ис-  
полнять в ней заглавную роль, то есть быть свинопасом.  
Это был весьма горестный жребий, так как вытянувший  
его становился предметом мучительства для остальных.  
Прислонившись к стене или к забору и имея право пере-  
мещаться вдоль этого барьера на очень ограниченном  
участке, шагов в пять, свинопас должен был увертываться  
от попаданий мяча, который с очень небольшого рассто-  
яния метал в него кто-нибудь из остальных участников  
игры. Главный фокус и смак этой игры заключался в са-  
мом мяче, называвшемся так весьма условно. Это был бу-  
гристый и увесистый ком величиной с небольшое яблоко,  
сплетённый из плотно связанной в тугие узлы бечёвки.

Им надлежало огреть живую мишень как можно хлестче и по самому чувствительному месту. От сильной боли свинопас не мог достаточно быстро воспользоваться своим правом подхватить с земли ударивший его мяч и послать его вдогонку убегавшим быстроногим мучителям. По правилам игры тот, в кого свинопас попал, менялся с ним ролями. Но такая возможность оставалась для него почти всегда лишь теоретической. Тем более что право бить по свинопасу предоставляли обычно самым испытанным мастерам этого дела. От удара некоторых несчастный мог только шипеть и потирать ушибленное место, даже не пытаясь поднять откатившийся мяч. А раз так, не прогневайся! Танцуй опять возле забора, пока тебя не огреют верёвочным жгутом в очередной раз. И так до тех пор, пока вконец избитого, нередко плачущего мальчонку не избавит от мук колокол тети Катри, извещающий о начале занятий или о конце перемены. Никому, конечно, не возбранялось просто убежать из молодецкой игры, не дожидаясь её окончания. Но его проводили бы общим улюлюканьем, немедленно записали бы в слабаки, доступ для которого как в эту, так и в другие коллективные игры был бы надолго закрыт. Поэтому все, особенно ребята помладше, предпочитали терпеть и отмалчиваться при допросах домашних, откуда у них на теле, обычно на ногах выше колена, эти круглые густо-синие кровоподтёки? Впрочем, такое место от глаз посторонних не так уж трудно и скрыть.

На переменах я старался поначалу держаться поближе к старому приятелю, конторщику Санько, учившемуся уже в третьем классе. Это был задумчивый долговязый малый астенического сложения, врождённый интеллигент. Пользы в драках от него было немного, и вскоре я привык надеяться только на собственные, пусть пока ещё не очень внушительные кулаки. Их недостаточную увесистость я возмещал злостью. А она, эта злость, была во мне довольно яростной в тех случаях, когда я считал обиженным себя или даже других. Поэтому, хотя мне было ещё далеко до настоящих кулачных авторитетов, в разряд всеми презираемых и угнетаемых хлюпиков я тоже не попал. Что же касается начитанности, способности изобретать сложные игры и прочего, что создавало мне и Санько такой авторитет среди «экономических» ребят,

то здесь всё это было ни к чему. Вот облить кому-нибудь свежесвыстиранные штаны чернилами или мазнуть по давно не стриженной голове полурастопленной смолой считалось среди наших школяров проявлением находчивости и остроумия. Большая часть подобных развлечений была заимствована ими из арсенала старших братьев, усатых парубков, веселившихся в долгие зимние вечера на «досвитках», как назывались здесь ночные посиделки. На этих досвитках, да ещё на лугу летом, во время ночного дежурства при пасущихся лошадях, откалывались и не такие шутки. Когда намного позже я познакомился с выражением «идиотизм деревенской жизни», его смысл дошёл до меня сразу. Не оказались для меня новостью и «Воспоминания бурсы» Помяловского.

В час, когда в нашей школе кончались занятия, узенькая улочка между нею и церковной оградой напротив заполнялась шумной оравой школяров. Узнать нас за добрую версту можно было по белой холщовой сумке через плечо. В ней, кроме книжек и тетрадей, находились ещё чернильница-невыливайка, пенал с карандашом, ручкой с пером № 86 и грифелями. Обязательной принадлежностью тогдашнего сельского школьника была ещё аспидная доска. Оправленную в деревянную рамку, её носили отдельно, просто в руке. Для обучения письму эти доски уже не применялись, но были весьма полезны при решении арифметических задач. Особенно после того, как тетради начали становиться дефицитным товаром.

Дома у нас уже с осени было уныло и голодно. Питались мы теперь почти одним только хлебом, картошкой и капустой. Мать была очень угнетена ещё и тем, что опять «носила». Солдатки, по-прежнему собиравшиеся у нас по вечерам, сочувственно вздыхали, поглядывая на её немудимо растущий живот. Мы с Тайкой тоже уже понимали, что это сулит нам не только прибавление в семействе голодных ртов, но и лишение для матери последней возможности заработать её горькие копейки, такие нужные для прокорма остальных ребят. Грудной ребёнок свяжет ее по рукам и ногам. И что это за напасть такая – появление у женщин всё новых и новых детей! Неужели нельзя сделать так, чтобы они не рождались?

Именно об этом и толковали иногда женщины на нашей кухне. Они вели малопонятные для меня, а ино-

гда и жутковатые разговоры о возможности прервать беременность. Рассказывали, как одной удалось «скинуть» при помощи отвара какой-то травы, которой её снабдила знахарка; другая добыла нужное снадобье у знакомого фельдшера в городе; третья выкинула, спрыгнув с довольно высокого обрыва. Это сделала молодая «покрытка», так называли здесь девушек, зачавших вне законного брака. Женщины не скрывали, что все эти противоестественные насилия над собой нередко кончаются плохо. Покрытка, например, после выкидыша стала «сохнуть» и скоро, вероятно, помрёт.

После этих разговоров мать, оставшись одна, часто плакала и молилась перед образом Богородицы, выпрашивая у неё чуда. Но она и сама не верила в это чудо и не называла его своим именем, хотя даже я, лежа на своём сундуке, понимал, что она молит Пресвятую деву избавить её от беременности. Добрые, точнее «положительные» с её точки зрения божества, создатели и устроители мира не могут нарушить ими же установленный порядок вещей в интересах отдельных слабых духом подданных. Другое дело – нечистая сила, знаменующая собой всё отрицательное. При почти равном с добрыми началами могуществе, эта сила не ограничена в своих действиях принципами формального благожелательства, благопристойности и благочиния. Она может свободно фокусничать, вызывая противоестественные и даже сверхъестественные явления, и действовать против законов божеской и человеческой морали, потакая слабодушию некоторых особо жалких рабов божьих и этим дезорганизовывая гармонию мира в своих интересах. Поэтому обращаться к услугам нечистой силы, несомненно, великий грех. Но Бог милостив к тем, кто нарушает его установления не по собственной злой воле, а будучи к тому вынужден неодолимостью жизненных обстоятельств. В отличие от Бога и его угодников демонические силы далеко не так общедоступны. Обращаться к ним на обыкновенном человеческом языке, как к той же Богородице, нельзя. Тут нужны специальные приёмы и формулы. Узнать эти формулы, конечно не бесплатно, можно было у сведущих людей – благо такие на селе были.

После долгих колебаний и выпрашивания у Бога прощения за предстоящий грех, мать отправилась к бабке,

знавшей секреты верных «заговоров» и «наговоров» на все случаи жизни. Знала эта бабка и способ сделать так, чтобы ребёночек родился преждевременным и мёртвым без применения какого-либо зелья или другого насилия над собой. Для этого достаточно подойти в самую полночь к одиноко растущему дереву рябины и произнести перед ним нужные слова. Я так никогда и не узнал, что это были за слова, сопровождавшиеся, вероятно, ещё какими-нибудь действиями и жестами. Мать дала колдунье клятву никогда и никому о них не говорить. И не сказала. Но об обстоятельствах, при которых она совершала свои заклинания перед кустом рябины в господском саду, я имею весьма точное представление, так как находился тогда в каких-нибудь двух десятках шагов от этого места.

После визита к ворожее, которой мать отдала за колдовскую консультацию свою совсем ещё мало ношенную кофточку, она ещё некоторое время колебалась, молилась и плакала. Но в конце концов решилась. Был поздний вечер ненастного дня конца осени. Младшие ребята и даже Тайка давно уже спали. Я же должен был сопровождать мать в её жутком и богопротивном предприятии. Перекрестившись напоследок на образа, мы отправились к забору, отделявшему глухой участок барского сада от ещё более глухого спуска к речке. Дело в том, что именно в этом углу, по ту сторону садовой ограды, рос едва ли не единственный во всей нашей округе куст рябины.

Шёл мелкий, холодный дождь. При порывах ветра водяные брызги с голых ветвей барабанили о жестяную кровлю невысокого кирпичного забора, которым был обнесён сад с этой стороны. Прижавшись к этому забору в зарослях пожухлого бурьяна и дрожа от холода и страха, мы с матерью ждали, когда церковный колокол пробьёт двенадцать ударов. Начинать колдовство следовало точно в полночь. Я очень хотел, чтобы церковный сторож на этот раз проспал и полночь не состоялась бы сегодня вообще. Но он не проспал. При первом же из двенадцати ударов мать вздрогнула и сделала движение, чтобы перекреститься. Вспомнив, однако, что при данных обстоятельствах крестное знамение было бы кощунством, а главное, оно могло вспугнуть нужную ей нечистую силу, она опустила занесённую было руку и прижала её к сердцу. Мне казалось, что я даже слышу, как оно стучит

в мистическом страхе. Срывающимся шёпотом мать попросила меня помочь ей вскарабкаться на забор, самой-то трудно с таким животом! Но дело было не только в животе. Я чувствовал, как дрожит всё её обмякшее тело. Было слышно, как она мешком свалилась на мокрую землю по ту сторону забора и с минуту не двигалась. Я даже подумал, что моя мама умерла от страха, и сам едва не свалился в обмороке по той же причине. Но потом за забором зашуршали кусты, мать, как видно, пробиралась к своему колдовскому дереву. Оставшись один, я трясся от страха, испытывая острое желание перекреститься и прошептать спасительное «свят, свят, свят». Но делать это было никак нельзя. Нечистая сила выступала сейчас нашим союзником в предотвращении появления на свет очередного младенца, способного только орать, разноцветно какать и выматывать у всех душу...

Наконец за забором опять зашуршали кусты не совсем в том месте, где мать перелезла через забор, и раздалось её слабое и дрожащее «Димка!» Я побежал к этому месту, взобрался на забор и протянул матери руку. Однако моя помощь была плохой, а она от страха и переживаний обессилела ещё больше. Наконец мать тяжело перевалилась по эту сторону забора, но при этом болезненно вскрикнула. Оказалось, что она сильно распорола себе ногу об отодравшийся от крыши ограды лист железа. Из раны обильно хлынула кровь, унять которую мы не могли. Поэтому шли домой, оставляя за собой кровавый след. Этот след, несмотря на непрерывный дождь, был заметен местами даже утром. Мать опиралась на моё плечо, плакала и говорила, что это Бог покарал её за обращение к тёмным силам. Потом она долго ещё ковыляла, объясняя любопытным свою повязку на ноге тем, что якобы обварила ногу.

Худшее же в этой истории состояло в том, что рябина не помогла. То ли бабка наврала, то ли мать не всё сделала как нужно. Но в одну из ночей, незадолго до наступления весны, почти в точности повторилось всё то, что происходило в ночь рождения Серёжки. Только на печке в кухне вместе со старшими ребятами сидел теперь и он. Тут было так же жарко, как и в тот раз, потому что перед огнём опять грелись огромные чугуны с водой. Так же стонала в комнате роженица, и так же, спустя неко-

торое время, там закричал новорожденный. Та же была и повитуха, только на этот раз помогал ей не муж роженицы, а знакомая молодница-солдатка. Очередной «богатырь» оказался нам с Тайкой ещё более сомнительным красавцем, чем его предшественник в день своего появления на свет. Серёжка тоже тарашил некоторое время глаза на новорожденного, а потом заявил решительно и недвусмысленно:

– Бяка! – Это слово он уже знал.

Скоро мы с Тайкой поняли, что сам он в этом возрасте действительно был в известном смысле «красавцем» и «богатырём», ибо всё познается в сравнении. В отличие от всех предыдущих детей у нашей мамы, пятый по счету ребёнок был слабеньким и хилым, с тоненькой шейкой, такими же ручками и ножками, он казался почти невесомым, когда возьмёшь его на руки. Мать часто плакала, перепелёнывая своего нежеланного сына, а приходившие взглянуть на него женщины вздыхали и говорили, что такими рождаются теперь многие дети. Происходит это от недостаточных и плохих харчей, которыми питаются их матери.

На этот раз она особенно долго болела после родов и в церковь на крещение сына опять не ходила. Снова отец Григорий произносил нараспев какие-то заученные слова, гулко раздававшиеся в пустой церкви. Крохотный живой комочек от окунания его в купель превратился в очередного «раба божия» и православного христианина по имени Николай. На этот раз «восприемниками от купели» были у нас табельщик, отпущенный, как и наш отец, на несколько недель с фронта после ранения, и его жена. Теперь и они тоже стали нашими кумовьями и именовались уже по имени-отчеству – Трофимом Семёновичем и Евдокией Нестеровной.

В очередном послании в действующую армию, которые я писал теперь довольно бойко, уместая на тетрадном листе по десяти поклонов «от белого лица и до сырой земли», отцу кланялся после всех прочих членов его семьи и новоявленный сын Николай. Средний возраст ребят в нашей семье ещё понизился, и даже Серёжка был переведен в разряд «больших».

Зато непрерывно повышался возраст солдаток, по-прежнему довольно часто собиравшихся на нашей кухне.

Теперь среди них немало было почти старух, так как на фронт забирали мужчин всё более зрелого возраста. Толковали о новых наборах и о способах от них избавиться. Достаточно, например, отрубить себе указательный палец на правой руке. Увечье незначительное, но стрелять с таким увечьем человек не может – нечем тянуть за спусковой крючок ружья.

Однако если в воинском присутствии распознают, что это сделано нарочно, то членовредителя могут посадить в тюрьму. Рассказывали о ловкачах, сумевших якобы симулировать плохое зрение или глухоту и отпущенных «по чистой». Один провёл дотошных и недоверчивых докторов, прикинувшись совершенным дураком, другой – не держащим мочи. Кажется, все это были легенды.

Товары продолжали дорожать, а некоторые – спички и керосин – начали исчезать и вовсе. Зажигать свою высокую лампу-«молнию» с круглым фитилем мы перестали с самого начала войны даже по праздникам. С тех пор она стояла на столе в комнате только для украшения. Но потом оказалось, что и настенная жестяная лампочка с плоским фитилем тоже жрет слишком много керосина. Этот фитиль выкручивали из горелки едва-едва, стараясь зажигать лампу по вечерам как можно позже, благо весенний день был уже довольно длинным, а сумерки всё более затяжными. Вот тут-то и обнаружилось, что я один из первых в нашей местности заболел странной, вызывающей смех окружающих, но весьма тягостной для самого заболевшего, болезнью с действительно смешным названием «куриная слепота». Сначала мои домашние подумали, что я не слишком остроумно валяю дурака, прикидываясь ничего не видящим сразу же после заката солнца. Для них было ещё совсем светло, тогда как я наткался на предметы, падал, спотыкался о порог и возмущал окружающих требованием, чтобы засветло зажгли лампу. Но после того как на виду у всех я набил себе несколько шишек, стало ясно, что на меня напала какая-то, в здешних местах неведомая доселе хворь. Мать отвела меня к сельскому фельдшеру, мужу нашей учительницы и весьма опытному медику. Тот определил болезнь сразу, но сказал, что лекарства тут помочь не могут, а требуется хорошее питание.



– А может, дадите порошочек какой, Митрофан Степанович? – робко попросила мать.

– Салус-маслус – вот какой порошок ему нужен! – ухмыльнулся Митрофан Степанович. Мать эту «латынь» поняла, но только вздохнула, и мы пошли домой.

Вскоре куриной слепотой заболело множество народу, особенно детей, и ей перестали удивляться. А поскольку официальная медицина в лице Митрофана Степановича объявила о своем бессилии в борьбе с этой болезнью, то вместо отсутствующих микстур и порошков появилось множество доморощенных и, конечно, совершенно «верных» способов её лечения. Самый популярный из них состоял в том, что больного, точнее засевшую в нём болезнь, следовало сильно испугать. Тогда, согласно теории, она должна была оставить человека. Так, например, лечили Митроху, одного из сыновей шорничихи, примерно сверстника нашей Тайки. С ним проделали то же самое, что я когда-то с простоватым Титком на охтинском дворе. Но только не с хулиганскими, а с наилучшими намерениями. Воспользовавшись тем, что Митроха после захода солнца ничего не видел, ребята постарше направили его к обрывчику за выгоном, в котором брали глину. Хлопец свалился с высоты метра в три в свеженакопанную глину и отделался, как и предполагалось, только испугом. Нельзя сказать, что особенно лёгким, так как после этого падения он стал заметно заикаться. Куриная же слепота оказалась менее слабонервной, чем её хозяин, и долго ещё Митроху не оставляла.

Скверную шутку сыграла досадная болезнь и со мной. Приближалось время пасхальных праздников. Я был теперь единственным членом нашей семьи, кто мог представить её на великопостном чтении в страстной четверг – мать не могла отлучиться от грудного и болезненного Кольки. Отправился я в церковь засветло и выстоял в густой толпе несколько положенных часов без особых осложнений. Но когда служба закончилась и вместе с толпой богомольцев я вышел на церковную паперть, держа в руке зажженную свечку с окруженным бумажным «фунтиком» пламенем, то оказалось, что решительно ничего, кроме этого светящегося язычка, я не вижу. Ночь была тёмная даже по понятиям вполне зрячих людей. Где-то на небольшой высоте чувствовалось присутствие

набухших влагой тяжёлых облаков, из которых водяные капли срывались довольно часто, угрожая вот-вот перейти в настоящий дождь.

Мне следовало бы воспользоваться советом матери и попросить кого-нибудь из зрячих попутчиков не оставлять меня одного хотя бы на дороге до Экономии. Такие попутчики были, но я постеснялся попросить их себе в поводыри – ещё смеяться будут! И пошёл в непроницаемую для меня темноту один, видя не больше, чем если бы мне на голову надели светонепроницаемый колпак. Некоторое время иллюзию зрячести поддерживал огонек, который я видел как бы плавающим в чёрном пространстве. Но первый же порыв ветра задул хлипкое пламя, несмотря на его бумажную защиту. Темней от этого, правда, не стало, и я продолжал брести по главной улице села, стараясь не пропустить поворота вправо на дорогу, ведущую к Экономии. Этого поворота я не пропустил и брёл теперь по непролазной грязи, опасаясь больше всего, что могу спутать на недалекой развилке нужное мне ответвление от дороги, ведущей мимо кладбища аж до 3-ва. Какой-то инстинкт помог мне и здесь. И я там, где надо, повернул к забору, ограждавшему парадный двор и барский сад.

На этом моё везение закончилось. Держась вдоль этого забора, я бы без особых затруднений добрался и до нашего «чёрного» двора, где как-нибудь нашёл бы и своё жильё. Но, взяв немного в сторону, я не наткнулся на путеводный забор, как ожидал, а вошёл в открытые ворота парадного двора, на его территорию. Следуя теперь уже совсем не той, что надо, колее под ногами, я пересёк этот двор и вошёл через, тоже открытый на мою беду, въезд к барскому дому в господский сад. Наткнувшись на какие-то клумбы и кусты, которых никак не могло быть на моём пути, я сначала растерялся, а потом и испугался. Ведь такое могло случиться только благодаря козням нечистой силы! Вскрикнув от ужаса, я бросился куда-то, уже не разбирая дороги. И скоро вбежал в какой-то лес, очевидно заколдованный и населённый всякой нечистью. Когда, начиная выбиваться уже из сил от долгих беспорядочных блужданий по огромному саду, я продирался сквозь какие-то кусты, с которых мне за шиворот обильно скапывалась холодная вода, почти рядом гугукнул филин. Я отлично знал крик этой птицы, которую недаром зовут

здесь «пугачом», но от охватившего меня беспредельного ужаса почувствовал, как шевелятся волосы на голове. Снова кинувшись бежать, я налетел на какой-то забор и от сильного удара пришёл в себя. Даже мелькнула мысль, хотя и не очень уверенная, что в заколдованных лесах заборов не бывает. Пытаясь взобраться на него, я услышал чавканье сапог по грязи и чей-то мужской голос не遠далеке позвал:

- Дим-ка-а-а!

Это на поиски пропавшего богомольца шла спасательная экспедиция в составе соседа Степана Гавриловича и механика Петруся, поднятых среди ночи моей матерью. Она решилась на это, после того как, оставив младенца на попечение Тайки, сама пробежала от нашего дома до самой церкви и, не найдя меня, решила, что я сослепу двинулся в противоположную сторону и свалился с обрыва в речку.

К празднику мать решила испечь пару куличей из неприкосновенного запаса белой муки, три-четыре фунта которой хранилось в нашем чулане. Но куличи должны были быть сдобными, иначе какие же это куличи? Денег у нас почти не было, так как из-за Кольки мать не могла заработать даже стиркой. Вздыхая, она долго шевелила губами, передвигая на ладони несколько мелких монет и почтовых марок с изображением царей Александра Третьего и Николая Второго. Такие марки были выпущены государственным казначейством в качестве заменителей серебряной разменной монеты. На обратной стороне этих марок было мелко-мелко напечатано, что их подделка преследуется по закону. Говорили, что если присмотреться ко всем этим надписям, то нередко можно обнаружить среди них издевательские, сделанные уже фальшивомонетчиками: «Чем наши хуже ваших?» Наконец решившись, мать вздохнула, вручила мне всё наше наличие и две пустые бутылки. Одна из них была из-под масла, другая - керосиновая. Она настойчиво предупреждала меня, чтобы я давал лавочнику бутылки по одной, сначала пусть нальёт керосину, а потом уже масла. А то Евтеев мужик хамоватый и к покупателям, да ещё малолетним, не слишком-то внимательный. Не дай бог, ещё спутает бутылки! Я и сам понимал все трагические последствия

такой путаницы и хотел поступить, как велено. Однако Евтеев взял у меня сразу обе бутылки.

- Говори, чего в какую?

- Которая рыжая - в ту масла, Федор Пантелеевич, - ответил я. И сделал ненужное добавление, когда он уже возился в темном углу за прилавком: - А в зелёную керосину...

Когда я прибежал со своими покупками домой, мать сразу взяла у меня из рук рыжую бутылку и опрокинула её над уже подготовленным тестом, на которое заворуженно глядели Тайка, Поля и Серёжка. Раздалось подозрительно энергичное бульканье, а по кухне распространился резкий запах керосина.

- Перепутал-таки бутылки, адивот! - вскрикнула мать и, зарыдав, в отчаянии опустилась на лавку. - Господи, где тонко, там и рвётся...

Поля и Серёжка заревели, их надежды на сдобный кулич рухнули. А Тайка понюхала масло в другой бутылке и укоризненно посмотрела на меня:

- Тоже пропало, керосином пахнет!

Я был готов сквозь землю провалиться, хотя и по сей день уверен, что ни в чём не был тогда виноват. Бутылки спутал чёртов лавочник.

Праздник прошёл почти по-будничному, голодно и невесело. На разговорие у нас был только поскребыш, испеченный из остатков муки в ларе, совсем почти «без ничего», белый хлебец и пяток окрашенных луковой шелухой яиц. На этот раз Христову Воскресению не радовалось и солнышко, затянутое плотными низкими облаками.

От отца пришло письмо, что он жив-здоров. Только вот слегка хватило шрапнелью, пролежал в госпитале всего неделю. Жене от него шли наказания за него не беспокоиться, думать больше о детях. Поклоны кумовьям и просто знакомым отец присылал простые, не от «белого лица» и не «до сырой земли».

С наступлением ясных и теплых дней куриная слепота прошла почти у всех, хотя особого улучшения в питании ни у кого не было. Мы, конечно, не знали, что это была работа ультрафиолетовых лучей, превращающих прокаротин овощей в жирорастворимые витамины. Но связь исцеления от куриной слепоты с действием весенне-

го солнышка была народом замечена. На селе говорили, что новая болезнь вроде ночной птицы – она боится яркого света. Самой ответственной задачей весеннего времени было возделывание огорода. Мать от этого занятия отвлекал постоянно орущий Колька. Дело в том, что от недоедания и забот у нее пропало молоко. Похожий на скелетик со вздутым животом, ребенок жадно впивался в материнские соски, громко чмокал с сердитым урчанием, но тут же отваливался и заходился в возмущенном крике. Плача, мать совала ему в рот «куклу» – завернутый в тряпочку на деревенский манер пережеванный хлеб. Но это был обман, вроде соски-пустышки. Слабый от рождения Коля стал весь какой-то синий и прозрачный, с большими глазами, в которых как будто светился укоризненный вопрос: за что вы меня мучаете?

Поэтому мать часто убегала с огорода к младшему сыну, а постоянно возились на грядках только я и Тайка, считавшиеся почти уже взрослыми. Обязанности надзирательницы при Серёжке Тайка передала Поле. Но нянька из Поли получилась неважная, и её подопечный умудрился чуть не отправить на тот свет своего младшего брата. Он решил поделиться с ним горстью сухого гороха, добытого где-то матерью в качестве платы за работу. Лежавшему в колясочке младенцу Серёжка запихивал горошины в рот, пока не набил его почти до отказа. Мать застала мальчишек в комнате, когда у младшего щёки были раздуты, как у запасающего зерно суслика, а глаза выкатились от начинающегося удушья. Старший ласково похлопывал Кольку ладошкой по губам и приговаривал:

– Кусай, маленький, кусай! У меня ещё много...

Вскоре школьников распустили на летние каникулы – в сельских школах они начинались рано. Многие из нашего класса остались, как водится, на второй год, и даже меня едва не постигла такая же участь. Всё из-за того же «грязнописания», как называла мои упражнения в письме Катерина Титовна. Она была порядочной формалисткой, и быть бы мне в числе наших «прошлогодников», несмотря на всю свою относительную развитость и недюжинные успехи в чтении и арифметике, если бы не наш заведующий Филипп Андреевич. Он рассудил вполне резонно, изучив мои тетрадки по чистописанию, что поделаться с моим почерком уже ничего нельзя и что горба-

того «могила исправит». Писать по-человечески я всё равно не буду, оставляй меня в первом классе хоть на десять лет! Мать, узнав об этом, пригорюнилась. Выходило, что надежды сделаться когда-нибудь чиновником или учителем у её казавшегося ей таким способным сына, увы, нет.

С роспуском на каникулы стало легче, несмотря на огород и хлопоты по хозяйству. Иногда даже удавалось вернуться к играм и чтению интересных книг. Первой из таких книг после всех этих «Гуаков» и «сонников» у меня оказался майнридовский «Всадник без головы», бог весть какими путями попавший мне в руки. Это была захватывающе интересная книга, в которой рассказывалось о приключениях смелых и предприимчивых, хотя и не всегда симпатичных, янки-техасцев и их сражениях с индейцами-команчами. Были в ней и весьма нудные места, где описывалась любовь Мориса Мустангера к Луизе Пойндекстер. Но я до сих пор помню все достоинства этой девицы, приведенные автором с излишним и, по моему тогдашнему твёрдому мнению, никому не нужным многословием. Моё чтение было в большей степени тем, что позже получило учёное название «фотографического». Примерно в то же время я прочел часть романа Фенимора Купера «Красный кедр», так как добыл где-то только половину книги. Вторая её половина, к моему большому огорчению, была оторвана. Когда спустя много лет я смог прочесть этот роман уже полностью, необходимости перечитывать его с самого начала у меня почти не возникло. Я просто продолжил чтение с того места, на котором его оставил, как будто это произошло только накануне.

Мы продолжали играть с мальчишками всё в ту же войну, но игра всё больше насыщалась новой техникой. Немалую роль в этом деле сыграл военнопленный Франц, помогавший нам советами, а нередко и прямым участием в сооружении современных орудий войны. У нас был уже целый арсенал пушек и пулеметов, позволявший устраивать довольно сложные позиционные и тактические комбинации. Не оставлял пленный чех и своих проказ, благодаря которым среди взрослых он слыл дураковатым озорником, а среди нас, мальчишек, остроумным выдумщиком. Однажды он отмочил шутку, приведшую всех нас в неопишуемый восторг.

У многих крестьян побогаче были так называемые «левады» – крохотные берёзовые рощицы, состоящие обычно всего из нескольких деревьев. Располагались левады, как правило, недалеко от жилья своего хозяина, где-нибудь рядом с его двором или огородом. Берёзы росли также и около дома дядьки Охрима, довольно состоятельного и малосимпатичного мужика. Несимпатичным же он нам казался потому, что всегда выгонял мальчишек из своих владений, тогда как деревья нам часто были совершенно необходимы из-за характера затеянной военной игры, например, сражения в лесу. Леса же кругом, если не считать панского сада, о проникновении в который и речи быть не могло, близко в здешних окрестностях не было. Никакого вреда деревьям мы не причиняли. Охрим, скупой и жадный куркуль, вообразив, что мы заримся на его огород, гонял нас от своего двора кнутом или хворостиной. Ранней же весной он боялся, притом вполне резонно, что мы будем воровать у него берёзовый сок. Почти все, у кого были во владении большие берёзы, в дни, когда на них набухали почки, пробуравливали в самом низу берёзовых стволов небольшое отверстие. Раненое дерево сразу же начинало слезиться сладковатым, приятным на вкус соком, который по тоненькой палочке стекал в подставленный снизу глечик. Такие глечики стояли под тремя из пяти берёз Охрима и в тот день, когда он прогнал нас со своей левады с особой свирепостью. А двоих наших пулеметчиков, замешкавшихся у плетня со своей деревянной, довольно громоздкой машиной, весьма основательно огрел кнутом. За этим плетнем мы держали военный совет, решая трудный вопрос, куда же нам теперь перенести игру, в которой битва между немцами и русскими происходит в большом лесу. И тут увидели Франца. Он зашёл на леваду противного Охрима с соседнего огорода пригнувшись, и судя по его вороватому виду, с не совсем благими намерениями. Чех подошел к одной из охримовских берез, еще раз осмотрелся, поднял стоявший под ней глечик и выпил его содержимое. То же он сделал и со вторым глечиком. Третий оказался почти пустым. Затем австрияк помочился во все три горшка, заботясь, видимо, чтобы ни один из них не остался пустым. Поставил их на место, заботливо поправил палочки, вставленные в отверстия в стволах берёз, и

ушел. А мы, позабыв обо всех своих делах, остались ждать за плетнем, когда ненавистный хозяин левады придет за собранным за день соком. Мы знали, что он всегда делает это самолично, не доверяя приятной обязанности никому из домашних.

Ждать пришлось долго, почти до самого вечера. Но зато какое мстительное удовольствие испытали мы в этот день! Заглянув в один из горшочков, Охрим удовлетворенно кивнул головой, находя, видимо, дневной урожай сока весьма неплохим по количеству. Затем он истово расправил усы и поднёс глечик ко рту. Мы ожидали, что его реакция на гадость будет мгновенной. Но Охрим пил мочу довольно долго, прежде чем оторвать глечик от рта, и с изумлением на него уставился. Затем изумление на его лице сменилось выражением омерзения и ярости. Охрим хватил горшком о березу и разразился бранью в адрес «шибеника», сыгравшего с ним такую штуку. Может быть, он имел в виду Франца, может быть, кого-нибудь другого, а возможно, что и никого конкретно. Шутки такого рода считались на селе весьма обычными, и их могли отмочить многие. Но когда хозяин левады услышал за плетнем наше хихиканье, его ярость приобрела уже вполне точный адрес. Схватив корягу, которой можно было бы убить быка, Охрим кинулся с ней к плетню, но увидел только наши пятки, сверкавшие где-то в конце переулка. Он долго ещё потрясал своей дубиной, крича, что все мы, несмотря на своё малолетство, законченные «раклы» (ворюги), которых ждёт неизбежная «шибеница», то есть виселица.

Военнопленные, число которых еще несколько увеличилось, в большой степени возмещали нехватку рабочей силы на помещичьих полях. Крестьянским же хозяйствам год от года приходилось всё туже. Хлеб на третьем году войны убирали почти одни только женщины, старики и списанные с фронта калеки. Земли были плохо и несвоевременно засеяны. А тут ещё лето выдалось жаркое и засушливое. Вокруг крестьянских полей был устроен крестный ход, а неподалеку от сельского кладбища – моление о ниспослании дождя. Подымая густую пыль, по просёлочным дорогам тянулась длинная процессия с крестами, хоругвями и зажжёнными фонарями, выглядевшими как-то особенно жалко и как будто смущенно при



ослепительном солнечном свете. Отец Григорий кропил святой водой запылённые по обочине дороги колосья пшеницы и ржи и возглашал молитвы, на которые хор отвечал повторением какой-то скачуще ритмической, но красивой фразы: «Даждь дождь земле жаждущей, Спасе!» Бредя в толпе истово молящихся крестьян рядом с матерью, я тогда впервые ощутил сострадание к бедному зелёному миру. И очень хотел, чтобы Бог услышал молитвы людей и ниспослал дождь, что ему, вероятно, ничего не стоит сделать. Тем более что теперь я уже не думал, будто бочки с водой по небу он катает самолично.

Впоследствии я много раз читал и слышал, что сельские попы, прежде чем предпринять молебствие о дожде, сверяются с барометром. Не знаю, делал ли это отец Григорий и даже был ли у него барометр. Но уже к вечеру того дня, в который на полях был устроен крестный ход, разразилась сильная гроза с ливнем. Мать боялась грома и крестилась при каждом его ударе, но благодарила Бога, что в своём гневе на людей он ещё не отступился от них окончательно.

Своевременно начавшиеся занятия во втором классе школы показались мне куда более интересными, чем в первом. Теперь я уже мог проявить некоторые преимущества своего относительного развития. Нам выдали уже известную мне со времени лежания в больнице хрестоматию для народных училищ – «Божий мир». Это была довольно толстая книга, так как она была рассчитана для использования её во всех классах церковно-приходских школ, начиная со второго. Поэтому материал для чтения располагался в «Божьем мире» не только систематически по степени возрастающей трудности, но и как бы по спирали, повторяясь уже на новом уровне. Если для чтения сразу после букваря в хрестоматии были помещены басни Крылова и маленькие нравоучительные истории, то затем шли стихотворения Пушкина, Лермонтова, Вяземского и даже Тютчева. Подбирались они, главным образом, по признаку своей патриотичности: лермонтовское «Бородино», куски из пушкинского «Клеветникам России», «Москва» Федора Глинки, пронизанная хвастливым шовинистическим духом: «Кто царь-колокол поднимет, кто царь-пушку повернет?» Встречались и хорошие лирические стихи вроде «Люблю грозу в начале

мая». Содержала также хрестоматия для начальных школ краткие сведения о живой и мертвой природе, минералах и металлах, растениях и животных, приводились в ней начальные сведения по географии и космографии, давались даже полезные советы по сельскому хозяйству и домоводству. В своеобразной и очень удачной форме здесь описывались целые технологические циклы некоторых производств. Чего стоил, например, один только рассказ Ушинского «Как рубашка на поле выросла». Словом, «Божий мир», несмотря на свою елейно-патриотическую направленность, был хорошей книгой, составленной, несомненно, весьма опытными, умелыми и доброжелательными педагогами.

В стихах и баснях я усмотрел блестящую возможность для себя продемонстрировать свою высокую грамотность и способность к запоминанию. Потому вначале я считал, что главным шиком в чтении стихов является выпаливание заученного единым духом. Однако от моего хвастливого тархтения наша учительница морщилась так же, как в прошлом году от моей скорописи. Оказывается, читать стихи надо было с выражением. Освоить такое чтение оказалось гораздо легче, чем правильно выписывать буквы, и вскоре даже требовательная Катерина Титовна осталась мною по части чтения стихов наизусть вполне довольна. Был доволен моими успехами в Законе божьем и наш законоучитель отец Григорий. Этот предмет в церковно-приходских школах считался самым мудреным и трудным, а его преподаватели неизменно свирепыми, хотя строгость законоучителей была скорее традицией, чем проявлением их личных качеств. Применение физических наказаний в преподавании Закона божьего практически так и не было отменено. Отец Григорий, например, приносил с собой на занятия длинную линейку, «квадратик», и клал её рядом с классным журналом. Этой линейкой он больно хлопал по ладоням тех, кто путал имена еврейских патриархов, начиная с Адама, или последовательность дней творения. Ладони от такой экзекуции долго горели как ошпаренные.

На первом же уроке священник раздал нам небольшие книжечки, на обложке которых было написано «Ветхий завет». Это было краткое и весьма упрощённое изложение библейских мифов. Начиналось оно расска-

зом о сотворении мира и было доведено до рождения Господа нашего Иисуса Христа. После чего, согласно программе изложения Закона божия, мы приступим к изучению «Нового завета», иначе именуемого Евангелием. Сообщив это, отец Григорий перешёл к самому предмету. Он поведал нам, что в начале не было ничего. Ни неба, ни земли, ни воды, ни воздуха, ни солнца и звезд, ни луны. Среди абсолютного мрака и полнейшего «ничего» витал лишь некий «дух божий». Но однажды Бог сказал: «Да будет свет!» – и с этого начал сотворение мира.

Предмет показался мне захватывающе интересным, так же как и иллюстрации к нему в книжке «Ветхого завета». На ее титульном листе изображался величественный и длинноротый бог Саваоф, распростёрший руки над сотворённым им миром. Затем шли картинки, изображающие плачущих и съёжившихся, прикрывшихся фиговыми листками Адама и Еву. Их изгонял из рая взмахами огненного меча грозный архангел, летящий над эдемскими садами. Был тут ещё Ноев ковчег, ныряющий в кромешной тьме по волнам всемирного потопа, и тот же ковчег, осевший на вершине горы Арарат, встреча Евы со Змием-искусителем у древа познания Добра и Зла и многое другое.

Строение вселенной по Ветхому завету оказалось не столь уж отличным от того, которое я придумал, пытаюсь объяснить происхождение дождя и грома, когда был ещё маленьким. Куполообразная, раскинувшаяся над землёй «твердь небесная» была именно такой, какой я себе её тогда представлял. Правда, ни в книжке, ни в объяснениях отца Григория ничего не говорилось о дырочках в этом куполе, а звёзды оказались самостоятельным объектом творения. Теперь нельзя было даже представить себе, чтобы такой важный и грозный старец, каким был изображён в книжке Бог, возился с какими-то затычками и громычал по небесной тверди на бочке с водой. А как насчёт Ильи-Пророка с его колесницей? Я хотел уточнить этот вопрос с нашим законоучителем, но так и не решился. В широкой серой рясе с золотым наперсным крестом, полуприкрытым длинной седой бородой, он и сам сильно походил на Саваофа и внушал своим видом невольную робость не только школярам. Не отважился я обратиться к нему и со многими другими возникшими у меня вопросами, хотя

слыл в классе его лучшим учеником. Я назубок знал всё о сотворении мира, грехопадении Адама и Евы, устройстве Ноева ковчега и даже о жене Лота, превращённой за любопытство в соляной столб. Все другие ученики в нашем классе знали библейскую историю хуже меня и, тем не менее, находились такие, которые обращали внимание на её несуразности. Один одноклассник подзуживал меня спросить у отца Григория, каким это образом Каин, изгнанный за убийство брата в землю Ханаанскую, смог дать начало новому людскому племени? Ведь женщин-то, кроме его матери, оставшейся, конечно, со своим мужем Адамом, на всём свете ни одной больше не было! Вряд ли до такого еретического вопроса школьник додумался сам. Скорее это было влияние некоторого религиозного вольнодумства, просачивающегося и в деревню.

По мере того как моё грязнописание играло всё меньшую роль в общем объёме наших школьных занятий, академические дела шли у меня всё лучше. На хорошем счету находился я и по поведению, никогда не участвуя в дурацких и, как правило, нелепых выходках школяров. Но однажды был оставлен учительницей «без обеда», то есть задержан в школе после занятий. И не за что-нибудь, а за оскорбление её собственной персоны, чего я и не думал делать.

Катерина Титовна знала, что ученики за глаза часто называют её Титой Катериновной. Это бессмысленное и безобидное искажение её имени-отчества прилипло к ней после того, как оно произвольно сорвалось с языка слишком оробевшего перед ней мальчишки. Вместо того чтобы рассмеяться с классом заодно, она рассвирепела и выгнала ученика за дверь. С этого момента имя-отчество навыворот стало прозвищем учительницы. От постоянной привычки его употреблять оно нередко слетало с языка школяров даже у классной доски. Тогда всем становилось весело, а Катерина Титовна снова злилась и выгоняла растерявшегося ученика из класса. Я же был наказан за неправильное произношение имени своей учительницы ещё строже, хотя до этого случая я никогда в искажённой форме её имя не употреблял.

На одной парте со мною сидел дважды прошлогодник Маслюк, на редкость туповатый и малоспособный парень, если не считать его умения произвольно шеве-

лить ушами. На переменах Маслюк делал это за копейку, новое перо или кусок пирога из завтрака, а на занятиях просто так, потехи ради. Однажды он смешил этим своих соседей, когда весь класс решал на грифельных досках трудную арифметическую задачку. Сам Маслюк не утруждал себя безнадёжной попыткой её решить и развлекался на свой манер, пока учительница это не заметила и не пригрозила выставить его в коридор. Лоботряс насупился и начал тихонько бормотать, но так, что я услышал:

- Тита Катериновна, Тита Катериновна...

Это бормотание мешало мне решать задачу, и я толкнул его локтем. В ответ Маслюк пнул меня под партой ногой, а я замахнулся на него грифельной доской.

- Это ещё что, Путинцев! - крикнула учительница. - Почему ты замахваешься на Маслюка?

Я встал с места и насупленно молчал.

- Тита Катериновна, Тита Катериновна, - дурацкой скороговоркой бормотал Маслюк, уткнувшись в грифельную доску, на которой крупными буквами выводил эти же слова.

- Тита Катериновна! - как загипнотизированный брякнул я совершенно неожиданно для себя.

Класс захихикал, а учительница вспыхнула:

- Останешься на два часа после уроков! Должен быть примером для других, а ты безобразничаешь!

«За мое жито та мэне ж и быто», - говорили в таких случаях украинские мужики. Нет, как видно, правды на земле!

Жить становилось всё труднее. Даже постное масло стало у нас предметом роскоши. Масляную лампу мы теперь не зажигали, а освещались по вечерам с помощью каганца - того самого, который отец соорудил для меня когда-то в качестве ночника. Он был устроен почти так же, как и лампадка. Через жестяную трубочку, чуть выступая на её верхнем конце, проходил фитиль. Только этот фитилёк погружался не в лампадное деревянное масло, а в керосин, налитый в обыкновенный аптекарский пузырек. Света от каганца едва хватало, чтобы видеть в комнате друг друга и не наткнуться на предметы.

Младенец Коля продолжал висеть тяжелым грузом на шее матери, но ничего уже не требовал и почти никогда не плакал. Он тихо лежал в своей колясочке, тоскливо

глядя на всех, кто к нему подходил, не угукал, не пускал пузырей, не рос, однако и не умирал. Мать молилась по ночам, отбивая перед иконами бесчисленные поклоны. Канонических молитв она не знала. В её страстном шепоте, который я отчётливо слышал со своего сундука, были мольбы о спасении на поле брани воина Егория и просьбы помочь прокормить детей, которых она перечисляла поимённо, начиная с меня. Но самого младшего в этом перечне не было. Наоборот, мать выпрашивала у Бога ниспослания своему ребёнку скорейшей и лёгкой смерти.

- Прибери, Господи, его душеньку! Упокой во царствии своём невинную душу младенца Николая... - стоя на коленях, она беззвучно рыдала, прижимаясь лбом к холодному полу.

С наступлением весенних дней в селе объявилась дифтерия. Скоро она перекинулась и в нашу Экономию. Заболели несколько ребят, и двое из них, конторщиков Панкратка и шорничихин Митроха, тот самый, которого лечили испугом от куриной слепоты, умерли.

А однажды в погожий апрельский день стала жаловаться на боль в горле и наша Поля. К вечеру у неё появился жар, а позванный на другой день фельдшер без труда установил дифтерию.

Поле становилось всё хуже и хуже - она уже дышала с трудом. Девочка лежала с одутловатым, каким-то фиолетовым лицом, страдая от мучительного удушья. Мать почти не отходила от её постели, хотя от того, как мы вскопаем и засеем свой огород, зависело всё наше существование. Смахивая постоянно набегавшие слёзы, она то с отчаянием, то с надеждой всматривалась в лицо страдающей дочки. Иногда мать падала на колени перед своими намалёванными богами, умоляя их пощадить больную. Она объясняла им, что понимает смысл ниспосланной ей кары. Это, несомненно, наказание за кощунственное моление о смерти младшего ребёнка. Но теперь она никогда больше не будет возносить им подобных молитв. Согласна терпеть любые невзгоды, которые ей суждено перенести, пусть только останется жить её любимая дочь!

Боги, однако, остались глухи к мольбам бедной женщины. Называясь милосердными, они правили миром по законам, не очень-то совместимыми с милосердием.

Я и Тайка копали огород, когда из нашего дома раздался отчаянный вопль матери. А затем она сама выбежала из открытой двери и, подбежав к нам, бросилась ничком на влажную, свежевскопанную землю. Рыдая, мать билась на грядке, царапая рыхлые комья ногтями и почти зарывшись в них непокрытой головой с растрёпанными волосами.

Мы часто и много слышали о смерти, но нашу семью она посетила впервые. В ней много полумистического, выдуманного людьми, и в то же время простого, тягостного в своей беспощадной реальности. Всего неделю назад у нас была сестрёнка, улыбчивая, милая и трогательная Серёжкина наставница. Пыталась она помочь матери и в уходе за Колей, полуживым от детской дистрофии. Но он продолжал жить, а Поля, странно вытянувшись, со строгим, почти неузнаваемым лицом лежала в гробике, сколоченном пленным плотником-австрияком. Никогда уж она не протопает своими толстенькими, несмотря на скудное питание, ножками за неслухом Серёжкой, не пожурит его за дурное поведение. Поленьки у нас больше не было.

На кладбище от заколоченного уже, ничем не обитого гробика мать оторвали силой. По её просьбе могилу для Поли вырыли на самом краю погоста, сразу же за дорогой, отделявшей его от кукурузного поля. Пока быстро растущая кукуруза не заслонила от нас кладбище, мать часто смотрела на белеющий вдали свежий крестик. Но потом спохватывалась, поднимала с земли опущенные было вёдра с водой или снова наклонялась к грядкам, украдкой смахивая катившиеся слёзы. Жизнь, даже трудная, голодная и тревожная, оставалась жизнью.

А Колька – тот выжил и даже начал поправляться с тех пор, как на барской молочной стали выдавать для него каждый день бутылку козьего молока. Помогло ему, несомненно, и благодетельное весеннее солнышко. Однако надежды, что он станет физически нормальным ребёнком и хотя бы научится как следует ходить, было мало. И всё же прежней постоянной тоски в глазах у маленького дистрофика больше не было. Иногда в них даже загоралось детское любопытство, а губы на старческом личике растягивались в подобие улыбки.

Смерть сестрёнки очень повлияла на мой характер. Я стал более созерцательным, менее склонным к шумным играм. Проявилась склонность к фантазированию, особенно после того, как я прочел добытую где-то конторщиком Санько книгу сказок Шехерезады. Это было краткое переложение «Тысячи и одной ночи» для юношеского чтения. Вместе с многочисленными картинками переложение уместилось в одной книжке, правда, довольно толстой. Теперь я мечтал о бутылке с заключённым в ней джинном и на все лады варьировал свою воображаемую встречу с ним. Больше всего меня занимал вопрос: что же от него потребовать в обмен на свободу? И я решил, что попрошу у джинна обувь для себя и для Тайки – наша-то совсем износилась, мешок муки и большой кулёк сахара. Это для нас. А для отца – шапку-невидимку: на войне, должно быть, это особенно полезный предмет. Тот же джинн сможет, конечно, перенести меня к отцу в окоп – иначе мать хватится. Кроме шапки-невидимки я захвачу для него ещё пучок редиски с нашего огорода. На фронте, небось, этого нету. Заодно нужно будет взглянуть на настоящий пулемёт и настоящую пушку. Хорошо бы, конечно, застать их в действии.

Я и сам понимал, что наткнуться на бутылку, в которой сидит джинн, дело весьма маловероятное. Тем более что, судя по картинке в книжке, джиннов заключают в бутылки такой формы, которой здесь сроду не видели. А вот отыскать волшебную лампу казалось мне делом более реальным. С сыновьями конторщика Санько и Гришаком мы пробовали тереть на предмет вызова духа все светильники, к которым только имели доступ: настенные и настольные керосиновые лампы в наших квартирах, найденные возле барского дома треснувший стеклянный резервуар от шикарной подвесной лампы, валявшийся с ним рядом старинный канделябр с отломанным рожком и даже пузырёк от нашего каганца. Мы тёрли их тряпками, ладонями и даже наждачной шкуркой, выпрошенной под каким-то предлогом у Петруся. Однако дух из лампы не показывался так же упорно, как и в более ранних опытах Тома Сойера и его компании. Книжку о мальчишках с Миссисипи, таких далёких и таких близких нам по духу и психологии, я прочёл значительно позже,



когда к заблуждениям типа наивной веры Аладдина относился уже с высокомерным пренебрежением.

Непоседливый, несмотря на полуголодное питание, и лишённый бдительного надзора покойной Поленьки, Серёжка устраивал иногда неожиданные пакости. Роскошные белокурые волосы куклы Палажки он выкрасил чернилами в фиолетовый цвет, а все мои книжки и тетрадки украсил изображениями зайцев, медведей и смешных рож в остроконечных колпаках. Одну из таких рож он поместил даже на заглавной странице бухгалтерской книги, принесённой для работы на дом соседом-конторщиком. Это я на общую беду показал ему однажды, как надо пользоваться переводными картинками «Декалькомания», целый лист которых сохранился от времён, когда этим делом увлекался я сам. Отнятый в своё время у меня и засунутый за платяной шкаф, этот лист случайно обнаружился только сейчас.

Теперь мать опять ходила стирать бельё в брезелевском доме и пропальвать свёклу на полях. Колька ей почти уже не мешал. Он лежал в своей коляске на солнышке или в доме, а рядом с ним постоянно находилась бутылка с молоком и надетой на неё резиновой соской. Мальчик сам время от времени подтягивал к себе бутылку и, смачно чмокая, вытягивал из неё два-три глотка. После этого его лицо становилось очень похожим на лицо деда Пафнутия, отца кузнеца, когда тот делал первые затяжки дымом из своей трубки. Это был очень старый и интересный дед, хорошо помнивший недоброй памятью времена крепостного права. Когда дед вылезал на завалинку, чтобы погреться на солнышке, мы, ребята, неизменно окружали его с просьбой рассказать «за крипацтво». В этом он нам никогда не отказывал. Но предварительно от трута и кресала раскуривал короткую трубку с массивной медной крышкой на шарнире. Спичек дед не признавал – не тот «скус». Своих рассказов дед Пафнутий никогда не комментировал. Интуиция талантливого повествователя подсказывала ему, что это излишне. Правда, события в его рассказах были всегда жуткими и романтичными, чтобы соответствовать даже самой мрачной повседневности. Скорее это были талантливые компиляции из особо драматичных эпизодов жизни недалёких предков брезелевских селян. Затаив дыхание, мы слушали, например,

рассказ деда о том, как надсмотрщик на строительстве здешнего барского дома, панский «полыгач» и явный садист, мстя красивой молодежи за отказ удовлетворить его домогательства, подсыпал колючек тёрна в глину для кирпича, которую та месила. Женщина не могла выполнить израненными руками «тяжёлого урока», и тогда этот негодяй отправил её на конюшню для сечения розгами. Муж молодежи убил надсмотрщика и сам умер под плетью, к которым перед ссылкой в Сибирь его приговорил жестокий крепостнический суд. Подобных рассказов было много, и слышал я их не от одного только деда Пафнутия. Они сыграли, вероятно, не последнюю роль в той неоправданно свирепой расправе, которую учинили в недалёкой уже революции внуки рабов над внуками рабовладельцев.

Тайка давно уже вышла из-под моего влияния и проявляла по отношению ко мне все признаки запоздалой ревности ребёнка, вечно отодвигаемого из-за меня на второй план. Она огрызалась, когда я делал ей замечания: «Сама знам!» – и нередко поступала как раз наоборот. Мои попытки восстановить свой пошатнувшийся авторитет при помощи кулаков сестра встречала решительным и смелым отпором. Это была худенькая, но рослая и крепкая девочка. Ей давно уже пора было ходить в школу – девочек в неё тоже принимали, но мать, вздыхав, оставила дочь дома. Обойтись без её помощи в работах по хозяйству и уходу за малышами она никак не могла. Впрочем, особой тяги к знаниям Тайка не обнаруживала, хотя моему положению книжника и грамотея явно завидовала. Даже дразнилку для меня придумала: «Книгочей наелся кислых шей». И решительно пресекала мои претензии на привилегированное положение в семье. Однажды утром, когда мать ушла на подёнщину, я отказался подметать пол, хотя была моя очередь, и свой отказ мотивировал тем, что весь вечер накануне просидел за писанием отцу длинного письма, в то время как Тайка лечила своих кукол. Палажка у неё, видите ли, заболела животиком, а многострадальный Димка – куриной слепотой. Поэтому будет справедливо, если она подменит сейчас своего высокообразованного брата в исполнении слишком обременительных для него обязанностей. И я гордо удалился на улицу, прихватив книжку и

ответив сестре на её дурацкую дразнилку, что она «Тайка-таратайка, бренчит на балалайке».

Но когда к обеду я вернулся домой, дверь оказалась запертой изнутри на крючок. Несмотря на тёплую погоду, наглухо закрытыми оказались и окна. Взять дом штурмом было невозможно. На мой стук и требование открыть дверь оттуда доносилась только дразнилка, исполняемая на два голоса. Переманить на свою сторону несмышлёного ещё Серёжку Тайке, конечно, ничего не стоило. Тогда я попытался обмануть её заявлением, что открыть дверь требует якобы явившийся к нам зачем-то Степан Гаврилович. В ответ на это заявление откуда-то снизу, от самого порога, послышалось хихиканье. Дело в том, что крыльцо просматривалось в щель между дверью и порогом. Нужно было действовать более тонко. Подумав, я попросил у соседа Санько одолжить мне старые отцовы сапоги, валявшиеся у них в чулане. Тот удивился, но сапоги дал. Теперь рядом с моими босыми ногами на крыльце топали два страшных заплесневелых сапога, одетых мною на руки. Хитрость помогла. Тайка откинула дверной крючок и тут же получила сапогом по плечу. В пылу последовавшей драки я не заметил продолговатого оцинкованного таза с замоченным в нём бельём, стоявшего на полу в кухне. И, пятясь задом от яростной Тайкиной контратаки, с шумом уселся в воду, подщелочённую отваром золы. Тайка торжествовала победу!

Осенью я пошёл уже в третий класс. Самым интересным из школьных предметов продолжал оставаться все тот же Закон божий. Мы заканчивали уже Ветхий завет, перешли к Новому и начали одолевать ещё одну премудрость приходских школ – церковно-славянский язык. Большинство слов из этого языка было уже известно почти всем по богослужениям и молитвам. Труднее всего давалась сельским ребятам затейливая славянская грамота, особенно написание слов «с титлами». Множество гласных в славянском письме опускалось и подменялось значком наверху вроде апострофа. Писалось, например, «отц», а читать надо было «отец», «дждь» надо было произносить как «дождь». После уроков церковной грамоты у многих горели ладони от линейки отца Григория. Но мне она давалась тоже легко и казалась даже интересной. Было забавно составлять цифры на церковно-славянский

манер. Собственно цифр в этом виде письменности не было. Их заменяли первые десять букв алфавита, носивших, как и все другие его знаки, свои названия: аз, буки, веди, глагол...

- «Аз» означает «один», - пояснял нам отец Григорий. - «Буки» - два и далее соответственно. Если надо начертать двухзначное или трёхзначное число, то буквы сочетаются. Вот скажи, Путинцев, какое число означают «глагол» и «веди», написанные рядом?

- Сорок три, - отвечал я.

Я знал даже сочетание букв, означающих число лет, истекших от начала сотворения мира: зело, добро, буки и есть, то есть 6425.

Была и более древняя система, в которой сотни и тысячи имели своё особое буквенное обозначение, как в древнеримском исчислении.

Все мы должны были на память заучивать такие молитвы, как «Отче наш», «Достойно есть». А также знать десять заповедей и «Символ веры», который по первому слову этого краткого свода церковно-христианских догм назывался просто «Верую». Заповеди предписывали любить ближнего, как самого себя. Они запрещали врать зазря, «всуе» призывать имя господя Бога, воровать и убивать. Эта заповедь выражалась весьма кратко - «Не убий», однако имела куда более длинную оговорку, которую разъяснял нам отец Григорий. Запрет убивать не распространяется на случаи, когда надо защищать своё отечество на войне или покарать преступника, приговорённого к смертной казни. В этих случаях убивать не только можно, но и должно. Некоторые из заповедей звучали для нас весьма невразумительно. Например, такая: «Не пожелай жены ближнего твоего, ни вола его, ни осла его». После разъяснения, что осёл - это домашнее животное, вроде маленькой лошади с длинными ушами, стало ясно, что «пожелать» его, как и вола, можно по соображениям материальной выгоды. Но почему в тот же ряд была поставлена и «жена»? На этот вопрос отец Григорий ответил, что впоследствии всё разъяснится для нас само собой. А когда впоследствии? Но тут за избыток любознательности можно было схлопотать и линейкой по плечу.

Законоучение вообще пестрело множеством непонятных слов, смысл которых священник не считал должным

объяснять нам: «мытарь», «фарисей», «заимодавец»... Последнее слово было, собственно, понятно – это тот, кто дает займы. Мы, ученики, постоянно одалживали друг у друга то перочинный ножик, то книжку, то карандаш. Мать часто ходила просить займы у соседей немного денег. И никто не видел в готовности одолжить деньги или вещь ничего плохого. Однако дух «Нового завета» был проникнут к «заимодавцам» едва ли не большей ненавистью, чем даже к таинственным «мытарям» и «фарисеям». Только много позже я понял, что тут имелись в виду профессиональные заимодавцы – ростовщики.

В середине лета в нашем селе появилось много людей, одетых в домотканые белые свитки, белые холщовые штаны и лапти с белыми онучами. Их так и называли «белорусы». Это были беженцы из западных областей, на которые накатила война. Почти сплошь беженцы состояли из одних только женщин, стариков и детей.

Говорили белорусы на «якающем» языке, ещё более смешном, чем язык курских кацапов, и ещё сильнее, чем курские, «акали». Мы придумали для них дразнилки: «Бягу до берягу», «трэсну трапкой по бруху», однако их почти не употребляли – беженцы вызывали всеобщее сочувствие. Они горестно вздыхали, глядя на выбеленные хаты, садики и огороды даже самых бедных из здешних крестьян. Люди здесь были у себя дома. У беженцев же дома более не было, и всё у них пропало: скотина, посева, сгорели в пожарах хаты. В одной белорусской семье, поселившейся на лето в заброшенном сарае на краю Экономии, была моя сверстница, девочка Марыся. Повзрослому серьёзная и рассудительная, Марыся рассказывала нам, как к их деревне подступала война. Сначала было слышно, как вдалеке бьют пушки. Постепенно гул орудий становился всё явственней, а по ночам стали видны зарева далёких пожаров. Пушки гремели всё сильнее, а пожары полыхали всё ближе.

– Будто светопреставление идёт... – рассказывала Марыся и истово, как в церкви, крестилась.

Хотя она говорила с сильным белорусским акцентом, никто этого не замечал. И все понимали, как жутко и тревожно было, особенно по ночам, в небольшой пограничной деревне. А потом вышел приказ всем местным жителям немедленно уходить. Приказа этого, конечно,

ждали, и всё, что можно было погрузить на одну телегу, давно уже было увязано в узлы. Дедушка Марыси – её отец и двое дядей были на войне – запряг лошадь. В телегу побросали самые нужные вещи, посадили в неё самых маленьких, и семья в веренице других беженских возов направилась к выезду из деревни.

– А как плакали все, – вздохнула Марыся. Потом с бугра за околицей видели, как вспыхнула их хата. – Тихенько так, як свечечка...

– Немцы зажгли! – догадался я.

Оказалось, что нет, не немцы, их ещё не было.

– Наши солдатики запалили...

Это не вязалось с моими представлениями о войне – жгут и разрушают города и селения неприятельские солдаты!

– Наши запалили! – со спокойной уверенностью повторила маленькая беженка и продолжала рассказ. – Идем мы за возом, плачем, а пушки совсем близко бьют, аж земля подрагивает: бум-бум... А кругом дым до самого неба, сёла горят...

В одном классе со мной учился сын здешнего еврей-лавочника Зяма Ботвинник. Его старший брат Соломон окончил школу в прошлом году и уже помогал отцу торговать в их лавке. Вообще ученики-евреи были у нас явлением вполне привычным. И всё-таки вокруг них царил дух отчуждения. Да и сами еврейские ребята держались всё время в стороне от нас и почти никогда не принимали участия в общих играх. Главной причиной этого было запрещение представителям чужого, в данном случае «иудейского вероисповедания» присутствовать на уроках Закона божьего. Вряд ли иноверцы и сами напрашивались бы на такое присутствие. Но оно было именно им запрещено, и притом как-то обидно подчеркнуто. Поэтому когда, прихватив свои книжки и тетрадки, Зяма перед появлением в классе отца Григория уходил в коридор, я читал в его ссутулившейся тщедушной фигурке горькое чувство отверженности. И очень жалел мальчишку, хотя и знал, что по сравнению со мной он, как сын главного сельского капиталиста, настоящий счастливец и баловень судьбы. Но сказать, что евреев в нашей школе уж очень часто и грубо в те времена обижали, – нельзя. Хотя скрытый антисемитизм существовал здесь издавна, мало

кто из крестьян захотел бы испортить отношения с лавочником из-за баловства своего сына. Абрам Самуилович мог отпустить покупателю товар в долг, а мог и не сделать этого, мог продать отрез материи со скидкой или наоборот, заломить за него повышенную цену. Лавочник в селе был очень немаловажной персоной. Была и ещё одна причина, почему даже самые отъявленные хулиганы-прошлогодники не только не трогали школьников-евреев, но и считали этих ребят «своими жидами», подлежащими их покровительству. Положение «своего жида» Зяма покупал у того же Панченко при помощи сладких пирожков, кусков колбасы и прочей вкусной снеди. Путь к сердцу большей части человечества, как известно, лежит через желудок.

И все-таки иногда случалось, что какой-нибудь безответственный дурак делал злостный антисемитский выпад в адрес тихого к задумчивого Зямы, пользуясь его физической слабостью и своим положением представителя господствующей религии. Однажды, когда Ботвинник грустно сидел на подоконнике в коридоре, а его православные одноклассники шумно валили мимо него на занятия по славянскому языку в наш класс, Маслюк, завидовавший Зяме, что тот избавлен от этих занятий, а следовательно, и от линейки законоучителя, обидел мальчика глупо и грубо. Он показал ему «свиное ухо», зажатый в руке уголок рубахи и буркнул дурацкой скороговоркой:

- Жид, Христа нашего распял!

Я был тогда зол на Маслюка за недавнюю историю с «Титой Катериновной» и треснул его по шее. Здоровенный прошлогодник тут же ответил мне ударом в ухо, соединённым с ловкой подножкой, и я покатился прямо под ноги шедшему по коридору священнику. Почтенный иерей споткнулся о меня и тоже едва не упал в образовавшуюся «кучу малу». Хорошо ещё, что в руках у отца Григория не было его линейки. Но на урок ни я, ни Маслюк не были допущены, и оба оставлены в тот день без обеда. В коридоре прошлогодник, уже больше назло мне, опять начал дразнить Ботвинника, и наша драка возобновилась. Хотя Маслюк был гораздо сильнее меня, я был злее и сумел расквасить ему нос.

Когда уже под вечер, голодный и с синяком под глазом, я уныло брел домой, то ещё издали увидел, что на крыльце лавки Ботвинника сидит Зяма. Завидев меня, он встал, пошёл мне навстречу и попросил зайти к нему в дом. Это было совершенно неожиданно, и я застеснялся. Но Зяма заявил, что приглашение исходит не только от него, а и от его родителей. Всё ещё не очень понимая в чём дело, я вошёл в небольшой двор рядом с лавкой. Он сильно отличался от обычных крестьянских дворов отсутствием хлева для скотины и неизбежных куч навоза. Из надворных построек здесь были только курятник и дровяной сарай. Я долго вытирал ноги о рогожку, лежавшую перед входом в дом, и, подталкиваемый Зямой, вошёл в тёплые сени, а оттуда на кухню, в которой меня встретила мать Зямы, крупная женщина в засаленном платье и с резким высоким голосом. Она сразу же начала мне говорить что-то так громко, что я подумал сначала, что она меня ругает. Оказалось, что Рива Абрамовна приглашает меня раздеться и пройти в комнаты. Я смущенно копался у вешалки, когда в кухню просунулась вихрастая голова Соломона, долговязого малого лет пятнадцати.

- А ицен паровоз! - произнес Соломон непонятную для меня, а как позже выяснилось, и для него самого, фразу.

В большой комнате меня сразу же усадили за стол, хотя я уверял хозяев, что совершенно не хочу есть. Оказалось, что Зяма тоже ещё не обедал, ожидая моего выхода из школы, и что мы будем сегодня обедать вместе. Правила хорошего тона в моём тогдашнем понимании предписывали мне поломаться ещё некоторое время, но тут я почувствовал, что от запаха супа с курицей у меня начинает кружиться голова. А когда я начал его есть, мне очень трудно было делать это прилично, не проявляя голодной жадности, зверем рвавшей откуда-то изнутри. Я уже забыл, что на свете есть такие вкусные вещи, как этот суп и жареная рыба на второе.

Наевшись, я почувствовал, что моё первоначальное смущение не только прошло, но и сменилось веселостью и каким-то развязным настроением. Вообще-то, это было вовсе мне не свойственно. И много позже я понял, что своим необычным состоянием был обязан тогда почти забытому ощущению сытости. Потом я много раз наблюдал



это явление и на других людях. Если хронически голодающего человека накормить, он почти всегда приходит в состояние некоторой эйфории, похожей на лёгкое опьянение. Это состояние помогло мне в тот первый визит в дом Ботвинника преодолеть свою обычную диковатость и поближе познакомиться с этим домом и его обитателями.

Сначала я не мог понять, чем он отличается от всех других, виденных мною до сих пор, хотя и чувствовал, что отличается. Только потом, осторожно оглядевшие, я вдруг понял, что в доме нет икон. Необычными были и олеографии, развешенные по стенам в застеклённых рамках. Одна из них изображала внутренний вид синагоги, другие – религиозные обряды в почтенной еврейской семье. Белобородый старый еврей в длиннополом сюртуке благословлял сына в таком же сюртуке и с длинными пейсами на брак. На другой картине тот же старик при свете семисвечника читал Тору.

После обеда, когда взрослых поблизости не было, Зяма приоткрыл дверь в маленькую комнату и показал мне удивительные предметы: многорожковый канделябр и свиток с печатью и палкой внутри, похожей на маленькую скалку. Оказалось, что когда евреев слишком мало, чтобы можно было организовать общину и построить синагогу, они все религиозные обряды выполняют у себя дома, а роль священника и «раввина» исполняет глава семьи. Узнал я также, что мужчинам-евреям нельзя быть в доме с непокрытой головой. Это было удивительно и неожиданно. У нас человека, не снявшего в доме шапки, считают невежей. Зяма пояснил, что обычную шапку полагается снимать и у евреев, а вместо неё надевать домашнюю шапочку, которая называется ермолкой. Ношение ермолки, впрочем, обязательно только для уже взрослых мужчин. Когда из лавки – её помещение примыкало прямо к хозяйскому жилью – пришёл Самуил Абрамович, он сразу же надел свою смешную шапочку.

Это был высокий лысеющий человек с рыжеватой бородкой клином и со спокойными пронизательными глазами. Такой же спокойной и неторопливой была и его речь. Хозяин дома спросил у меня, что пишет с фронта Егор Иванович и как идут дела в нашей семье. Я ответил, что папа всё воюет, два раза уже был ранен, а дела у нас «ничего». На это «ничего» Абрам Самуилович только по-

качал головой. Потом он опять ушёл в лавку вместе с Соломоном, а Рива Абрамовна и Рахиль, самая старшая из детей Ботвинников, носатая и некрасивая девушка, отправились на кухню.

Мы с Зямой остались одни. С этим еврейским парнем, оказывается, было очень интересно разговаривать. Зяма думал о таких вещах, которые даже мне не приходили в голову. Он много размышлял над вопросом: откуда что взялось? Я сначала решил, что это происходит от незнания Зямой истории сотворения мира, поскольку от изучения Ветхого завета он отстранён, и начал было его просвещать. Оказалось, однако, что все библейские мифы Зяма знает гораздо лучше, чем я. Он показал мне громадную книжищу, заполненную непонятными письменами, которые надо было читать справа налево, и сказал, что это и есть «Ветхий завет» в его полном объёме. Сам он, правда, разбирает еврейское письмо ещё с трудом. Но как мужчина постоянно присутствует при чтении его отцом этой вот «Библии» и ещё «Талмуда», другой священной книги евреев. И то, что мир является творением Бога, он знает отлично. Смущает же его другое – откуда взялся сам Бог? Вопрос поразил меня своей логичностью. В самом деле, что толку от всех объяснений Ветхого завета, если они приводят лишь к новому тупику? И всё же нужна особая пытливость, чтобы поставить перед собой вопрос о происхождении Бога! Мне, например, он ни разу не пришёл в голову. Зяма признался, что этот вопрос ни у кого и не должен возникать, так как он нехороший. И сам бы он до него не додумался, если бы не услышал как-то на крыльце отцовской лавки болтовню солдата-калеки, напившегося денатурата.

Денатурированный спирт с изображением мёртвой головы, скрещенных костей и устрашающей надписью «Яд!!!» на бутылочной этикетке ещё можно было купить у Евтеева. Денатурат явился первым и самым доступным, пока он не исчез, средством обхода царского сухого закона, хотя грозных предупреждений на его этикетках пока ещё и побаивались. А тот солдат с деревянной ногой, которого слушал сын лавочника и ещё много разных людей, собравшихся под навесом ботвинниковского крыльца, ничего уже, как видно, не боялся. Солдат говорил, что офицерня на фронте давно уже хлещет «синюху». Да ещё

называет её коньяком «три косточки». А отпугивающая надпись на бутылке рассчитана на дураков, как и многие другие слова, придуманные для обмана народа. Про солдатский долг, например, про царя-батюшку, Рассеюматушку... Сиди, знай, русский мужик, в гнилом окопе! Корми вшей, пока тебе немецким снарядом кишки «на телефон» не забросит или руки-ноги к чёртовой матери не оторвёт. А на кой нам эта война за отечество да царя с царицей с их Гришкой Распутиным? Зяма хорошо запомнил давно мне знакомые имя и фамилию этого придворного мужика. О Распутине говорил что-то весьма нелестное и мой отец, когда приезжал на побывку, но в отличие от него Зямин солдат утверждал ещё, что войну выдумали генералы да министры. Простому же народу она совсем ни к чему...

– Война – это от Бога, – вздохнул случившийся рядом старик.

– От Бога, говоришь? – уставился на него пьяный солдат. – А Бог-то откуда? Попы его выдумали твоего Бога, вот что!

И этот выкрик поразил Зяму. Конечно, только такой пьяный или вконец опустившийся человек может думать, что Бога нет совсем. Сам Зяма в его существовании не сомневался, тем более что такое сомнение – страшный грех. Но вот вопрос «откуда же появился Бог?» ржавым гвоздём засел в его голове. Вопрос этот тоже еретический, и ответить на него никто не сможет. И даже знать о том, что в голове у Зямы возник этот вопрос, никто не должен. О своих тайных мыслях Зяма сообщил мне строго доверительно.

С этого дня у меня появился первый в моей жизни личный друг. Приятели, вроде соседского Санька, у меня были и прежде. С ними можно было затевать разные игры, вести разговоры об удивительных вещах, иногда обсуждать даже прочитанные книжки. Но поделиться с ними какой-нибудь диковатой мыслью, которая и самому мне казалась не очень позволительной, я бы постеснялся. С Зямой же это можно было делать. В начитанности и способности запоминать стихи он мне уступал. Зато никто в нашем классе не мог лучше Ботвинника решать арифметические задачи. Зяма очень аккуратно писал и умел играть в шашки. Этой игре он и меня научил, но шашки

меня так и не увлекли. Тем более что я постоянно Зяме проигрывал.

Через несколько дней после моего первого посещения дома Ботвинников я был снова в него приглашен и на этот раз пошёл весьма охотно. Была суббота. В доме пахло вымытыми накануне полами. Лавка в этот день была закрыта. Абрам Самуилович и Соломон, оба в ермолках, сидели за столом и читали свои громоздкие книги. Рива Абрамовна и Рахиль со скучающим видом смотрели в окно. Как только я разделся, Зяма попросил меня разжечь огонь в печке и самоваре. Всё для этого было уже подготовлено. В печке лежали сухие дрова и растопка, в начищенный самовар насыпаны угли и засунуты лучины. Оставалось только поднести спичку. И всё-таки впечатление было такое, что не сделай я этого пустякового дела, всё в доме так и осталось бы застывшим и холодным.

Пока разогревался обед, тоже приготовленный накануне, Зяма разъяснил мне моё недоумение. Религиозный закон запрещает правоверным евреям в субботу не только работать, но и пользоваться деньгами и даже разводить в своём доме огонь. Выход из этого положения, однако, есть. Надо иметь какого-нибудь знакомого нееврея, обычно мальчишку, который возьмёт на свою душу грех разведения огня. Иноверец еврейского Бога может не бояться, ему-то всё равно.

Позже Зяма доверительно сообщил мне, что с канонической точки зрения, «шабес-гой», праздничный прислужник-нееврей в еврейском доме, собственно, и не может принять на себя никакого греха, ибо, согласно Талмуду, бессмертной душой наделены только поклонники Иеговы. Мне стало обидно: как это у меня нет души? Зяма смущенно объяснил, что сам он так не думает. У незлых христиан, вроде меня, душа, хоть какая-нибудь, наверно, есть. Но таково талмудистское учение. Он мог бы мне об этом и не говорить, если бы не считал меня надёжным другом. Однако от этого его сообщение о неполноценности христиан, пусть только с еврейской точки зрения, не стало более лестным.

Вскоре я узнал, что сомнительность роли шабес-гоя была на селе известна. Недавно от неё отказался младший сын второго лавочника и соседа Ботвинников Митька Евтеев, потому что его начали дразнить «жидовской

зажигалкой». Когда возник вопрос о новой кандидатуре на эту должность, выбор пал на меня – и не случайно. Почему бы филантропии и доброжелательству со стороны обеспеченной еврейской семьи к достойному их русскому пареньку не сочетаться с практической пользой?

Дела у обоих сельских лавочников шли всё хуже из-за непрерывно возрастающей трудности доставать нужные населению товары. Правдой, вероятно, было и то, что самые дефицитные из этих товаров владельцы лавок давно припрятали. В одежде крестьян вновь начали преобладать почти исчезнувшие было домотканые свитки и белые холщовые штаны. Соль и керосин появлялись в продаже только изредка, а когда появлялись, то их сразу же, сбегаясь в длинную очередь, в запас раскупали крестьяне. Это были первые ласточки надвигающегося товарного голода. Керосин в нашем каганце мы заменили «алинафтом» – так называли здесь олеонафт, минеральное смазочное масло, которое ещё можно было достать. Каганец с олеонафтом давал ещё меньше света, чем заправленный керосином. Его пламя нужно было поддерживать вовсе уж крохотным, иначе оно начинало густо коптить. Копотью в нашем доме покрылись потолок и стены, а сами мы по утрам сморкались и отхаркивались чёрным.

Война стала как бы привычной в самом скверном смысле этого слова, как может быть привычной хроническая болезнь. И конца ей всё не было видно. Поток калек с фронта пополнился ещё одной их разновидностью – людьми, «хватившими» газа. В «Огоньке» появились фотографии солдат в противогазных масках. Первые противогазы напоминали противных глазастых птиц с подвешенными к их клювам продолговатыми коробками. Один из солдат, отравленный газом на германском фронте (вероятно, хлором), вернувшись домой, не мог жить под крышей – пораженным лёгким не хватало воздуха. Даже в стужу и дождь он спал в саду под яблоней. Промучившись так месяца три, бедняга умер.

Голодное существование в нашей семье стало ещё и холодным. Контора Экономии отказалась снабжать нас дровами. Управляющий заявил матери, что пусть она будет благодарна владельцу имения уже за то, что тот оставил её в прежней квартире и она пользуется бесплатным

огородом. Снабжали семью воюющего солдата и топливом, пока это было возможно. А теперь вот нельзя. Некому рубить дрова и вывозить их из леса, расположенного в верстах шести от Экономии. Однако собирать хворост в этом лесу нам разрешается.

Теперь мать и я – Тайка оставалась смотреть за младшими – с двухколёсной тележкой, взятой напрокат у шорничихи, раза два в неделю отправлялись в лес, а вернее редколесье, больше ольха да осина. Второсортного топлива, собранного нами, едва хватало, чтобы приготовить пищу. Часто ездить в лес мы к тому же не могли – я занимался в школе, и в доме было очень холодно. Особенно тяжело переносил холод Коля. Он уже с трудом передвигался на тоненьких кривоватых ножках, держась за стены и мебель. Несмотря на мою старую тёплую кофту, мешком свисавшую с его худеньких плечиков, мальчик был какой-то бледно-синий и большую часть времени мелко-мелко дрожал. А в глазах у него опять светилось мучительное недоумение: почему жизнь означает для него почти непрерывное страдание?

Однажды к нам в класс вместе с учительницей вошёл церковный регент. Тот самый кривоногий и кривобокий человек с козлиной бородкой, которого все постоянно видели на богослужениях. В руках регент держал скрипку и смычок. Оказалось, что он пришёл отбирать мальчишек для церковного хора. Регент играл на своей скрипке «сольфеджио», а мы тянули за ним «до-ре-ми-фа-соль-ля...». После этого он объявил одним, что они будут петь в хоре «дискантами», другим – что «альтами». Однако подавляющему большинству проходивших испытание, в том числе и мне, регент сказал, что нам «медведь на ухо наступил». Это было крайне обидно и огорчительно. Нам так хотелось стоять во время богослужения на виду у всех молящихся на клиросе и чувствовать на себе восхищённые взгляды своих матерей и завистливые – неудачников, с которыми так грубо обошёлся неведомый медведь. Но когда по вечерам в церковном домике у отобранных счастливых начались частые спевки, зависть к ним исчезла бесследно. Регент оказался довольно злым мужичонкой, который не только всё время ругал обладателей ангельских голосов за бестолковость и невнимательность,

но ещё и лупил их камертоном по носу, а смычком – по голове.

В одно серенькое предвесеннее утро я проснулся, как и в день начала войны, от плача матери на кухне. Опять, видно, случилось что-то недоброе. Первое, что пришло мне в голову, была мысль, что убит отец. С трудом попадая в путающиеся штанины, я кое-как натянул их и выбежал на кухню. Мать была не одна, на лавке сидела кума Горпина Тарасовна и тоже плакала. Я уставился на женщин испуганным вопросительным взглядом. Заливаясь слезами и горестно качая головой, мать сказала, что царя у нас больше нет, его «спихнули» какие-то нехорошие люди. Уж так случилось, что о двух важнейших событиях начала века – войне и революции – я узнал именно от неё. И притом при почти одинаковых обстоятельствах. Спросонья я не понял сразу, что, собственно, произошло. В моём воображении возникла картина: царя в его блестящем мундире спихивают с какой-то верхотуры, и он разбивается на мелкие сверкающие осколки, как одна из наших вазочек, которую свалил-таки непоседливый Серёжка. Потом из вздохов и всхлипываний женщин я понял кое-как, что государя-императора заставили подписать отречение от престола его крамольные приближённые и что верховной власти в нашей стране больше нет. Обезглавленную и лишённую порядка Россию легко теперь завоюют немцы и посадят на пустующий престол своего усатого Вильгельма. Женщины заходились в плаче:

– И как же мы теперь дальше-то жить будем, господи?

Я тоже начал было всхлипывать, но вовремя спохватился, что нужно умыться и бежать в школу. Там тоже все были взбудоражены. И даже когда прозвонил звонок, учителя, о чём-то споря и совещаясь, долго не выходили из учительской. Обрадованные свободой ученики шумели и носились по коридору. Наконец в класс с торжественным видом вошла наша учительница и объявила, что Российский император Николай Александрович Романов отрёкся от престола в пользу своего брата Михаила. По виду Катерины Титовны было не похоже, что она разделяет опасения деревенских женщин. Наоборот, обычно суховатая и почти желчная, сегодня она была в очень приподнятом настроении. Учительница объяснила нам, что хотя бывший царь и предлагает свой покинутый пре-

стол брату Михаилу, может случиться, что ни нового, ни старого царя в России больше не будет. Я спросил:

– А разве можно совсем без царя?

Оказалось, что можно. Существуют народы, которые сотнями лет правят своими странами сами. Франция, например. Да и наша Украина, пока она добровольно не пошла в подчинение Московии и не стала называться Малороссией, обходилась без всяких наследственных царей, а народом правили выборные гетманы. Я тогда впервые, хотя ещё и не совсем отчетливо, почувствовал, что Катерина Титовна относится к главенству России над Украиной безо всякого почтения. И что она, похоже, никак не будет возражать, если нынешняя «Московия» со всеми её царями и прочими правителями покатится в тартарары. Это было неожиданно и поэтому странно.

Отречение царя приветствовал и наш заведующий Филипп Андреевич, судя по его радостно возбуждённому виду. Сквозь приоткрытую дверь учительской мы видели, как, сильно жестикулируя и часто протирая очки, он спорит о чём-то с Катериной Титовной и самой молодой нашей учительницей Агриппиной Семёновной. Пожилая Ольга Кондратьевна и отец Григорий слушали этот спор не вмешиваясь, но было видно, что они не одобряют ни одну из спорящих сторон. Уроки в тот необычный день начались с большим опозданием и проходили кое-как, больше для формы.

На селе и в нашей Экономии люди собирались кучками и вели возбуждённые разговоры. Лавки Ботвинника и Евтеева с их опустевшими полками превратились в подобие дискуссионных клубов, в которых с утра до вечера толпился народ. Особенно активными были увечные демобилизованные солдаты, большей частью настроенные очень озлобленно и остро ненавидевшие войну и её организаторов. Портреты царя Николая Второго, висевшие в волостном правлении, на почте и у нас в школе, сняли и куда-то спрятали. Говорили, что теперь обязанности главы государства исполняет какой-то князь по фамилии Львов. Появились новые и малопонятные слова: «Временное правительство», «Учредительное собрание». Все ждали недалёкого окончания войны. Народ ведь её не хочет, а правительство, затеявшее эту войну, свергнуто. Перспектива скорого мира примирила с революцией даже



такую убеждённую монархистку, как моя мать. Она повеселела и больше уже не плакала по «спихнутому» царю.

Впрочем, тогда и многие настоящие монархисты не жалели об отречении слабовольного и слабохарактерного Николая Романова, авторитет которого был давно и безнадежно подмочен. Какой же он, к чёрту, царь, если со своей бабой, немкой Алисой, путающейся с каким-то конокрадом, сладить не может? Один демобилизованный солдат на крыльце ботвинниковой лавки рассказывал, что в окопах по рукам ходила картинка, изображающая, как Главнокомандующий русской армией Великий князь Николай Николаевич цепляет солдатский крестик на мундир своему двоюродному племяннику царю Николаю, посетившему передовую линию. Сначала офицеры и «шкуры» фельдфебели были довольны, что солдаты рассматривают картинку с явным интересом. Но потом выяснилось, что под ней кто-то сделал подпись карандашом: «Царь-батюшка с Игорием, а царица-матушка с Григорием». Жалеть такого царя считалось почти неприличным.

Часть 4

# Революция и гражданская война

Война продолжается

Украина получает фактическую автономию

Перевод преподавания на украинский язык

Портреты Шевченко

Отъезд из имения его владельцев

Отделение Украины от России

«Центральная Рада» в Киеве и «трудовые рады» на местах

Первая «реквизиция» в доме Брезелей

Отец – член Петроградского совдепа

Назначение отца начальником отряда  
сельской милиции

Наступление немцев и уход из села  
сторонников большевизма

Эпидемия испанки

Уход немецких войск и наступление петлюровцев

Красные и белые

Разгром баронской усадьбы



Время шло, но надежды на прекращение войны временным правительством не сбывались. Наоборот, это правительство обращалось к народу с призывами потерпеть и закончить войну победой. Появился плакат: на фоне багрового дымного пламени русский солдат с измождённым лицом высоко вскидывает винтовку в боевом порыве. Надпись над мрачным плакатом гласила: «Война до победного конца!»

К весне стало известно, что Украина – а не «Малороссия», как прежде, – стала почти самостоятельной и управляется теперь не из кацапского Петрограда, а из родного Киева. У нас есть теперь и собственное правительство, которое называется «Центральной Радой», и оно само решает, когда ему подчиняться Всероссийскому временному правительству, а когда и нет. По случаю установления украинской автономии на сельской площади был устроен торжественный сход-митинг. «Автономия» и «митинг» – два очередных новых политических термина сразу! Подобные слова сыпались теперь как из рога изобилия – успевай только запоминать!

Прибывшие из города ораторы обращались к собравшейся на площади толпе с высокого крыльца нашей «волости». Все они говорили о том, что полученная Украиной автономия – это только первый шаг на ее пути к скорой уже, полной «незалежности» от России. Уже сейчас на всей территории Украины государственным языком объявляется «ридна мова», на которую немедленно переводится преподавание в школах. Государственным гимном Украины становится шевченковский «Заповіт» (Завещание), подлежащий исполнению на всех торжественных собраниях украинских «громадян». Речи агитаторов-самостийников поддерживались громкими выкриками из толпы: «Правильно!» Было заметно, что самостийнические настроения у нас довольно сильны, особенно среди

мужиков из числа самостоятельных хлеборобов. В конце митинга люди на крыльце сняли шапки и торжественно запели: «Як умру, то поховайте...» Пение «Заповита» было поддержано, притом довольно дружно, собравшись на площади крестьянами. Его слова и мотив многие тут, оказывается, хорошо знали. Преподавание в нашей школе перевели на украинский язык с поспешностью, достойной лучшего применения. Не было ни книжек на украинском языке, ни его установившейся орфографии. Во всяком случае, такая орфография никому из наших учителей не была известна, включая и энтузиастку-самостийницу Катерину Титовну. Она и Агриппина Семеновна сразу же проявили себя как предельно «щирые» украинки. Главным предметом своих занятий с учениками они сделали диктанты на украинском языке. Ученики в своём подавляющем большинстве приняли эти занятия весьма охотно, их и в самом деле тяготил почти чужой им «кацапский» язык. Теперь так именовался русский язык вообще, а не только говор соседей-курян. Даже Маслюк, у которого прежде приходилось по две ошибки на каждое слово русского диктанта, бойко выводил теперь на грифельной доске что-нибудь вроде «Нэма краю краще нэньки-Украины!» Архаические аспидные доски очень выручали дело украинизации и школьное дело вообще. Тетрадей для писания почти уже не было, как и карандашей, из продажи исчезли спички, мыло и все другие промышленные товары.

Филипп Андреевич и Ольга Кондратьевна перешли на украинский язык явно безо всякого энтузиазма. Язык этот они, конечно, отлично понимали, но говорили на нём довольно смешно и чувствовали это сами. Любопытно было слушать, как разговаривали Катерина Титовна и Филипп Андреевич вне уроков, когда каждый из них говорил на своём языке. Человек, видевший нашу учительницу в первый раз, мог бы подумать, что она вообще не может произнести слова по-русски. А между тем Катерина Титовна закончила женские учительские курсы и знала русский язык и его литературу превосходно. Весьма дипломатично решил языковую проблему отец Григорий. Чтобы не раздражать «щирых» преподаванием Закона божьего на русском языке, но и не принижать этого высокого предмета хохлацкой «мовой», он вёл уроки

на церковно-славянском языке. Однако правильнее было бы назвать этот язык «церковно-русским». Вряд ли всё это тогдашнее вавилонское столпотворение пошло на пользу нам – школярам.

В нашем селе, как и всюду, была организована «Просвита» – культурно-просветительская организация с резко выраженным националистическим направлением. Участие местной интеллигенции в работе «Просвиты» было практически обязательным. Крестьяне, особенно молодые, шли в «Просвиту» весьма охотно, они составляли ядро хорового и драматического кружков. Спевками и репетициями эти кружки занимались по вечерам в школьных классах. Певческим кружком руководил всё тот же хромой регент. В хоре, кроме молодых девчат и парубков, было немало и весьма зрелых любителей песни. Точнее, украинской народной песни, так как никаких других песен тут не разучивали. У украинцев имелось достаточно оснований для гордости своей песенной культурой, даже если эта гордость и не подогревалась националистическим настроением. Но оно тут было в избытке и тоже немало содействовало душевному подъёму певцов. А следовательно, и высокому качеству исполнения. Самодеятельный хор нашей «Просвиты» пел превосходно, каждое его занятие заканчивалось обязательным исполнением «Заповита». Нас, школьников, тоже специально обучали пению этого гимна. Никакого отбора голосов для этого не производилось. Участвовать в исполнении национально-го гимна обязаны были все, в том числе и учителя.

Дух народничества пронизывал занятия и здешнего драматического кружка. Но этот дух выражался лишь в восстановлении традиционного балаганного стиля старинных ярмарочных представлений. Кружок разучивал пьесы вроде «Глытай, або ж павук» и не менее популярной «Кум-мирошник (мельник), або сатана в бочци».

В середине коридора, на том месте, где прежде висел портрет царя, и в той же рамке помещался теперь портрет Тараса Шевченко, очень неплохо сделанный местным художником-самоучкой. В исполнении того же художника из бывшей царской рамы исподлобья глядел «батько Тарас» и на посетителей бывшего волостного правления, ставшего теперь центром местного сельского самоуправления – «спилки».

Старинная народная комедия «Кум-мирошник» была поставлена самодеятельными актёрами в самом конце учебного года в коридоре нашей школы. В его дальнем конце была сколочена временная сцена. Никаких сидений для зрителей не предусматривалось – кто хочет посмотреть пьесу, тот сможет и постоять. Спектакль был назначен на вечер в воскресенье. Я и многие другие школьники явились в школу с раннего утра, чтобы не упустить хорошего места и посмотреть на приготовления к этому спектаклю. Однако кружковцы-актеры, костюмеры и декораторы появились здесь только во второй половине дня, когда я уже здорово проголодался. Уходить, однако, было никак нельзя. Тут начинались такие захватывающе интересные дела, как переодевание и навешивание декораций из старых мешков на сцене. Я даже забыл, что очень хочу есть, когда увидел как знакомые парубки после наклеивания им усов и бород из крашеной пакли становятся совершенно неузнаваемыми. Самым интересным персонажем пьесы был чёрт. На его физиономии, густо вымазанной сажей, ярко выделялись зубы и белки глаз. На голове чёрта были приделаны страшные бычьи рога, а из-под вывернутой наизнанку чёрной овчины свисал толстый и тяжёлый коровий хвост. Для освещения сцены активисты «Просвиты» принесли из домов десятка полтора уже заправленных ламп. Для такого дела они не пожалели даже драгоценного керосина. Лампы были расставлены вдоль рампы и развешаны по бокам сцены. Освещение получилось весьма эффектным и сильным.

Но самого представления я почти не видел, оттеснённый взрослыми зрителями, привалившими сюда под вечер целыми толпами, куда-то в самый зад, почти к выходу из коридора. Зажатый между высоченными взрослыми парубками, я только слышал сквозь гогот публики топот ног актеров по хлипкому дощатому настилу сцены, выкрикивания чёрта, звуки палочных ударов – какая же без них комедия? – и вопли постоянно избиваемого мирошника, густо обсыпанного мукой. Раза два представление прерывалось из-за того, что пламя в лампах начинало коптить, лопотать и гаснуть. Тогда устраивали нечто вроде антракта, а публика выкатывалась во двор. Я попытался использовать эти антракты для улучшения своей зрительской позиции и пробрался вперед. Но кон-

чилось это тем, что какие-то незнакомые хлопцы запихнули меня в пустой дальний класс, а под ручку его двери засунули палку. Кто-то освободил меня уже после окончания спектакля. От голода, усталости и обиды я едва добрался домой поздним вечером. Так закончилось моё первое знакомство со сценическим искусством.

А на другой день начались очередные каникулы. Как всегда в это время года, мы копались на своём огорожке, отогревались на солнышке и немного отъедались первой огородной зеленью. Разговоров о скором окончании войны уже никто не вёл. Наоборот, шли слухи, что предпринятое русской армией наступление не удалось и наших перебито на фронте видимо-невидимо. Мать опять плакала и молилась перед иконами о спасении воина Егория – письма от отца не было уже очень давно. Наконец оно пришло, но показалось нам сначала очень странным. Отец писал, что затеял с каким-то солдатом совершенно ненужную драку и тот здорово подбил ему глаз. Затем следовало моралистское рассуждение о вреде всяких драк вообще и необходимости скорее покончить с ними. Отец ни в какие драки зря никогда не вступал, но если бы это и случилось, не стал бы о таких пустяках писать. Мать недоумевала, а потом её осенило. Это же иносказательное письмо! Под «дракой» Егорушка подразумевает войну, а под подбитым глазом – поражение русских на германском фронте! А эзоповский стиль – это для цензуры, чтобы письмо не было уничтожено. Вряд ли военную цензуру можно было провести такими наивными иносказаниями. Скорее ей просто не под силу было проверять миллионы солдатских писем.

В середине лета в разговорах взрослых стала ещё чаще появляться фамилия человека, ставшего в России главным после отстранения от этой должности князя Львова, – какого-то Керенского. Вскоре появилось множество новых денег, которые все называли «керенками». Это были невзрачные, ни в какое сравнение не идущие даже по внешнему виду с пышными царскими купюрами бумажки, больше похожие на бутылочные наклейки. Керенки имели только два номинала – в двадцать и сорок рублей. Стоили они раз в двадцать дешевле царских денег даже в начале выпуска. Две таких бумажки получил этим летом и я – это был мой первый заработок: прора-



ботал кочегаром возле одного из локомотивов во время молотбы. Для такой работы, даже по тогдашним понятиям, я был ещё мал, но меня по просьбе матери устроил на неё теперешний механик Экономии Петрусь. Работа истопника при паровике оказалась не столь приятной и интересной, какой она казалась мне со стороны. От котла несло сухим жаром, что было особенно неприятно под палящим августовским солнцем, солома при скручивании её в жгут резала руки. Поэтому часто казалось, что ноги вот-вот сами заработают и понесут меня прочь от этого чёртового места, стоять на котором приходилось от зари до зари. Но этого я им, конечно, так и не позволил.

На селе появились первые солдаты, не демобилизованные и не отпущенные на побывку, как прежде, а оставившие фронт самовольно. Многие из них прихватили с собой винтовки и другое оружие. Дезертиры – не дезертиры, они почти в открытую вели дерзкие разговоры о том, что в России надо всё переделать. Первым делом отобрать у помещиков землю и поделить её между мужиками. Такие разговоры мне случалось слышать и раньше. Но тогда они были более осторожными, а главное, менее конкретными. Теперь же на крыльце ботвинниковой лавки иногда даже подсчитывали, сколько придётся на каждого бедняка Брезелихи баронской земли, если разделить её между этими бедняками поровну. Говорили также о том, что делёж надо производить по справедливости. У кого больше детей, тому и земли давать больше. То, что самые бедные из крестьян были и самыми многодетными – это никого не удивляло. Это было как бы законом жизни, само собою разумеющимся. Только иногда кто-нибудь добродушно шутил, что причиной такого положения является постоянная нехватка керосина в бедных семьях. Шутка, повергавшая меня в недоумение – при чём тут керосин?

С принципом дележа по признаку количества едоков в семье были согласны не все. Некоторые говорили, что лодырям и пьяницам, будь у них хоть по десятку детей, земли давать не следует. Только овсюг на ней будут разводить да ещё активнее плодить нищих. Большинство голодранцев оттого и голодранцы, что лодыри.

У голоты две работы – не горилку пить, так вошей бить, а не вошей бить, так горилку пить... Панскую зем-

лю нужно разделить между теми, кто наверняка сумеет дать ей лад, между настоящими хлеборобами! Шумный спор из-за шкуры пока ещё не убитого медведя доходил иногда чуть не до потасовки.

Несмотря на сухой закон, а точнее благодаря ему, на селе вспыхнуло пьянство, о котором во времена монополии с её обилием спиртного тут и не слыхивали. Было для этого, конечно, и много других причин. Привезённое с фронта ухарство: «судьба – индейка, а жизнь – копейка», ощущение зыбкости всего строя жизни, тревожное неведение, что будет завтра.

Некоторое время главным заменителем водки продолжал оставаться всё тот же денатурат, который здесь называли почему-то «ханжой». Возможно, это было искажённое название «ханшин», привезённое старыми солдатами ещё с полей Маньчжурии, где так называлась противная китайская водка. Но теперь было уже известно, что ханжа не так безобидна, как думали вначале. Многие за избыток доверия к безвредности денатурата поплатились потерей зрения. Поэтому его стали очищать пропусканием через измельчённый берёзовый уголь. Древесный уголь действительно обесцвечивал предупредительную окраску денатурированного спирта анилиновыми красителями и частично поглощал сивушные масла. Отравляющая же примесь, обычно метиловый спирт, в денатурате оставалась. Но владельцы очистительных аппаратов были весьма довольны результатами очистки.

– Как слеза, не хуже николаевской! – восторгались они, пробуя, нюхая и разглядывая своё изделие на свет.

Однако доставать далее отравленный спирт становилось все труднее, и вскоре на селе появились брага, самодельное пиво и – вершина доморощенного производства спиртного – самогонка. Это было новое слово, а не возрождённое старинное, как думают некоторые. У Даля толкование слова «самогон» дано только в одном значении: это способ охоты на зверя при помощи гонки на лыжах. Оказалось, что самодельную водку не так уж сложно гнать из множества подручных веществ, содержащих хоть немного сахара. Главными материалами для самогонварения в украинской деревне стали сахарная свекла и «маляс» – чёрная патока, являвшаяся отходом сахарно-

го производства. Гнали самогон также из слив, тыквы и бог знает из чего ещё. Несколько позже Демьян Бедный, отзывавшийся в своих злободневных стихах почти на все явления тогдашней жизни, писал в характерной для него манере:

Вот настали времена,  
Что ни день, то чудо:  
Гонят спирт уж из говна  
По четверти с пуда.

Была разработана и конструкция самогонного аппарата, вскоре ставшая почти стандартной и повсеместно распространённой. Главной её частью был «холодильник» – прямая или спиральная медная трубка, проходившая через колоду с холодной водой. Дефицитные трубки стали для самогонщиков вожаемым предметом, за который они предлагали самые редкостные товары, включая муку-крупчатку и даже керосин. Говорили, что соседний сахарный завод начал в этом году сахароваренный сезон с большим опозданием из-за того, что к началу сезона из его теплообменных установок оказались выломанными чуть не все медные и латунные трубки.

Много лет спустя, перелистывая старую подшивку харьковского сатирического журнала «Жало» за первый военный год, я наткнулся на карикатуру, сделанную на весь разворот. Наверху страницы слева был нарисован пьяница довоенного времени. Подобно святому с лубочной монастырской картины, он летел на облаках в окружении разнокалиберных бутылок и бутылочек со спиртным. Тут были разнообразные водки, наливки, коньяки и прочие соблазнительные напитки из арсенала «зелёного змия». Впереди маячил печальный финиш этого путешествия – полуразвалившаяся избушка на курьих ножках, над которой было крупно выведено – «Нищета». На правой стороне страницы изображался тот же пьяница и в тех же облаках, но уже после запрета на спиртное. Теперь его свиту составляли флаконы, банки и бутылки с надписями: «одеколон», «муравьиный спирт», «денатурат», «политура», «наружное» и т. п. Впереди путешественника поджидала уже могила с покосившимся крестом, на котором значилось «Смерть». Над первым рисунком стояло – «Так было», над вторым – «Так есть». И на весь разворот на самом вер-

ху тянулся набранный крупным шрифтом вопрос: «Что лучше?» За этот выпад по поводу важного установления монаршей власти вольнодумный журнал был в своё время крупно оштрафован и на две недели закрыт.

Шли слухи, что на фронтах уже никого не осталось, все разбежались по домам. Вернулись домой насовсем шорник Кондрат Пахомович и бывший табельщик. Теперь Трофимом Семёновичем его называла не только моя мать, которой он приходился кумом, но и почти все в Экономии. Бывшего солдата назначили дворецким на место прежнего, убитого на фронте.

А вот восстановить на работе вернувшегося шорника оказалось не так просто. Чех Франц заявил, что ни на какую другую работу он переходить не желает, так как не считает себя более военнопленным. Эту мысль подхватили все остальные австрияки. В самом деле, о каком подчинении статуту для военнопленных может идти речь, если фактически более не существует ни русской армии, ни австро-венгерской? Бывшие солдаты этой армии могут согласиться работать на русского помещика только при условии, что тот будет платить им как вольнонаёмным рабочим. Возникла весьма кляузная ситуация. С одной стороны, с агонизирующей империей Габсбургов действительно не было никакой войны, с другой – никто не заключал с ней и мира. Русская армия, правда, распалась, но оставалась ещё Россия. Так как же быть? Впрочем, всё это была больше теория. Практическая же сторона дела заключалась прежде всего в том, что если бы австрияки, галдевшие около своей казармы, вздумали сейчас просто уйти, то удержать их было бы нечем и некому. Для хозяйства Экономии это было бы настоящей катастрофой, так как из других губерний батраки больше не приезжали, а местные крестьяне работать на помещика просто не хотели. Частично из-за старой, теперь снова проснувшейся враждебности к панам, частично из-за отсутствия интереса – не за водочные же наклейки спину гнуть! Но погалдев немного, австрияки остались. Причиной этого вряд ли были обещания владельца Экономии отлично кормить бывших военнопленных, улучшить их бытовые условия и выдать каждому при расчёте столько же керенок, сколько полагалось вольным батракам. Скорее австрияки просто не решились пока на уход, ещё не зная толком, что дела-

ется на границах. Вопрос о шорниках был решён типично социалистическим путём: оба они были оставлены на своей работе, хотя для двоих её было явно недостаточно. Поэтому Франц значительную часть времени проводил на селе, где у него была любовница. Та самая Глушачиха, о которой так много судачили бабы. Муж Глушачихи с войны не вернулся, по-видимому, где-то пропал. Кондрат Пахомович тоже тачал не столько хомуты, сколько чинил драную обувь для своих многочисленных детей. Вообще теперь почти все работали кое-как, спустя рукава. И уж подавно через пень-колоду собрали и обмолотили урожай на помещичьих землях. Крестьяне на этих землях устраивали частые потравы. Однажды осенней ночью подожгли на току скирды обмолоченной соломы, ходили тёмные слухи о волнениях в столице России.

Занятия в школе начались вовремя, но тоже шли как-то вразброд. За исключением активной самостийницы Катерины Титовны, учителя стали вести их тоже кое-как и часто пропускали уроки. Говорили, что так происходит потому, что керенки, которыми им платят за работу, почти ничего уже не стоят. Поэтому наши учителя больше думают о том, как им выкопать картошку на своём огороде, чем о занятиях. Мы писали на грифельных досках сентенции, возвышающие крестьянский труд над всеми остальными занятиями на свете. Хоровой кружок «Просвиты» почти каждое воскресенье давал в школьном коридоре – дощатую сцену в его дальнем конце так и не разобрали – концерты, на которых исполнялись, главным образом, песни, воспевающие казацкую старину. Самостийники очень неплохо играли на националистических и мелкособственнических струнах крестьянской души.

Поздней осенью заговорили о телеграмме, полученной старым барином от своего приятеля из Петрограда. Временное правительство упразднило все придворные должности, и седобородый барон уже с весны жил у себя в имении. Челядинцы, от которых в барском семействе секретов быть не может, рассказывали, что эта телеграмма содержала в себе краткий совет нашим господам немедленно выезжать из деревни. Брезели догадывались, наверное, чем вызван этот совет, так как ему последовали немедленно. Уехали они на другой день после получения телеграммы, и, по барским понятиям, почти

налегке. За фазтоном, в котором сидело всё баронское семейство, следовал жёлтый кабриолет с двумя горничными и старым лакеем Афанасием на козлах. Этот Афанасий был знаменит тем, что один во всей округе носил старомодные, совсем поседевшие бакенбарды. За легкими экипажами следовали дроги, гружённые чемоданами и саквояжами. Вскоре стало известно, что Брезели уехали в Киев, где у них тоже был собственный дом и где продолжал учиться в кадетском корпусе их единственный внук и сын. Большая часть оставшейся прислуги была распущена. Для присмотра за домом оставили только старую экономку и одну, тоже совсем старую горничную. Считался ещё состоящим при своих обязанностях садовый сторож, живший в небольшой сторожке в глубине сада на участке, где росли фруктовые деревья. Управление имением было целиком возложено на управляющего. Но он был чем-то неизлечимо болен, совсем одряхлел и как-то не по-хорошему похудел. Стал менее тучен, но не более подвижен. Кожа на старческих щеках образовала подобие мешков, свисающих вниз по сторонам седых моржовых усов. Ходил управляющий с большим трудом, тяжело опираясь на палку, а его щёки при каждом шаге подрагивали и тряслись. Говорили, что он как образованный и опытный агроном в своё время вывел имение Брезелей в число передовых в масштабе целой губернии и что уважали его тогда едва ли не больше, чем самого пана. А теперь вслед старику мальчишки часто кричали из-за плетней: «Старое опудало, старое опудало...»

Разговоры о телеграмме, вызвавшей спешное бегство здешних господ, возбудили у меня интерес к технической сущности телеграфа. Нельзя сказать, чтобы этот интерес возник тогда впервые. Ещё в год начала войны, когда мы получили телеграфное известие о смерти бабушки Пелагеи, я спрашивал у матери, что такое «телеграмма». Она была удручена горем, но всё-таки ответила, что это тоже письмо, только «прибежавшее по проводам». Я живо представил себе, как со звуком – вроде «вжик» – по проволоке, натянутой между столбами, бегут конверты со срочными письмами. Хорошо бы, конечно, проверить это самолично. Но телеграфной линии до нашего села не было – телеграммы доставлялись сюда почтой из города.

Теперь я уже понимал, что в представлении о движении писем по проводам заключается что-то сомнительное. Поэтому я обратился за разъяснениями к Петрусью как технически самому грамотному из моих знакомых. Он постоянно читал какие-то книги о машинах и делал из них аккуратные выписки в толстую тетрадь. Петрусь сказал мне, что телеграммы передаются с помощью электричества, которое получается от каких-то батарей. До сих пор я думал, что электричество – это только яркий-преяркий свет от больших гудящих фонарей и никакого отношения ни к чему другому, кроме этих фонарей, иметь не может. И как оно может получаться от батарей, которые являются боевым соединением пушек? Было похоже, что сельский самоучка что-то путает. Действием электричества Петрусь пытался объяснить также работу телефона – большого жёлтого ящика, висевшего на стене в конторе. При помощи этого ящика можно было разговаривать даже с 3-вом. Я тогда полагал, что звук передаётся по железной проволоке так же просто, как, например, шум приближающегося поезда по рельсам, о чём не раз слышал от старших. Другое дело – телефонный звонок. Тут всё было так же туманно, как и действие телеграфа. Объяснений Петруся, тоже представлявшего этот предмет весьма смутно, понять я тогда не смог.

Вскоре после отъезда из имения семейства Брезелей Катерина Титовна объяснила нам на занятиях, что Временное правительство свергнуто и власть в Петрограде захватили какие-то большевики. Их название, по-видимому, происходит от слова «большак» – большая дорога, на которой эти люди подвизались прежде в качестве разбойников. Во главе большевиков стоит их атаман по имени Ленин. Ничего больше о большевиках и о Ленине наша учительница не знала. Однако высказала предположение, что хотя это люди, надо думать, и отчаянные, а их предводитель, по слухам, отличается особой свирепостью, наглых захватчиков скоро прогонят. Более полные сведения о большевиках и их вожде имел Зяма. Но они исходили из очень разных источников и были крайне противоречивы. Какой-то солдат, только недавно пробравшийся домой с фронта, показывал в лавке Зямино отца измятую большевистскую газету под названием «Окопная правда». В ней было написано, что большеви-

ки хотят отдать всю власть в руки крестьян и рабочих. По мнению солдата, это было хорошо. А вот бакалейщик из 3-ва, приехавший на днях к своему приятелю лавочнику Евтееву, говорил, что этой «Правдой» и другими газетами того же толка немцы заряжают шрапнельные снаряды вместо картечи и стреляют ими по русским позициям. Ленина те же немцы переправили в Россию в запломбированном вагоне. Большевики нужны врагам нашей державы как сеятели смуты, которая, если разгорится, позволит им легко прибрать к рукам некогда могучее Русское государство.

А ещё через несколько дней после Октябрьского переворота в столице бывшей Российской империи Катерина Титовна сообщила нам с особой торжественностью, что давно ожидаемое великое событие совершилось. Центральная Рада не признала большевистского правительства и объявила Украину окончательно отделившейся от России. Теперь мы – незалежное и самостийное государство, которое будет управляться на основе собственных обычаев и законов. Учительница приказала нам встать и дрожащим от волнения голосом запела «Заповит». Это, конечно, означало приказ петь украинский гимн всему классу.

На площади перед волостью митинги-сходки были теперь частым явлением. На одном из них от имени Центральной Рады было объявлено, что на Украине помещичье землевладение отменяется и земли подлежат передаче в руки тружеников-хлеборобов. По существу это было чисто декларативное заявление, вынужденное необходимостью противопоставить что-то большевистскому «Декрету о земле». Но для самых нетерпеливых оно послужило сигналом к немедленному дележу панской земли. Толпы крестьян отправились на помещичьи поля, шагали по ним «саженками», вбивали колышки с метками и проводили плужками межевые полосы. Всё это было чистой самодеятельностью, против которой решительно возражали представители новой власти. Ведь решение о передаче земли трудящимся крестьянам принято пока в самой общей форме, только в принципе. Надлежит ждать дополнительных правительственных разъяснений и инструкций. Большинство солидных хлеборобов вняли этим увещаниям и заняли выжидательную пози-



цию, не одобряя скоропалительных действий «голоты». Для управления селом была избрана местная «Трудовая Рада». Вообще крестьянское самоуправление вошло теперь в полную силу и всё больше принимало архаические формы, бытовавшие в «слобожанской» Украине XVII – начала XVIII века. Писанные законы не признавались в принципе. Все дела, в том числе и судебные, решал крестьянский сход на основе возрождённой полуварварской традиции. Впрочем, и эта традиция толковалась большей частью весьма произвольно, в зависимости от воли горланящего большинства. Мы, школяры, часто бегали смотреть на бурные сходы, бросая занятия. Учительница не могла нам этого запретить – должны же ребята приобщаться к науке народного управления! И мы приобщались, вытягивая шеи и стараясь увидеть, что происходит за плотной стеной из баб и мужиков, образовавших на площади большой круг – «коло» по-местному. Внутри этого круга часто происходило нечто захватывающе интересное, а нередко и страшное. Я видел, как однажды, когда возбужденная толпа разошлась, на затоптанном снегу в луже крови остался труп конокрада, забитого по древнему обычаю «киями». К эпохе казацких войн с поляками и татарами вернулись теперь не только формы жизни в украинском селе, но и психология значительной части крестьян. Об этом я имел довольно точное представление по разговорам мальчишек в школе, повторявших здесь суждения своих отцов и старших братьев. Село, в представлении многих крестьян, было как бы самостоятельным государством со своими собственными неписаными законами, замкнутой примитивной экономикой, местным управлением и даже своей армией. Именно эта психология и была той почвой, на которой в недалеком уже будущем расцвели таким пышным цветом идеи мужицкого анархизма, выраженные в политической практике Махно и множества других «батек».

Сельская армия была организована и в Брезелихе. Она была и в самом деле нужна, так как в окрестностях бродили многочисленные разбойничьи банды из солдат-дезертиров. Это тоже было новомодное слово, доселе считавшееся только книжным и известное лишь весьма немногочисленным интеллигентам. После того как пришедшие откуда-то бандиты ограбили жителей некоторых

окрестных хуторов, бывшие фронтовики быстро организовали отряд самообороны. Впрочем, в него вошло немало и совсем молодых парубков, ни в какой войне ещё не участвовавших, но очень воинственных.

Именно они, обвешанные всевозможным оружием, и болтались теперь по улицам, красуясь перед девчатами. Оружия с фронтов в село навезли достаточно. Командиром отряда был избран Титко Коломиец, сын богатого мужика и весьма активный самостийник. Титко обожал оружие и привёз с фронта не только винтовку и немецкий маузер, но и целую торбу ручных гранат. На улице он появлялся не иначе как с невиданной здесь доселе деревянной колодкой на боку, из которой выглядывала ручка страшного пистолета. Ремень маузера воинственно переkreщивался у Коломийца с портупеей шашки, отобранной у бывшего сельского урядника.

По инициативе главнокомандующего своих вооруженных сил здешняя Трудовая Рада приняла решение произвести в барском доме обыск на предмет изъятия оружия и боеприпасов. Весь отряд, человек тридцать вооруженных людей во главе с Коломийцем, проследовал через парадный двор во дворец Брезелей. Потом очевидцы рассказывали, что от вида широкой лестницы на второй этаж со статуями рыцарей в латах и громадными бронзовыми канделябрами коломиецевские хлопцы, никогда не видевшие прежде ничего подобного, вроде бы оробели и не решались двинуться дальше. Атмосферу этой нерешительности нарушил лихой предводитель отряда, хвативший ручкой своего маузера по простеночному зеркалу. После этого дело пошло. Постепенно хлопцы и сами вошли в раж. Рассыпавшись по всему дому, они рылись в массивных шкафах и сундуках, которые перед ними открывала старая экономка. Вначале она не хотела этого делать и даже обозвала воинов народной армии «раклами» (ворами) и «торбохватами». Но панской челядинке пригрозили шомполами, и она быстро «заткнулась». Порка стальными прутьями для чистки винтовочных дул только ещё начинала тогда входить в моду, но даже отсталой старухе долго объяснять не пришлось, что это такое. Были изъяты несколько охотничьих ружей, в том числе старинных шомпольных с инкрустациями и насечками, музейный кривой турецкий кинжал и камергерская шпа-

га Брезеля. Были также реквизированы – самоновейшее слово! – множество носильных вещей. Правда, при условии, что они имели военный покров, пусть даже это были мундиры с генеральскими эполетами или кивера времен Отечественной войны. Не обошлось и без того, чтобы какой-нибудь местный Вакула не сунул за пазуху барынины черевички для своей Оксаны. Среди реквизированных в пользу Трудовой Рады вещей оказался и внушительный брезелевский граммофон с громадным запасом пластинок. Восхитительная граммофонная труба в форме огненного тюльпана с блестящим кренделем звуковода величественно возвышалась на возу вместе с прочими реквизированными вещами, рядом с длинным ларем красного дерева для граммофонных пластинок, разделённым на множество плоских вертикальных ячеек. В сопровождении целой толпы детей и взрослых воз торжественно проследовал к зданию бывшего Волостного правления, а ныне Трудовой Рады. Вооруженные самоохранные внесли граммофон в помещение Рады, и скоро из её открытых дверей на всю площадь загредел марш Кексгольмского Её Величества уланского полка.

Титко сменил урядницкую шашку на камергерскую брезелевскую шпагу, хотя как оружие она могла вызвать только недоумение. Сельского атамана прельстила, видимо, ювелирная тонкость работы затейливого эфеса и инкрустированных ножен этого знака принадлежности к высшей касте. Носил он его с важностью готтентотского царька, нацепившего на голые плечи невесть откуда добытые эполеты. Однако я не помню, чтобы комическое несоответствие мышинового хвостика полудекоративной шпаги и крупнокалиберного, отнюдь не символического пистолета в деревянной кобуре вызывало бы улыбку на лице хоть кого-нибудь из окружения нашего «верховного главнокомандующего».

Учинив в доме Брезелей погром, впрочем, весьма умеренный, отряд Коломийца вскоре спас этот дом от уже настоящего разграбления. А именно с такой целью и двигалась на Брезелиху неизвестная банда, только что ограбившая барскую усадьбу в соседнем селе. Получив предупреждение, что эта банда подходит к нашему селу по дороге на 3-ов, Титко со своим отрядом занял позицию в канаве за кладбищем. Когда из-за поворота показался

отряд человек в пятьдесят вооруженных людей, навстречу ему раздался предупредительный залп, а на дороге оглушительно треснула одна из коломийцевских гранат. Бандиты не приняли боя, повернулись и ушли. Кто шkodлив, как кошка, тот обычно труслив, как заяц.

Украина была теперь почти отрезана от России. Последнее письмо от отца пришло ещё прошлой осенью. Оно было прислано уже не с фронта, а из самого Петрограда. Оказалось, что вместо того чтобы вернуться, как все люди, к своей семье, Путинцев подался в «чёртов» Питер и заделался там членом какого-то «Совдепа». Мать тогда долго плакала слезами горькой обиды – этот совдеп оказался для её Егора дороже жены и детей. А теперь она ещё терзалась новой тревогой о муже. Говорили, что в Совдепии – так здесь называли большевистскую Россию – начинается страшная резня.

Однажды у нас на пороге появился заросший усталый человек в потрёпанной солдатской шинели с дорожным мешком за плечами. Человек снял шапку, перекрестился на образа, поздоровался и спросил, не тут ли проживает Марфа Андреевна, жена Егора Ивановича Путинцева? Испуганно схватившись за сердце, мать ответила, что тут. Тогда человек достал из-за пазухи сложенный вчетверо листок бумаги и протянул ей:

– От Егора Ивановича...

Она держалась за сердце и тогда, когда я с трудом разбирал написанное карандашом и сильно стёршееся письмо. Отец писал, что Петроград он оставил ещё в прошлом году и направился было домой. Но по дороге опасно заболел и долго провалялся в заразном госпитале. Теперь выздоровел, однако ещё слишком слаб, чтобы продолжать трудное путешествие. Решил поработать по своей специальности в железнодорожном депо под Харьковом. Домой он приедет при первой же возможности. А пока всех нас, включая и ещё незнакомого ему Кольку, отец целует и обнимает. Жене, как всегда, он советовал особенно о нём не беспокоиться и беречь детей. О «подателе сего» отец писал, что это его товарищ по госпитальной койке, пробирающийся в своё село в нашем уезде. Добрый человек не отказался завернуть и в брезелевскую Экономию, хотя для него это не маленький крюк, чтобы передать письмо застрявшего в дороге фронтовика его жене и детям.

Почта-то теперь не работает. Принять этого человека нам надлежит как родного.

Только теперь мать спохватилась, что не пригласила усталого путника даже присесть – забыла. Она запоздало засуетилась вокруг него, помогла снять шинель, усадила на лавку и захлопотала у печки. Надо же хоть чем-нибудь покормить человека, сделавшего ради неё крюк верст в двадцать! Уже за пшенной похлебкой Пётр Харитонович – так звали нашего гостя – сказал, заметно понизив голос, что передача письма – это не главное, что ему поручено Егором Ивановичем. Да и само письмо – большей частью выдумка, написанная для отвода глаз здешних самостийников. И пусть Марфа Андреевна слушает и запоминает всё, что он ей сейчас скажет, и никому об этом ни гу-гу... И от дизентерии, и от заразного госпиталя Егора Ивановича Бог пока миловал, чего о себе Пётр Харитонович сказать не может. На самом же деле Путинцев прибыл на Украину по поручению из Петрограда в числе многих других бывших солдат, которые должны организовать здесь сопротивление самостийникам... Мать горестно всплеснула руками. Только этого ей не хватало! Ох, Егор, Егор! Светлая у него голова, да вот дураку досталась. Если уж подался в большевики, так и сидел бы себе с ними в куче! А не лез бы к черту в зубы...

Мать явно начинала бунтовать против политической активности мужа. А чего они, собственно, хотят, эти самые большевики? Правда ли, что они даже Бога не признают? Пётр Харитонович ответил, что правда – ни Бога, ни попов большевики действительно не признают. Там, где они берут верх, они сразу же устанавливают власть, которая называется «советской». О советской власти мы слышали здесь и раньше. Даже знали, что она не только обещает, как Центральная Рада, но и действительно отдаёт мужикам во владение помещичью землю. Зато самих мужиков «советы» превращают в подчинённых городских рабочих, чуть ли не в их «попихачей». Самостийники говорили, что эти рабочие – почти сплошь кацапы – люди балованные, бездельники и лодыри, работать они не хотят. Вот они и решили сесть хлебоборам на шею вместо прогнанных панов. Мать и сама была невысокого мнения о «мастеровщине» – чуть не все пьяницы и охальники! И надо же было Егору записаться в эти безбожные больше-

вики! Пётр Харитонович объяснил ей, что это не совсем так. Путинцев, правда, действует заодно с большевиками, но самого себя большевиком не считает. Он полагает, что землю у крупных землевладельцев надлежит отбирать не полностью – государству необходимы также крупные хозяйства – и только на условиях небольшого долгосрочного выкупа. Это обошлось бы народу дешевле, чем та, крутая невпроворот каша, которую заварили сейчас большевики. А кроме того, Егор Иванович настроен против верховенства рабочих над крестьянами. Ничего доброго мужикам ждать от этого действительно не приходится, тут самостийники правы...

– А сами вы, Пётр Харитонович, что обо всём этом думаете? – спросила мать. Гость ответил, что он за советскую власть, только без коммунистов.

– А что это ещё такое – коммунисты?

Оказалось, что большевики – это коммунисты и есть. Они за то, чтобы имущество было у всех общее, ничего бы не покупалось и не продавалось, а всякий, кому что нужно, получал бы всё даром. Мать удивилась – какой же тогда дурак работать будет, если всё можно и так получить? Пётр Харитонович ответить на этот вопрос не мог – не он же придумал большевистскую заумь! Но полагал, что это просто безответственная блажь, возникшая в горячих головах, и что она скоро пройдёт. Сам он, во всяком случае, ни за большевиков, ни за куркулей-самостийников воевать не намерен. Хватит с него войны и так. Три года в окопах на Германской вшей кормил. Ранен дважды. От дизентерии вот в тыловом госпитале едва не подох... Как только доберется, Бог даст, до своей хаты, займётся хозяйством. Жена писала, что оно сейчас едва держится. А что касается власти, то согласен под любую, лишь бы покой был. Оно, конечно, земли маловато, три с половиной десятины на пятерых. Но прирезать беднякам землицы за счёт помещиков обещают и большевики, и самостийники. Значит, самое правильное сейчас – держаться в стороне и ждать. Мать завистливо вздыхала: бывают же на свете такие рассудительные мужики!

Вечером Пётр Харитонович, умывшийся и переодевшийся в бельё отца, отвечал, хотя и не очень охотно, но весьма толково уже на мои вопросы. Они касались, главным образом, военной техники: на сколько вёрст стреля-

ют пушки, винтовки, пулеметы? Можно ли из пулемета прострелить стену, которую винтовочная пуля пробить не может? Что такое миномет, если мины, как известно, закапывают в землю? Видел ли Пётр Харитонович танк и аэроплан? К моему немалому удивлению, оказалось, что пулемёт – Пётр Харитонович называл его то «максимом», то «максимкой» – стреляет обыкновенными винтовочными пулями. И бьёт даже немного слабее, чем винтовка, – у него ствол короче. Зато очень часто – полтыщи пуль в минуту. Что пули и снаряды летят на многие версты, но важна не столько дальность их полёта, сколько точность попадания. И что не только каменной стены, но даже мешка с песком пуля пробить не может. Зато она прошивает стальную рельсу. Танка наш гость не видел, врать не станет. А вот под бомбами с немецкого аэроплана один раз был. Бомбы были мелкие и никому особого вреда не причинили. Но дело было на привале и паники наделали много. Всех разметало тогда по полю, а несколько обозных лошадей убежали. Страх перед повторным налётом долго еще не давал никому покоя. По аэроплану, конечно, стреляли из винтовок. Да разве в него попадёшь? Летит высоко и быстро.

Мать слушала наш разговор, стирая в корыте бельё Петра Харитоновича, чёрное от грязи. Чтобы лучше видеть, она зажгла все фитили в нашем «паникадиле». Так назывался сделанный Петрусём из консервной банки усовершенствованный каганец чуть не с десятком фитилей на крышке. Часть огоньков паникадила погасла, а другие замигали и закачались, когда дверь в сени неожиданно открылась и на пороге появился Коломиец при своём маузере и шпаге. Его сопровождал хлопец с винтовкой. Вошедшие поздоровались, но шапок не сняли. Это означало, что их визит носит официальный характер. Как и предвидел Пётр Харитонович, сельские власти желали знать, кто такой наш гость, по какому делу и откуда пожаловал?

– Посвидчjenja! – строго потребовал Титко у Петра Харитоновича документ, удостоверяющий личность.

Тот неторопливо полез в карман шинели и достал затрёпанную солдатскую книжку в зеленой обложке. Я досконально изучил такую же книжку своего отца, когда он приезжал к нам на побывку. На её первой странице был

изображён длиннющий, во весь рост, Верховный главнокомандующий Русской армией и двоюродный дядя царя Николай Николаевич. Тот самый, который награждал его потом крестиком. В книжке приводились слова солдатской присяги и некоторые пункты устава караульной службы. Меня поразило, что согласно этому уставу, часовой на посту может отдать свою винтовку только караульному начальнику и государю-императору. Выходило, что даже сам главнокомандующий в этом смысле постовому не указ.

Коломиец долго изучал документ возле паникадила, на котором мать опять зажгла все огоньки, а затем спросил, куда направляется бывший фронтовик. Вопрос по нынешним временам был бы праздным, если бы после ответа на него естественным образом не возникал следующий вопрос: почему же тогда направляющийся домой солдат очутился так далеко в стороне от своего села? И притом, в хате кацапа Путинцева, про которого было известно, что он якшается с большевиками?

- Чи з дороги збывся? - иронически прищурился Коломиец.

- С дороги не сбился, - спокойно ответил Пётр Харитонович, - а зашёл к Путинцевой, чтобы передать ей от её мужа письмо.

- Где письмо? - живо спросил Титко.

Мать протянула ему затёртую и измятую бумажку. Коломиец долго разбирал её при свете каганца, да так усердно, что у него даже взмок чуб и пришлось поэтому снять шапку.

- Путинцев тут пишет, что хворал, - сказал он, наконец, - а чем хворал?

- Кровавым поносом, - ответил Пётр Харитонович. - Вместе в поносном бараке лежали, там и познакомились...

- А теперь он где?

- В письме ж прописано, в паровозной мастерской работает...

- А не опять к большевикам подался, чёртов кацап?

- А чего ж бы он тогда из Кацапии домой шёл? - резонно возразил Пётр Харитонович.

Титко поскрёб затылок, поднялся и надел шапку. Пробурчал что-то насчет того, что жидам и кацапам ве-



речь нельзя, и, не попрощавшись, удалился вместе со своим телохранителем.

Жизнь в Брезелихе становилась всё более глухой, оставаясь в то же время тревожно настроенной. Никто не знал толком, что происходит на свете и чего можно ждать завтра. Газеты и журналы больше не приходили, писем никто не получал. Считалось, что сельская Трудовая Рада находится в подчинении у «повитовой», находящейся в 3-ве, а та через Полтаву подчиняется Центральной Раде в Киеве. Но практически это была чисто воображаемая структура. Торговля при помощи денег почти прекратилась. Ни бумажным царским деньгам, ни тем более кременкам, больше не верили. Не только золотые деньги, у кого они были, но и серебряную и даже мелкую разменную монету люди припрятали на чёрный день. Сельские лавки почти все позакрывались, так как торговать было нечем. У Евтеева из всех товаров оставалась только бочка с дёгтем, стоявшая посередине лавки, а у Ботвинника – цветные ленты и стеклянные мониста для девчат. Поговаривали, что по знакомству, тайком, лавочники отпускают кое-кому припрятанный товар в обмен на муку, сало и мёд. Так оно, наверное, и было.

Моей должности шабес гоа в еврейском доме никто не отменял, и я по-прежнему разводил по субботам у Ботвинников самовар и растапливал печки. Абрам Самуилович становился всё задумчивее и печальнее. И часто, прочтя какое-нибудь изречение в своей книге, долго после этого согласно кивал головой. Вероятно, это были те места из Библии, которые как бы предсказывали события современной жизни. Зяма говорил мне, что его отец боится вспышки постоянно глеющего в украинском народе антисемитизма, периодически принимающего свирепые и кровавые формы. На днях Абрам Самуилович был в городе и беседовал там со своим старым знакомым, русским купцом-оптовиком. Человеком умным, осведомлённым в политике и склонным к философии. Купец советовал Ботвиннику уезжать из села, пока не поздно. Он не ждал ничего хорошего в ближайшие годы ни для кого в России. Но считал, что особенно плохо придётся евреям.

– Много, ох, много вашего брата жида погибнет, – говорил этот купец.

За недолгое время своего существования Центральная Рада не создала ни настоящих вооруженных сил, ни аппарата государственного управления. Но её идеологический аппарат действовал весьма активно. В этом сказывалась, вероятно, узколобость украинского националистического движения. Хрестоматия «Божий мир» была у нас отобрана и заменена другой, уже на украинском языке. Она так и называлась: «Ридна мова». Ее алфавитом был тот же русский, но некоторые его буквы читались иначе. В этом алфавите были упразднены такие давно уже рудиментарные, как «фита» и «ижица», отсутствовал ненужный твердый знак. А вот содержание «Ридной мовы» было подобрано так, как будто на свете существовало одно только украинское село с его дедовской техникой, нравами, обычаями и идеологией времен все той же «слобожанщины». Никакого намёка на существование современных городов, железных дорог, машин. Идеализировалась романтическая казацкая старина. А уважение к народному поэту Тарасу Шевченко возводилось почти в его культ. Узконационалистическая направленность хрестоматии для сельских школ была выражено воинствующей. Например, в качестве подписи к портрету Шевченко на титульном листе «Ридной мовы» была взята одна из заключительных строф его «Заповита»:

...поховайте, та вставайте,  
Кайданы порвите.  
И вражою злою кровью  
Волю окропите... -

толковать которую можно было весьма широко.

Однако крестьянский национализм Центральной Рады оказался совершенно недостаточным идеологическим оружием в её борьбе против большевистского движения в промышленных районах Украины. Организованный пролетариат Донбасса и Харьковщины, умело руководимый из Петрограда, скоро перешёл в наступление, противопоставить которому Рада могла только слабо вооруженные и не имеющие настоящего общего командования отряды «гайдамаков». Так же с некоторого времени стали называть себя коломийцевские хлопцы, хотя это было не совсем точно – на официальной службе у Центральной Рады они не состояли. Коломиец стал мрачен и

не ходил уже по селу прежним гоголем. Слухи о том, что большевики приближаются, а радовские войска отходят, становились всё настойчивее. А однажды рано утром мы услышали глухие размеренные удары – бум, бум, бум... доносившиеся со стороны 3-ова.

– Трехлинейки бьют! – сказал, прислушавшись к далёкой орудийной стрельбе, наш шорник Кондрат Пахомович.

Сейчас он работал в своей мастерской уже один. Жизнерадостный и энергичный чех Франц поздней осенью прошлого года ушёл из Экономии вместе со всеми другими нашими австрияками, чтобы пробираться на свою далёкую родину. Произошло это вскоре после попытки отделения Украины от России. Бывшие военнопленные на этот раз шли правильным строем, старательно соблюдая равнение. С краю одного из первых рядов шагал Франц, ставший с некоторого времени совсем невесёлым. Дело в том, что неожиданно вернулся домой муж Глушачихи, которая уже года три была абсолютно уверена в своём вдовстве. Но однажды поздней ночью Степан Глушак постучался в окно собственной хаты, где рядом с его женой спал чужеземец Франц. Любовник предполагаемой вдовы убежал через чердак, разобрав соломенную крышу, а оскорблённый муж палил по нему из обреза, да не попал. Обрез был тогда только что изобретённым оружием, получившим вскоре чрезвычайное распространение. Ветреная и любвеобильная Глушачиха поклялась в ту ночь мужу, что отныне будет ему верной женой, и отделалась только парой фонарей под глазами. Франц же с тех пор затосковал. Провожать его прибежало много мальчишек, в том числе и я. Мы маршировали рядом с бывшими военнопленными. Подойдя вплотную к Францу, я сунул в карман его истрёпанной серо-зеленой австрийской шинели испечённый матерью ржаной пирог с картошкой. Чех ласково взъерошил мне волосы, продолжая держать равнение в ряду. Тут раздалась команда подтянуться – колонна входила в село. Франц, мягко отстранив меня, зашагал дальше, а я остался стоять на обочине дороги, провожая уходящих уже только глазами. От кладбища, как когда-то уходя на войну мой отец, чех сделал прощальный взмах рукой. И мне показалось, что той же рукой он быстро про-

вёл по глазам. То ли его растрогал мой убогий дар, то ли вспомнилась бойкая Глушачиха.

Батарея полевых орудий бухала всё ближе. На горизонте стали вспыхивать, сильно опережая это буханье, но точно в том же ритме, красивые белые облачка – паф, паф, паф... Я знал, что так выглядят разрывы шрапнельных снарядов. А Кондрат Пахомович по тому, как дымовые вспышки неуклонно перемещались в сторону 3-ва, сделал вывод, что большевики и на этом участке гонят гайдамаков на юго-запад. Отряд Коломыйца тоже находился под ружьём, заняв излюбленную позицию на краю кладбища и готовясь грудью постоять за родное село и неньку-Украину, если поганцы-большевики вздумают на него напасть. Но Брезелиха была чуть в стороне от направления наступления большевиков, и к вечеру бой затих, прокатившись мимо. На другой день стало известно, что войска Рады сдали большевикам Полтаву, Гадяч, наш 3-в и спешно отходят к Киеву. Выставив далеко за селом дозоры, гайдамаки хмуро совещались в здании волости и на улице почти не показывались. По селу ходили слухи, что большевики отличаются страшной свирепостью. Всех, кто взял в руки оружие для защиты народной власти, они расстреливают, заподозренных в сочувствии к этой власти порют шомполами. До нитки грабят и сжигают их дома. Для этого, якобы, вполне достаточно даже того, чтобы в хате висел портрет Шевченко. Эти портреты были изданы Радой типографским способом большим тиражом и во многих сельских домах красовались рядом с иконами, обрамлённые вышитыми рушниками. Теперь портреты батьки Тараса снимали и прятали, а оставшийся на стене след чем-нибудь завешивали.

На следующее утро гайдамаков в селе не стало. Большая часть их ушла ночью и скрылась в каком-то из небольших окрестных лесов, другие попрятались по клуням (гумно), сараям и чердакам. Село замерло в ожидании вторжения мстительных большевиков и больше суток оставалось без власти. Потом на дороге за кладбищем показалось несколько подвод, на которых сидели люди с красными ленточками на шапках. Это ехали победители-красногвардейцы. Конечно, они должны были появиться и в нашей Экономии. Может, кто-нибудь из них даже слышал что-нибудь о Егоре Путинцеве. Из окна комнаты

мы поочерёдно следили за дорогой в село. Заметить на ней появление красногвардейцев выпало на долю Тайки.

- Идут сюда какие-то! - закричала она.

Теперь к окну прилипли мы все за исключением Кольки, недоуменно таращившего на нас глаза из своей коляски. Со стороны сада действительно приближались трое мужчин. Двое в солдатских шинелях и один в штатском, но все с винтовками. Один из солдат в серой папаче с красной ленточкой наискось, заросший густой бородой, показался нам странно знакомым. И снова мы услышали отчаянный крик матери:

- Егорушка!

Не накинув даже платка и позабыв закрыть за собой дверь, она выбежала на улицу. За матерью, тоже не одеваясь, выскочили на крыльцо я и Тайка. Но дальше мы не побежали, так как были босиком. И только наблюдали издали, как бородатый солдат знакомым и ласковым движением руки поглаживает мать по острым, худым лопаткам, а она содрогается от рыданий, уткнувшись ему в грудь.

- Ладно, мать, простудишься ещё... Зови-ка лучше гостей в дом!

Мать, смахивая ладонью слёзы с лица, неуклюже поклонилась двум другим красногвардейцам, стоявшим чуть в стороне и с необычайным старанием закручивающим сигарки. Когда отец подошёл к крыльцу, я и сестра сразу же повисли у него на плечах.

- Длинные-то какие выросли! - сказал он, щекоча нас своей бородой.

Серёжка, диковато смотревший на незнакомого дядю, на руки ему не дался, убежал на кухню и спрятался там за печку. Зато Коля, стоявший на пороге, держась худенькими ручками за дверной косяк, вёл себя молодцом.

- Так вот ты какой! - голос отца дрогнул, когда он поднял перед собой сына на вытянутых руках. Мальчик продолжал смотреть на него большими серьёзными глазами на не улыбочивом лице, а ножки у него свисали покорно и почти бессильно. - Эх... - в горле у отца как будто запершило, когда он передавал Колю виновато смотревшей матери.

- А вон и Поленькин крестик, - показала она рукой в сторону кладбища и опять заплакала.

Крест уже успел посереть, но был ещё различим среди других, совсем уже чёрных.

- Эх... - снова крикнул отец и поднял руку, чтобы перекреститься. Но спохватившись, только снял папаху с красной ленточкой, провёл ею по глазам и той же папачой сделал пригласительный жест. - Милости прошу в дом, товарищи!

Я впервые тогда услышал это слово в его новом значении.

В мешках у красногвардейцев оказались сало и пшеничный хлеб - трофеи, захваченные в обозе у гайдамаков. Мать поджарила сало на большой сковородке, и по дому распространился такой вкусный запах, которого даже я почти не помнил, а Серёжка и Колька не имели о нём понятия. Поражённые этим запахом, они разинули рты и только сглатывали набежавшую слюну. А потом, сидя у отца на коленях, Колька с изумлённым выражением на не по-детски серьёзной физиономии старался разжевать вкуснятину своими слабыми зубками.

- Ешь, ешь, хлопче! - благодушно поощрял его молодой красногвардеец в солдатской гимнастерке. - Будешь сало есть, во каким казаком вырастешь! Был бы я царём, так только б сало с салом и ел, как тот цыган.

- Царём тебе, слава богу, не бывать, - усмехнулся другой гость постарше в рабочей косоворотке, - а сало с салом - это лишнее... Сейчас хоть бы хлебом рабочих досыта накормить. А то у нас на Донбассе кое-где уже на макуху (жмых) да лебеду переходить начали...

- Ничего, - сказал молодой, - вот побьём Раду, отберём хлеб у куркулей, и такая для твоей шахтерни житуха начнётся, что и помирать не надо...

- Не кажи гоп, - возразил донбассовец. - Раду мы ещё не побили, да на ней дело и не кончится. А воюем мы не за житуху для одних шахтеров, а за весь рабочий класс! Да ещё в союзе с трудовым селянством...

- Ты, Каллистрат Егорович, ровно поп, - поморщился парень в гимнастерке, - и за столом проповеди читаешь.

- А комиссар, он вроде попа и есть, - вмешался в разговор молчавший до сих пор отец. - Только с наганом вместо креста... - Он произнес это тоном шутки, но Каллистрат Егорович насупился. Подобные насмешки он, видимо, слышал не впервой.

- Поп не поп, а говорил и говорить буду: если рабочий класс правая рука Революции, то беднейшее крестьянство - её левая рука! Так Ленин говорит. А он не глупее твоего вольноопределяющегося...

Позже я узнал, что «вольноопределяющийся» - это окопный просветитель моего отца, его взводный командир. Бывший студент и убеждённый социалист-революционер. Неопределённое до тех пор политическое мировоззрение Егора Ивановича приобрело теперь уже довольно ясные очертания, но он испытывал мучительную раздвоенность. Большевики во главе с Лениным принимали эсеровскую программу «социализации земли», но они требовали от крестьянства полного подчинения рабочему классу. За столом на нашей кухне продолжался, видимо, уже давний политический спор между проэсеровски настроенным командиром красногвардейского отряда Путинцевым и его комиссаром, шахтёром из Донбасса.

- Что и говорить, не глупее, - согласился отец. - Да только мужичок вам, большевикам, нужен как корова на поводе. Без него ни хлеба, ни силушки нет. А потом можно будет его и под ноги...

- И откуда у тебя, Путинцев, эсеровского духу столько? - вздохнул комиссар (я думал тогда, что это фамилия Каллистрата Егоровича). - Ведь наш как будто, рабочий человек...

- Рабочий-то рабочий, да не забыл ещё, что из мужиков вышел! Россия на мужике, а не на рабочем держится...

- А я что, из князей-баронов каких? - рассердился Каллистрат Егорович. - Мой дед крепостным у харьковского помещика был...

Спор принимал опасно острый характер, и мать постаралась его замять:

- Кушать больше не будете? Так я чайку налью, самовар-то давно вскипел.

С преувеличенной суетливостью она начала расставлять на столе чайную посуду. Гости принесли с собой и немного сахара. Необходимость переменить тему разговора понимали и сами спорщики. Некоторое время они сидели насупясь, а потом младший красногвардеец, замечание которого вызвало очередную перепалку между

эсером и большевиком, попробовал разрядить атмосферу при помощи смешной байки. Содержание байки было такое. Работают вместе отец и сын. Оба в дурном настроении, как вот сейчас Егор Иванович с Каллистратом Егоровичем. «А, бис твоему батькови!» – срывается у сына по случаю какой-то неудачи. «Это моему батьке ты беса сулишь?» – грозно обращается к нему отец. «Что вы, батьку, – успокаивает его сын, – моему...»

Шутке посмеялись. Потом шахтёр, усмехаясь в усы и поглядывая на отца, рассказал о смешном случае с бородастым крепильщиком в их лаве. Этот крепильщик работал однажды один. Раскалывая довольно тяжёлое бревно при помощи клиньев, он не заметил, как его борода попала в образовавшуюся щель, и её защемило. Чтобы не сидеть в лаве, пока его начнут искать как пропавшего, пришлось бородачу срезать своё драгоценное украшение топором.

– Понимаю, в чей огород ты, комиссар, камешки мечаешь! – рассмеялся отец. – Да только для таскания бороды у меня причина есть. – И он тоже рассказал смешную историю.

Во время одной из атак на неприятельские позиции – это было уже при Керенском – в открытый рот отцу влетела винтовочная пуля. Солдат, как известно, своё «Ура» во время атаки во весь рот орёт. От крика, как будто, не так страшно становится. Поэтому и отделался лихой вояка совсем лёгким ранением – пуля пробила щеку изнутри и даже зубов не задела. Уже после боя он пошёл на перевязочный пункт.

– А нам ничего об этом не написал! – укоризненно сказала мать.

– А о чём писать-то? – возразил отец. – Если обо всех царапинах да ушибах, что солдат на позиции получает, жёнам докладывать, то собственную канцелярию надо иметь... Я это к тому, – продолжал он, – что после ранения в щеку долго бриться нельзя было. А когда привык к бороде, показалось, что так вроде даже солидней.

– А жинка-то твоя с такой метлой тебя к себе пустит? – спросил шахтёр.

Мужчины захохотали, а мать засмушалась и отошла к плите:

– Все вы, мужики, – охальники...



А те ещё долго вспоминали всякие фронтовые курьёзы. Укус политических разногласий больше в разговоры не подмешивался.

Отец вечером побрился и сразу помолодел. Однако шрам от пули на щеке был заметен довольно сильно. Мать распоролла неряшливую мужскую штопку на спине потрёпанной шинели от старого следа шрапнельной пули и заштопала её снова. Другая пуля запуталась у отца в папаше, и пришлось её выковыривать. А тяжёлую свинцовую картечину величиной с мелкую вишню он привёз мне в подарок.

– Высоко взял немец! – пояснял отец причину, почему эта картечина не пробила ему голову.

Вечером отец лёг на кровать с матерью, а гостям постелили в кухне на печке. Свои винтовки они поставили не на пол, а на остывшую плиту, чтобы до них можно было дотянуться рукой, не слезая с печи. Комиссар вынул из кобуры наган и положил его под изголовье. То же сделал и отец, но мать попросила его переложить «эту гадость» на табуретку, а то еще выпалит! Известно, женщина! Я же смотрел на револьвер с вожделием. Украдкой, когда взрослые не видели, даже гладил его. Так близко настоящего оружия я никогда ещё не видел.

На другой день на площади перед волостью состоялся сельский сход. На флагштоке над крыльцом развевался кусок красной материи. Первым к народу обратился комиссар Каллистрат Егорович. Я уже знал, что комиссар – это не фамилия, а что-то вроде звания или чина. Он объявил об установлении в нашем селе советской власти, которая является властью всех трудящихся. Земля отныне принадлежит крестьянам, фабрики – рабочим. В народное владение передается также живой и мертвый инвентарь Экономии. Однако в отличие от пахотной земли набрасываться на этот инвентарь и начинать его дележку сейчас не следует. Пока что Экономия и господский дом Брезелей объявляются состоящими под государственной охраной, и только безлошадные немедленно получают с барских конюшен лошадей. Как я узнал потом, это решение не совсем соответствовало тогдашней большевистской политике на селе и было принято комиссаром красного отряда не без влияния его командира – моего

отца. Вообще же комиссар должен был пропагандировать идею полной экспроприации экспроприаторов, столь легко переводимую на общедоступный язык, как «грабь награбленное!» В деревне это означало призыв крушить помещичьи усадьбы. Почти во всех окрестных селах мужики так и поступили. Тамошние Экономии были разграблены уже тогда. Политический смысл поощрения большевиками погромов и грабежей заключался в том, что в необратимый конфликт с крупными землевладельцами втягивалась таким образом и нейтральная доселе часть крестьянства. Расчет был верен. Мужичья жадность чаще всего побеждала осторожность и естественное чувство отвращения к захвату чужого. О политическом положении Украины комиссар сказал, что она остается самостоятельным государством, но находящимся в теснейшем политическом и военном союзе с Советской Россией. Государственным языком Украинской социалистической республики является украинский, на котором будет продолжаться преподавание в школах. Тараса Шевченко и других украинских поэтов советская власть чтит. И пусть не брешут самостийники, будто она преследует людей за вывешивание его портретов. Селом будет управлять выборный совет – «рада». Только называться она будет уже не «трудовой», а в отличие от самостийницкой, просто сельской радой. Порядок будет охранять милиция, то есть вооруженная часть населения, которую тоже надлежит сейчас избрать открытым общим голосованием. Но, конечно, не из куркульских сынков, а из трудящихся крестьян. Что касается самосудов и другого самоуправства в этом роде, то они объявляются противозаконными.

Большинство собравшихся на площади слушали комиссара хмуро. И только некоторые, нацепившие себе на грудь красные банты, иногда выкрикивали: «Правильно!» Потом началось голосование, о котором прежде здесь и не слыхивали. Поначалу оно показалось мне совсем не серьезным делом, чем-то вроде ребячьей игры. «Кто за, поднимите руки!» – говорил комиссар и считал поднятые руки, потом спрашивал: «Кто против?» Некоторые воздерживались от участия в голосовании только потому, что стеснялись тянуть по-школярски руку. В старину и при самостийниках все вопросы на сходках решались кри-

ком. Преимущество крика заключается в том, что громкий гвалт дает представление не столько о численности сторонников какого-либо мнения, сколько о степени их решимости отстаивать свою точку зрения. Арифметическое большинство тут не всегда указ.

Список кандидатов в состав сельской рады оказался заготовленным заранее. Уважаемых на селе людей в этом списке совсем не было – в основном больше босота из бывших фронтовиков. Голосовали за них весьма немногие. Но против и вовсе никого не было – советской демократии мужики уже тогда не очень доверяли. Кто знает, что завтра будет с теми, кто сегодня поднимет руку «против»? А самое главное – следует ли принимать новую власть всерьез? Солидные хлеборобы угрюмо помалкивали. Так же гладко, при молчаливом неучастии большинства собравшихся прошли и выборы в сельскую милицию, начальником которой был назначен Егор Иванович Путинцев. Отряд, в котором он был командиром, теперь освободил его от этой должности. Одной из главных функций нашей милиции была охрана национализированной Экономии. Многие ворчали, что это-де идет вразрез с установкой «Грабь награбленное!», провозглашенной, как утверждали, самим Лениным.

Почти все постоянные рабочие и служащие Экономии остались на своих местах. Им назначили ежемесячный продуктовый паек из запасов, хранящихся в панских амбарах. Паек был невелик, но и работа сводилась только к поддержанию имущества усадьбы в относительной сохранности. Мастеровым не возбранялось подрабатывать своим ремеслом. Тем более что централизованного снабжения товарами первейшей необходимости не было. По заказу крестьян за крупу и сало механик Петрусь изготавливал жаровни и ведра, кузнец ковал кочерги и ухваты, столяр сколачивал столы и табуретки, шорник почти целиком переключился на сапожное ремесло.

Сместила новая власть только управляющего. Впрочем, он был теперь уже совсем больным и почти не поднимался с постели. На его должность был выдвинут бывший табельщик, а ныне дворецкий Трофим Семенович. Он показал себя с самой хорошей стороны, как рачительный хозяйственник, энергичный, разбитной и честный. Так

же, как мой отец, бывший конторщик и некоторые другие бывшие рабочие и служащие Экономии, он полагал, что ее имущество надо сохранить от разграбления и уничтожения. А там видно будет. Правда, туманное «там» не все понимали одинаково.

Материальное положение нашей семьи резко изменилось к лучшему. Вареную картошку мы уже почти не ели, а жарили ее на постном масле, а иногда даже на сале. С салом, а по временам даже с мясом, был у нас и борщ. По вечерам в доме зажигали уже не каганец, а настоящую керосиновую лампу. При свете этой лампы, сидя за столом на кухне, отец по вечерам что-то писал и разбирал свои бумаги. Днем он большую часть времени находился в милицейском штабе – маленькой прокуренной комнатке рядом с главным помещением Сельской рады, сокращённо сельрады. По ночам в этой комнате спали не раздеваясь два-три милиционера. И был еще дежурный, который должен был бодрствовать всю ночь. Дежурили по ночам милиционеры и в нашей Экономии. В сельсовете рядом с портретом Тараса Шевченко было вывешено два новых. На одном из них был изображен лысый человек с рыжеватой бородкой и хитрыми татарскими глазами. Это и был Ленин. На голове другого, второго после Ленина главного большевика, дыбилась копна черных курчавых волос, и бородка у него была тоже черная, острым клинышком. Его фамилия была – Троцкий. Над входом в сельсовет протянулась длинная кумачовая полоса с надписью «Пролетарии всех стран – соединяйтесь!» Я спросил у отца: кто они такие, эти «пролетарии»? Он объяснил, что так называются рабочие вроде него самого, которые работают на заводах и фабриках и у которых нет никакого имущества.

– Которые всё пролытали! – ввернула стоявшая рядом мать.

Отец взглянул на нее сердито:

– Ну, Марфа, ты и...

Какое у этой фразы должно было быть продолжение, догадаться было нетрудно.

– Ну ладно, ладно, – слегка смутившись, она отошла в сторону.

«Заповита» больше нигде у нас не пели, хотя читать это шевченковское стихотворение по хрестоматии «Ридна мова», оставленной у нас в качестве учебного пособия наряду с частично восстановленным в правах «Божьим миром», не только разрешалось, но даже по-прежнему предписывалось заучивать наизусть. А вот «Закон божий» был отменен. Школа была теперь не церковно-приходской, а народной. Наши учителя политических диспутов между собой больше не вели, но их политические симпатии и антипатии весьма явственно проявлялись в практике преподавания. Советский принцип, что культура народа должна быть национальной по форме, был всеми нашими педагогами сразу и хорошо понят. Но кто мог определить, в какой степени эта культура могла быть национальной также и по содержанию? Это каждый из учителей устанавливал уже сам в зависимости от своих взглядов и политических убеждений. Такие убеждения проявлялись, прежде всего, в соотношениях удельного веса русской и украинской хрестоматий при классном чтении. Самостийницкая или великодержавная тенденция выражалась еще ярче в трактовке содержания этих книжек. Так Ольга Игнатьевна делала акцент на той строке известного стихотворения Шевченко, где его автор советовал своим землякам наряду с любовью к собственной культуре не чураться ничего иноплеменного: «И чужому научайтесь...». А Катерина Титовна напирала на другую строфу из того же стихотворения, в которой поэт сетует на склонность части земляков к пренебрежению родным языком: «Мова ридна, слово ридне, хто вас забуває, то у грудях не серденько, а лишь каминь має», хотя никакого противоречия между этими мыслями батьки Тараса не было. В зависимости от учительских симпатий и антипатий находился и язык, на котором велось преподавание: то русский с примесью украинского, то украинский, густо перемежающийся русским. В результате не только мы, ученики, но и некоторые из наших учителей усвоили некое подобие не то диалекта, не то жаргона, состоящего из некрасивой смеси двух языков. Кружки Просвиты прекратили свои занятия, хотя никто их официально не запрещал. Редко играл теперь даже брезелевский граммофон, по-прежнему стоявший в помещении бывшей волости,

ставшей резиденцией сельской советской власти. Но тут главной причиной была осиплость говорящей машины. Точнее, записей на многочисленных пластинках, вконец испорченных тупыми иглами. Дело в том, что при огромном количестве пластинок при них оказалась всего одна маленькая коробочка граммофонных игл. Такие иглы изготовлялись тогда из обычной стали и годились только на одно проигрывание. Сколь-нибудь терпимо получалось теперь в граммофоне только чье-то подражание пыхтящему паровозу, состоявшее главным образом из шипящих звуков вроде «Пош-ш-шел...», «Прош-ш-шел...», «Чш-ш-ш...» и т. п. Нам, ребятам, эта пластинка очень нравилась.

Вообще при советской власти на селе стало гораздо скучнее. Эта власть категорически запрещала, например, самогонование. Отец и его милиционеры конфисковали у особо рьяных самогонщиков их аппараты. Здоровенные чугуны с примазанными к ним крышками и неуклюжие деревянные колоды с медными змеевиками высокой кучей громоздились в сарае во дворе сельской рады. Самогонку, конечно, гнать продолжали, но уже с опаской и больше по ночам. А те, кого новая власть лишила «средств производства», при встрече провожали милиционеров весьма недобрыми взглядами.

К мужикам, захватившим панскую землю еще при Центральной Раде, присоединились теперь другие, действовавшие уже именем советской власти. Этим достались местами даже готовые озимые посевы. Однако значительная часть помещичьей земли так и осталась незасеянной, так как стала теперь вроде бы ничейной. В устойчивость советской власти верили плохо. Было известно, что кое-кто из хлопцев Коломыйца наведывается по ночам к своим женам. Как-то милиционеры сумели выследить одного из них и хату окружили. На стук прикладом в дверь и предложение сдаться никто не отвечал. Когда же дверь хаты готовились выбить, с ее крыши неожиданно раздалось:

– Ложись, кацапские полыгачи!

На настил крыльца со стуком упало и покатилося что-то твердое и круглое. В страхе перед взрывом лимонки осаждавшие хлопнулись наземь, а лихой гайдамак

спрыгнул с крыши на соседний сарай и удрал. Лимонка же оказалась большой картофелиной. Сконфуженные стражи порядка сорвали зло на молодой гайдамаковой жене, продержав ее всю ночь в «холодной». А через несколько дней у дотошного милиционера, выследившего нетерпеливого мужа, в печной трубе его хаты взорвалась уже настоящая граната. Наверное, ее забросил туда всё тот же непоседливый гайдамак. Взорвавшись среди горшков с варевом, граната учинила в доме страшный погром и переполох. Кое-кто из спавших на печке – дело было ночью – рухнул вниз вместе с осыпавшимися кирпичами. Хотя серьезно никто не пострадал.

Через несколько дней в селе была устроена облава на оставшихся гайдамаков. Двоих арестовали и препроводили в город в какую-то «чрезвычайную комиссию». В ответ у одного из милиционеров ночью запылала клуня, как называют здесь гумно, а у другого – хата. Пожар пробовали тушить. Но из недалекого отсюда яра – хата стояла на окраине села – защелкали винтовочные выстрелы, коломийцевы хлопцы подтверждали свое присутствие. Постепенно они нагнали всё больше. Выкурить гайдамаков из их леска местными силами было невозможно, а подкрепления из 3-ва не было – уезд кишел самостийниками.

По деревенским понятиям был уже поздний вечер, когда отец и я сидели за столом на кухне, а мать в комнате укладывала детей спать. Отец писал какой-то рапорт, а я выполнял домашнее задание по чистописанию, которое, увы, так навсегда и осталось грязнописанием. Чернильница, стоявшая посреди стола, была у нас одна на двоих. Когда я в очередной раз потянулся к ней, чтобы обмакнуть перо, то услышал позади себя звон разбитого стекла. Одновременно, как мне показалось, из угла печи брызнули осколки глины и кирпича и вылетело стекло в другом окне за спиной отца – наш стол стоял в простенке. Это был результат рикошета. От неожиданности и испуга я так и застыл над столом с пером в руке и открытым ртом. А отец, не растерявшись, дунул в стекло лампы, быстрым движением сбил меня на пол и сам упал рядом. В наступившей темноте я увидел, как около меня вспыхнула струя желто-фиолетового огня, оглушительно хлопнул выстрел и снова раздался звон стекла. Это отец

стрелял из револьвера по нашим окнам уже изнутри. Одновременно он крикнул в темноту комнаты:

- Мать, клади детей на пол!

Затем наступила тишина, в которой было слышно, как орут прижимаемые матерью к холодному полу Сережка и Колька, а за разбитыми окнами свистит холодный ветер мартовского ненастья. Этот ветер ворвался в дом, и я не понимал от чего дрожу больше - от холода или от страха. Так прошло, наверное, немало минут, но пальбы по окнам больше не было. Кто-то ограничился только одним выстрелом. В полной темноте окна с их переплетами лишь смутно угадывались. Снег с полей уже стоял, небо, затянутое плотными тучами, было не менее черным, чем вспаханная земля, и нигде не светилось ни одного огонька.

- Марфа, - услышал я голос отца, - стели ребятам на полу. Да сама-то не разгибайся очень. А я тут побуду.

- Пап, я тоже с тобой останусь, - попросился я из-под стола, громко щелкая зубами.

Но отец приказал мне отправляться к матери.

Мать и мы, дети, вповалку лежали на наспех сброшенных на пол матрацах и продолжали дрожать, хотя в тесной куче, да еще под одеялом, было не так уж холодно. Что если бандиты Коломыйца решат вломиться к нам в дверь или начнут бросать в окна гранаты? Караульного милиционера во дворе Экономии они, вероятно, уже прикончили...

- Господи, спаси и помилуй! Смилуйся над детьми, Господи... - слышал я в темноте прерывистый шепот матери.

Нервно дрожала Тайка. Спали, наревевшись, одни только малыши. Но всё было тихо. Постепенно и я забылся тревожным сном. И проснулся только когда начали уже вырисовываться серые прямоугольники окна. Из-под двери на кухню сильно дуло. Я осторожно приоткрыл ее и увидел темную фигуру в шинели и папахе, сидевшую за столом с опущенной на руки головой. Рядом тускло поблескивал револьвер. Я подумал сначала, что отец спит, но он не спал и сразу повернул голову в мою сторону.

- Пап, можно к тебе? - спросил я.

Он выпрямился на табуретке и потер рукой лицо.



– Ладно, иди. Только оденься и ребят не разбуди.

Я оделся, тихонько пробрался на кухню и начал осторожно, стараясь не становиться перед окнами во весь рост, исследовать дыры в разбитых стеклах.

– Не бойся, сегодня уже ничего не будет, – усмехнулся отец.

Я понял многозначительность этого «сегодня», и мне стало как-то не по себе. Но потом опять я занялся отверстиями от пуль. Они оказались очень разными – одни аккуратными и круглыми, окруженными лучистыми трещинами, другие – грубыми, как будто выбитыми камнем или палкой.

– Пап, а почему это так?

Отец объяснил. Круглые – это отверстия, пробитые пулями, непосредственно вылетевшими из дула винтовки или револьвера. Рикошетные же – так называются пули, отскочившие от стен, – шлепают плашмя! Поэтому и стекла они высаживают почти целиком, как брошенный камень.

– Не дай бог такая хватит, – сказал отец, – хуже разрывной...

Теперь мне казалось, что я вчера даже слышал, как рикошетная пуля яростно металась по нашей кухне, прежде чем вылететь в окно, огромную дыру в котором отец заткнул тряпкой.

В кухню на цыпочках вошла мать. Вид у нее был измученный, а на лице застыл тревожный вопрос:

– Неужто нельзя найти управы на гайдамаков, Егорушка?

Помолчав, отец ответил неохотно:

– Немцы на выручку Раде идут... Поэтому и осмелели самостийники...

– Опять немцы! – мать заплакала. – Господи, когда это кончится?

– Только еще начинается, мать, – хмуро сказал отец, поднимаясь из-за стола и засовывая наган в карман шинели. – Ну, я в штаб.

Оказалось, что милиционер, обязанный в эту ночь обходить Экономию, даже не знал о стрельбе по нашим окнам, так как был в гостях у какой-то вдовы. Дисциплина в отряде оставляла желать лучшего. Теперь ее подтя-

нули, сельскую милицию перевели на полуказарменное положение, и даже те, кто не находился на посту, были обязаны ночевать только в помещении сельсовета. Без официального распоряжения с наступлением темноты милиционерам ходить по улицам не разрешалось, а в одиночку запрещалось категорически.

Гайдамаки же день ото дня наглели всё больше. Чуть не каждую ночь загорались хаты и клуни здешних милиционеров и сельсоветчиков. Хорошо еще, что солома и камыш («очерет», как его здесь называли) на крышах были сейчас напитаны влагой и загорались неохотно – поэтому не всегда превращались в большие пожары.

Активизация гайдамаков явилась следствием того, что Центральная Рада заключила договор с командованием немецкой армии. За хлеб, сало и сахар немцы взялись изгнать большевиков с территории Украины и теперь выполняли это обязательство. Их оккупационная армия методически захватывала район за районом, почти не встречая сопротивления на местах. Немцы неторопливо продвигались на северо-восток, и большевики оказались теперь в еще худшем положении, чем совсем недавно были гайдамаки, – без тяжелой артиллерии, без достаточной военной организации, даже без центрального командования и общего плана обороны. Одной же революционной жертвенности и голого энтузиазма было явно недостаточно. Иногда красногвардейские отряды обстреливали из засад передвигающиеся по дорогам колонны немцев. Однако эти мелкие уколы были выгодны немецкому командованию, так как давали ему повод применить тактику устрашения, направленную, главным образом, против мирных жителей. Какое-нибудь село, подозревавшееся в укрывательстве «красной банды», окружалось немцами, а его населению предлагалось банду выдать. Так как сделать это в отношении вооруженного отряда даже при большом желании было невозможно, то село в точно назначенный немцами час поджигалось со всех сторон, а бегущие из него люди расстреливались из пулеметов. Таких случаев было не так уж много, их вполне можно было назвать единичными. Но они были. И символом интервенции – тогда этого слова мы еще не знали – навсегда осталось изображение колонны немец-

ко-гайдамацких войск на фоне горящего украинского села.

О возвращении гайдамаков тайно мечтали сельские самостийники, а в рядах местных сторонников советской власти нарастал страх. Особенно среди тех, кто проявил при становлении этой власти хоть какую-нибудь активность. Наши милиционеры почти перестали показываться на улицах даже днем и уже не пытались вести борьбу с полностью восстановившими свою деятельность самогонщиками. Сыновья и младшие братья укрывавшихся гайдамаков и их сторонников в нашей школе открыто говорили, что красной босоте скоро будет крышка. Особенно откровенно ораторствовал младший брат предводителя местных вооруженных самостийников Евтух Коломиец, учившийся в последнем классе. Меня он постоянно задирал, обзывал «кацапским отродьем» и говорил, что жидов и кацапов скоро всех пережует.

Я не знаю, было ли это выполнением приказа из уезда или самостоятельным решением местного милицейского отряда, но однажды отец объявил мне и матери, что его отряд покидает село сегодня же ночью. Милиционеры соберутся в условленном месте за селом и под покровом темноты постараются к утру добраться до 3-ва. А уж оттуда, объединившись в крупные отряды, они будут пробиваться на север к своим. Оставаться здесь более нельзя. Но и выбраться отсюда можно только ночью. У гайдамаков на селе полно осведомителей, которые следят за каждым шагом местных большевиков. Отец категорически запретил матери даже плакать до его ухода, так как по ее опухшим глазам, не говоря уже о неосторожно оброненном слове, можно будет сделать вывод о времени исхода из села красной милиции. И тогда из-за какого-нибудь буерака за околицей ее непременно встретит винтовочный залп.

Ночь была такая же темная, как и та, в которую кто-то выстрелил по окну нашей кухни. В видавшей виды шинели и с мешком за плечами отец стоял у порога, переступить который ему сегодня было особенно трудно. И не только потому, что смерть, возможно, поджидала его уже за ним. Мать беззвучно плакала. Тайка, стараясь громко не зареветь, глотала слезы. Мне, как мужчине, плакать

было и вовсе не к лицу, но слезы катились из глаз сами. Уткнувшись лбом в отцову шинель, я пытался вытирать их о грубый шинельный ворс, но он как-то не слишком охотно впитывал влагу, а слёзы все текли и текли. Только мальчишки-несмышленыши спокойно спали в комнате.

- Что ж, долгие проводы - лишние слезы, - вздохнул отец, надевая папаху. - Прощай, Марфа... Прощайте, дети...

Не раз уже я слышал от него эти слова. Но сейчас их смысл был еще более драматичным, чем прежде. Теперь отец не только сам уходил в грозящую гибелью неизвестность, но и оставлял на произвол судьбы собственную семью, положение которой в начинавшейся гражданской войне мало чем отличалось от положения заложников. Вероятно, именно об этом и думал Егор Путинцев в разговоре со своим приятелем, молодым милиционером Остапом Довгалём, холостым парнем из недалекой деревни:

- Завидую тебе, Остап, один ты... А одна голова не бедна, а хоть и бедна, так одна...

Меня часто удивляли разговоры семейных мужчин, не то в шутку, не то всерьез толковавших о преимуществах холостяцкого существования. Они были явно непоследовательны, эти мужчины. Женятся-то ведь по собственной охоте, а не по чьему-нибудь понуждению!

Но сейчас, плача в колючий ворс отцовской шинели, я думал, конечно, не об этом. А он, подавив вздох, тяжело вскинул на плечо винтовку и переложил наган из кобуры в карман. Затем приказал погасить лампу. Ни малейший луч света не должен был показаться из двери при ее открывании. Затем вышел в сени, сопровождаемый только мной. Здесь отец осторожно снял крючок с наружной двери, бесшумно ее приоткрыл - петли он смазал еще вечером - и долго всматривался в темноту, держа наготове наган. Потом на ощупь провел левой рукой по моим вихрам, приоткрыл дверь немного шире и выскользнул в темную влажную ночь, шагнув не прямо на крыльцо, а в сторону, вдоль стены дома.

Выполняя его инструкцию, я некоторое время держал дверь не закрытой на крючок, а сам стоял чуть в стороне от нее. И представлял себе, как, прижимаясь к плетням и сжимая в руке нагретую рукоятку револьвера, отец про-

бирается к месту сбора отряда. Затем я бесшумно накинул крючок и вернулся на кухню, где тихонько плакали мать и сестра. Эту ночь мы почти не спали, прислушиваясь, не захлопают ли где-нибудь в отдалении выстрелы. Ночь, однако, прошла спокойно. И даже красный флаг утром продолжал полоскаться на флагштоке сельсовета. Это значило, что милиционеры из села ушли не замеченными коломийцевскими соглядатаями.

Но к началу занятий в школе Евтух Коломиец громкогласно объявил, что кацапские полыгачи из села смылись. И что в него вот-вот войдут гайдамаки под командованием его брата. А возвращаясь из школы, я видел, что ни красного флага, ни плаката, призывающего пролетариев объединяться, на здании волости уже нет. Портреты Ленина и Троцкого были вынесены из помещения и вверх ногами приклеены на заборе с надписями дегтем на каждом – «жид». Из открытой двери сельсовета, а теперь опять Трудовой Рады, сипел заезженный брезелевский граммофон. Это после вынужденной жизни в лесу к благам цивилизации снова приобщались коломийцевские хлопцы.

Дома у нас к радости, что отцу с его отрядом, видимо, удалось благополучно добраться до 3-ва, примешивалась тревога, что к нам вот-вот явятся мстительные гайдамаки. Опасаться с их стороны каких-нибудь особо свирепых действий пока еще оснований не было. А вот препровождение жены главного здешнего большевистского полыгача в «холодную», погромный обыск в нашей квартире и даже удар плетью или шомполом отнюдь не исключались. Поэтому, собравшись уже к вечеру сходить за водой, мать только приоткрыла дверь на улицу, как тут же с грохотом бронила ведра и схватилась за сердце:

– Титко идёт...

Через минуту в сопровождении еще двух хлопцев предводитель местных гайдамаков уже входил в нашу кухню. На этот раз никто из вошедших не поздоровался и не снял шапки. А стук прикладов об пол, хлопанье винтовочных ремней и выражение лиц непрошенных гостей были явно угрожающими.

– Ну, говори, где твой кацап? – грозно обратился к матери Коломиец.

Она стояла перед ним с руками, сложенными под грудью, и кланялась почти в пояс:

- Откуда мне это знать, Тит Мусиевич? Разве ж он скажет...

Так низко кланяющейся я видел ее только один раз, когда мать упрасивала владельца имения не выселять нас из этого домика в какую-то халупу. Дело было еще в Германскую, а этот домик понадобился под квартиру для нового винокура. Так в те времена называли специалистов по производству спирта. Не знаю, помогли ли тогда поклоны матери или жилищный вопрос для винокура решился как-то иначе, но мы остались на прежней квартире.

В отличие от дворянского интеллигента Брезеля, которого поклоны солдатской жены явно смущали, Титку Коломийцу роль вершителя судеб семьи своего политического врага определенно нравилась. Самодовольно подкрутив усы, он сказал, что не очень-то и нуждается в ответе жены беглого кацапа.

- В 3-в к своим большевикам подался Путинцев, вот куда! Ярами пробрались чертовы дети! А то б я со своими хлопцами показал бы кацапским полыгачам их советскую власть!

Мне показалось, что даже сквозь страх на лице матери промелькнуло выражение радости. Сам главный гайдамак подтверждал сейчас, что милицейский отряд благополучно ушел. Вряд ли это было особенно умно с его стороны.

- Обыскать квартиру! - приказал Коломиец, усаживаясь на стул с видом полководца, приготовившегося наблюдать действия своих войск.

Поверх левой ноги, перекинутой через правую, он положил колодку неизменного маузера, а сбоку стула свисал мышиный хвостик брезелевской шпаги. Скорее всего, он сам понимал, что сбежавший начальник милиции ни оружия, ни каких-либо важных документов в своей квартире не оставил. Однако обыски и реквизиции, как по-ученому назывались теперь прежние обычные грабежи и погромы, стали как бы веянием того времени. Но хлопцы Коломийца еще не поднаторели в таких делах

и вели обыск весьма неумело. Один «сунул нос» в маки-тру – огромный толстенный глиняный горшок, в котором в здешних местах затворяли тесто. Другой открыл заслонку и заглядывал в пустую печь.

– Куда вы смотрите, недотепы! – закричал на них командир. – А ну, чертова кацапка, открывай скрывать!

– Да она не заперта, Тит Мусиевич! – опять поклонилась мать. – Только ничего такого у нас в сундуке нету...

– Ладно, сейчас увидим...

Титко поднялся со стула, сбросил на пол матрац и старенькое лоскутное одеяло, которыми был застлан сундук, и откинул крышку. Из-под нее пахло нафталином. Тут хранились семейные реликвии и вещи, представлявшие особую ценность для нашей семьи. Титко выбросил на пол подвенечную фату матери, крестильные распашонки всех детей, включая, конечно, и мою, белую солдатскую рубаху начала русско-японской войны, простреленную на гаоляновых полях Маньчжурии. Наконец он добрался до выходной «тройки» отца и его парадных штиблет.

– Реквизируется в пользу Трудовой Рады! – объявил главный гайдамак и сунул эти вещи в наволочку, сдернутую с Тайкиной подушки.

– Тит Мусиевич, – заплакала мать, падая перед ним на колени, – одна только и была у Егора Ивановича приличная вещь, трудом заработанная! И ту отбираете...

– А нечего было к нам на Украину лезть, да еще Советскую власть тут разводить! Сидели бы в своей кацапии...

Коломиец передал добычу одному из своих хлопцев, окинул взглядом комнату и явно только для вида сдернул на пол одеяло и подушки с кровати. Я, Тайка и Серёжка жались в закутке между печью и стеной. Колька, стоя возле своей колясочки, держался за ее борт и смотрел на бесчинствующего дядю удивленными и как всегда серьезными глазами. А у того взгляд упал на стоявшую на комодe еще целую вазочку. Коломиец взял ее в руки, восхищенно повертел вазочку перед глазами и, наверное, тоже конфисковал бы ее в пользу Рады, если бы не Серёжка. Мальчик шагнул к жадному гайдамаку, дернул его за штанину и сказал:

– Отдай, не твоя!

Титко сначала смутился. И только потом деланно возмутился, сообразив, что подобная непочтительность подрывает его начальственный авторитет.

- Смотри ты, кацапеночек чертов! Вот я тебе сейчас пузо проткну! - Вытащив из ножен свою коротенькую шпагу, гайдамак сделал вид, что хочет ткнуть ею мальчонку в живот.

- Дурак ты! - сказал Серёжка.

- Ах ты, байстрюк! - И Титко, рассердившись всерьез, замахнулся на Серёжку шпагой.

Это было уже опасно. Мать оттолкнула сына в угол и заслонила его собой:

- Простите несмышлениша, Тит Мусиевич, дитя он еще...

Коломиец, сердито сопя, сунул оружие в ножны и удалился с трофейным костюмом вместе с хлопцами, буркнув с порога неопределенную угрозу:

- Смотрите вы у меня, кацапня чертова!

Мать плакала, кляня себя за недогадливость. Парадный костюм можно было припрятать, как были припрятаны отцовские часы. Ах, дура, дура... Впрочем, про костюм не скажешь, как можно было сказать про часы, что их-де захватил с собой Егор Иванович. Этому гайдамаки не поверили бы и могли огреть жену беглого кацапа шомполом или плетью. Ладно, хоть так отделались.

Мы были далеко не единственными, у кого коломыйцевские хлопцы произвели в эти дни обыски и неизбежные реквизиции. Большому или меньшему погрому подверглись все хаты, в которых жили бежавшие милиционеры и активисты-сельсоветчики. Одну дебелую молодницу, отчаянно защищавшую от конфискации почти новый мужнин кожух, Титко даже огрел по спине своей шпажиной. На это-то она годилась. Были произведены обыски также у обоих местных лавочников. Жид Ботвинник и кацап Евтеев были заподозрены в том, что они с враждебными целями срывают снабжение населения необходимыми товарами, а товары прячут. Действительно, у Евтеева гайдамаки обнаружили и отобрали два спрятанных хомута и пару ведер керосина, а у Ботвинника - початую штуку сукна и две штуки ситца. На селе посмеивались: такие наши лавочники дураки, чтобы этим



ограничивался весь их запас! Нарочно оставили, небось, на виду какой-то пустячок, как бросают кость собаке.

Свою победу гайдамаки праздновали широко. Отобранные советскими милиционерами самогонные установки были возвращены их владельцам на условии, что те регулярно и безвозмездно будут снабжать народную армию самогонкой. Из открытых дверей волости целыми днями неслись звуки уже вконец испорченных пластинок. Снова заработала Просвита, а частые сельские сходки опять заканчивались проникновенным пением «Заповита».

Однажды за околицей села мальчишки увидели двух рослых кавалеристов странного вида: у них были усы и каски того же фасона, как на открытке с изображением кайзера Вильгельма. Это был кавалерийский разъезд немцев. На другой день через село проехал уже целый эскадрон немецкой кавалерии. За ним тянулась длинная пехотная колонна. Каски на немецких пехотинцах не были похожи на кайзеровские. Они скорее напоминали опрокинутые котелки, не заострённые сверху и без бронзовых орлов спереди. За пехотой следовала артиллерия. Каждую пушку на огромных тяжелых колесах тащили по две пары лошадей. На орудия были надеты брезентовые чехлы. Однако Кондрат Пахомович, наш главный нынешний консультант по военным вопросам, как-то определил и их калибр – шесть дюймов, и тип – гаубицы. За пушками тянулся небольшой обоз.

Немцы остановились в нашем селе на ночлег, устроив своих солдат в помещениях волости и школы. Их батарея заняла позицию на возвышении за церковью, на высоком берегу речки. Как я теперь понимаю, орудия и зарядные ящики были расположены в боевом порядке. Однако своих гаубиц, к великому сожалению мальчишек, чертовы немцы так и не расчехлили. Я, конечно, тоже был в толпе многочисленных любопытных, прибежавших взглянуть на невиданные доселе пушки. Как свойственно всякой толпе зевак, мы как будто стояли на месте и не двигались. Но постепенно оказывались так близко от орудий, что какой-нибудь из охранявших их солдат непривычного для нас вида в каске и серо-зеленой шинели, замахивался на нас прикладом: «Цурюк!» Это

было первое немецкое слово, которое я услышал в своей жизни. Но всё-таки кое-что я у немцев тогда подсмотрел. Винтовки у них тоже были не такие, как у русских солдат, с горбинкой на прикладе снизу и с другим устройством затвора. Не таким, как в русской армии, был и пулемет, поставленный чуть в стороне для охраны батареи. Не хорошо мне известный по фотографии в «Огоньке» тупорылый «максим», а какая-то другая система. Как я потом узнал – с воздушным охлаждением.

Немцы снялись и ушли рано утром, еще до начала занятий в школе. Но в одном из классов они устроили нечто вроде временного лазарета для раненых. Их колонну по дороге в село обстреляла из придорожного лесочка какая-то «красная банда». Укрывшись своими куцыми шинелями жабьего цвета, раненые лежали на соломе, постланной на пол за сдвинутыми в сторону партами. И как раз в нашем третьем классе. Поэтому занятий у третьеклассников в этот день не было, и мы, прежде чем уйти домой, долго болтались в коридоре. Иногда по коридору проходил во двор по нужде кто-нибудь из раненых немцев с перевязанной рукой или головой. На поясах у немецких солдат висели кинжалы в узких кожаных чехлах. Оказалось, что это ножевые штыки, которыми можно действовать как кинжалом, не примыкая их к винтовкам. Догадливый, однако, народ эти немцы! Но с виду они мне показались людьми довольно обыкновенными и даже не очень сердитыми. Только один, с раненой ногой, ковыляя по коридору с толстой кривой палкой, ругался лающим гортанным голосом и даже замахивался на нас своей палкой. Судя по его искажённому от боли лицу, понятно было, что у него сильно болит нога.

На другой день увезли и раненых, и в селе остался только немецкий комендант-офицер с несколькими солдатами. Гайдамаки при немцах как-то сразу слиняли и не устраивали больше ни пьянок, ни обысков, ни праздного шатания по селу. Комендант, поселившийся со своими солдатами в брезелевском доме, приказал Коломийцу вернуть в этот дом всё захваченное в нём имущество. Правда, изъятую у Брезелей одежду вернуть уже было нельзя – она бесследно исчезла. А вот многострадальный граммофон с трубой и уже никуда не годными пластин-

ками снова проследовал на возу по дороге в Экономию, только в обратном направлении. Исчезла и камергерская шпага на боку предводителя наших гайдамаков – она, как и охотничьи ружья, вернулась в дом.

В первые несколько дней после прихода немцев на селе воцарилась настороженная тишина. Потом ее разорвал пороссячий визг, несшийся со всех крестьянских дворов. Это за счет мужиков выполнялось обязательство Рады о поставках вермахту условленной платы за избавление Украины от большевиков. По весьма произвольной раскладке немцы и гайдамаки отбирали у крестьян, кроме мяса и сала, также зерно, масло, яйца. Оказывающих неподчинение пороли нагайками и шомполами. Время от времени награбленные продукты грузили на подводы и под охраной отвозили на станцию для отправки в Германию.

С женой и лакеем Афанасием вернулся в свое имение и младший Брезель, но прочие челядинцы и старшие Брезели не приехали. В сопровождении коменданта, Коломийца и заведующего хозяйством Трофима Семеновича Брезель обошел службы и амбары Экономии. Всё было в запустении, но сохранялось в относительном порядке. Большая заслуга в этом принадлежала бывшему табельщику, который с удивительной честностью выполнял роль смотрителя имущества усадьбы, ничем не попользовавшись сам и не давая расхищать его другим. За это одни называли его большевистским прихлебателем, другие – панским полыгачем. А третьи – просто дураком, собакой на сене. Вряд ли у Трофима Семёновича были тогда сколько-нибудь определившиеся политические убеждения. Скорее всего он принадлежал к типу честных, преданных и исполнительных слуг, не слишком вникавших в вопрос, почему, собственно, они так преданы своим господам.

А вот у конторщика Степана Гавриловича политические, точнее морально-этические взгляды были. Он считал всякое покушение на чужую собственность грабежом, подлежащим пресечению, какая бы теоретическая база под этот грабеж ни подводилась. Ворами и грабителями считал панский конторщик и мужиков, захвативших помещичью землю и скот. Людей, подбивающих их на это,

звал политическими негодьями. Он был убежденным сторонником прежнего режима, хотя объяснить эту убежденность и преданность Брезелям особыми привилегиями его службы у них было никак нельзя. Сын сельского псаломщика и семинарский недоучка, он до революции с утра до вечера корпел за своей конторкой за нищенское жалованье и жалкую квартиренку. Продолжал Степан Гаврилович аккуратно являться на свое рабочее место и при большевиках, хотя весь конторский учет сводился теперь к отметкам о выдаче рабочим и служащим ежемесячного пайка.

Крестьяне, запахавшие помещичью землю или получившие с панских конюшен рабочих лошадей, боялись мести их владельца. Некоторые даже удрали из села. Однако никаких репрессий тогда не последовало. Было объявлено, что присвоившие лошадей или другое имущество Экономии обязаны его вернуть. Крестьяне, засеявшие помещичью землю, должны были сдать владельцу четверть полученного урожая в качестве арендной платы. Молодой барон не только не отличался свирепостью, но, по мнению многих соседей-помещиков, постоянно проявлял интеллигентский мягкотелый гуманизм, который будет расценен бунтовщиками и их подстрекателями как проявление слабости.

Мать очень боялась, что уж теперь-то нас, как семью активного большевика, Брезель непременно сгонит с квартиры и с кормильца-огорода. При открытой неприязни к нам со стороны хозяев села, гайдамаков, такое решение барона казалось наиболее вероятным. В этом году мы вскапывали свой огород почти «на авось», надеясь только на заступничество панских «полыгачей» – Степана Гавриловича и Трофима Семеновича, которое те обещали нам как кумовья и старые сослуживцы беглого машиниста Экономии. Поэтому, когда мать увидела приближающегося к нам помещика с его свитой, то едва не свалилась в обморок от страха.

– Здравствуй, Марфа! – сказал владелец имения. Оказывается, он помнил её имя.

Мать поклонилась ему в пояс, но вымолвить не могла ни слова.

- Что-нибудь знаешь об Егоре Ивановиче? - Брезель спрашивал о своем бывшем служащем уважительно, называя его по имени-отчеству.

Но она смогла только отрицательно покрутить головой.

- На кацапщину подался Путинцев со своими большевиками, куда ж еще! - ввернул Коломиец.

Немец-комендант, уловив, видимо, слово «большевик», что-то спросил у Петра Сергеевича, но тот отрицательно покачал головой:

- Путинцев - найн большевик! - и снова обратился к матери: - Твой муж во многом заблуждается. Но он человек неглупый, может быть, еще и одумается...

- Не выгоняйте нас, господин барон! - мать, наконец, обрела дар речи, и из глаз у нее хлынули слезы. - Пожалейте детей, ведь мал мала меньше...

- А никто тебя и не выгоняет, живи...

Помещик с комендантом повернулись и отошли. Трофим Семенович ободряюще подмигнул матери, а туповатый Титко, сдвинув на глаза шапку, поскреб затылок. Он, видимо, никак не мог понять: большевик или не большевик кацап Путинцев?

К лету в селе вспыхнула эпидемия свирепого испанского гриппа. Это была тяжелейшая и страшно заразная болезнь, поражающая сразу целые семьи. Умерших едва успевали хоронить, и над селом стоял непрерывный погребальный звон. Особенно часто умирали дети. Не пощадила «испанка» и нашу семью. В течение нескольких дней в нашем домике выражение «некому даже воды подать» имело далеко не только метафорический смысл. Однако все выжили, даже слабенький Коля.

Хозяйство Экономии, несмотря на все усилия «панских полыгачей», в этом году шло совсем плохо. Часть земли осталась весной незасеянной, а осенью - неубранной. Не хватало рабочих рук. На току во время уборки урожая пыхтел только один паровик, для другой работы не было. Кочегаром при нем состоял я, но заработную плату получил уже не керенками, а карбованцами. Их выпустило правительство гетмана Скоропадского, сменившее разогнанную немцами Центральную Раду. Гетманские деньги разнообразием не отличались - всего

одна купюра достоинством в пятьдесят карбованцев и размером в лист из небольшого блокнота. Зеленоватой краской на ней были изображены вытянутые длинноусые фигуры, стилизованные под украинскую старину, в долгополых жупанах и высоких шапках. На карбованцы почти ничего нельзя было купить. Новая власть держалась только на германских штыках и, видимо, мало чего стоила. Опасения по поводу ее устойчивости оказались не напрасными. Поздней осенью стало известно, что гетман бежал, так как немцы ушли. Одни говорили, что их выперли с Украины не то большевики, не то сами украинцы. Другие – что немецкие войска отозваны на родину их командованием, так как в неметчине тоже вспыхнула революция и германский царь Вильгельм слетел с престола, как и наш Николай. Власть на Украине захватила какая-то Директория, в которой главным является некий Симон Петлюра. Своей резиденцией этот новый украинский правитель избрал почему-то небольшой провинциальный городок под Киевом – Белую Церковь. Директорию будто бы поддерживают иностранные войска, явившиеся на смену немцам и высадившиеся в черноморских портах Одессе и Николаеве. Никто у нас ничего толком не знал и не понимал. Пётр Сергеевич Брезель с женой и верным Афанасием опять уехали.

Самостийники без немцев почувствовали себя вольготнее. Снова начались попойки и погромы инакомыслящих. И демократичности у них явно поубавилось. Ядро их партии составляли мужики побогаче, гордо именовавшие себя уже не просто хлеборобами, а «хлеборобами-собственниками». На флагштоке волости теперь полоскался желтый с голубым, «жовто-блакитный» петлюровский флаг. Откуда-то пахло духом зоологического антисемитизма, которого так боялся Ботвинник. Шли слухи о зверских расправах над евреями в соседних уездах, особенно ближе к Киевщине. Зяма Ботвинник сказал мне однажды под большим секретом, что отъезд их семьи дело решенное, хотя даже дед его отца родился в Брезелихе. Уедут они, вероятно, в Л-н – уездный городок Харьковской губернии. Он отсюда всего в пятидесяти верстах, но Харьковщина – это совсем не то, что наша Полтавщина или Киевщина. Там чувствуется влияние промышлен-

ных центров, и евреев не убивают только за то, что они евреи.

Точной даты их отъезда Зяма мне не сообщил. Вероятно, он и сам этого не знал. Но однажды, идя на занятия в школу, я увидел, что все ставни в доме Ботвинников закрыты, хотя поднимались они по-деревенски рано. Зяма в этот день на занятия не явился, а в большую перемену Евтух Коломиец, бывший в курсе всех сельских дел, громогласно сообщил, что всё жидовское семейство минувшей ночью тайно выехало из села в неизвестном направлении. Жены нанятых Ботвинником трех возчиков – за извоз им якобы обещано по полштуки ситца – знают только, что выехали их мужья еще затемно и обещали вернуться через несколько дней. В гайдамацком штабе по этому поводу происходило срочное совещание. Титко Коломиец и другие решительные хлопцы настаивали, чтобы за жидами во всех направлениях была отправлена погоня – нужно их догнать и хорошенько потрясти. Почти всю мебель и кухонную утварь евреи бросили дома. Значит, место на подводах занято только ценным товаром. И вполне вероятно, что Ботвинники увозят с собой накопленное золото. Оно должно быть у них непременно. Целых три поколения еврейского семейства торговали в этом селе. Но большинство гайдамаков считали, что трое саней – это не так уж и много, так как сундуки с обычным барахлом и постельную рухлядь евреи забрали с собой, и их самих, не считая возчиков, пять душ. Да и Абрашка Ботвинник не такой дурак, чтобы тащить с собой золото. Давно, наверное, потихоньку переправил его в надежное место. Или здесь же где-то припрятал до поры... К тому же нападение местных самоохранников на «своего», хотя бы и жида, на большой дороге дело не слишком красивое.

– Мало у нас еще боевых хлопцев! – заключил Евтух свое сообщение, повторяя, вероятно, слова брата.

Понятия о пределах дозволенного были у наших гайдамаков явно устаревшими. Это стало совершенно очевидно после посещения нашего села отрядом «синежупанников». Человек пятьдесят петлюровских конников въехали в него недели через две после отъезда Ботвинников и расположились на постой в барском доме. Все они были одеты в такие же долгополые кафтаны, как

на фигурах, изображенных на гетманских карбованцах. Эти кафтаны очень напоминали домотканые деревенские свитки, но были пошиты из синего сукна машинной выделки. На головах у петлюровцев красовались высокие смушковые шапки, с верха которых свисали длинные двухцветные «шлыки» с кисточками на конце. Все хлопцы старательно отращивали усы. У некоторых они уже довольно явственно загибались вниз, как у настоящих запорожцев. С этими усами петлюровцы и в самом деле имели бы почти запорожский вид, если бы не кавалерийские карабины за плечами бойцов и станковый пулемет, притороченный в разобранном виде к спинам двух отрядных лошадей.

На площади перед волостью был собран неизбежный митинг. Перед народом выступил длинноусый плотный есаул – командир отряда. Он сказал, что украинская Директория во главе с батькой Петлюрой ведет победоносную войну на два фронта. Но в то время как с офицерами бывшей царской армии, стоящими за «Единую и Неделимую Россию», уже покончено, то о кацапах-большевиках с их жидами-комиссарами этого сказать нельзя. Отброшенные доблестными войсками Директории на север Украины, большевики продолжают сопротивляться и даже переходят местами в контрнаступление. Поэтому все, кому дороги судьбы Великой Незалежной и Самостийной Украины, пусть записываются в отряд у пана писаря, который уже ждет добровольцев за своим столиком в помещении волости. Лучше, если хлопцы будут приходить со своим оружием, в отряде его может на всех и не хватить. А вот коней все добровольцы получают сейчас же. Со временем им выдадут также сабли и синие жупаны.

Насчет успехов петлюровских войск есаул не врал. Уже был взят Киев и несколько других городов на юго-западе Украины. По-видимому, Симон Петлюра и его Директория были крепче и интеллигентской Рады с ее качаниями, и опереточного гетмана. После того как с призывом постоять за неньку-Украину выступило еще несколько ораторов и с особым подъемом был пропет «Заповіт», к столу писаря выстроилась длинная очередь местных хлопцев.



А затем был устроен запоздалый погром в доме бежавших евреев, Синежупанники били стекла в окнах и крушили саблями ботвинниковские столы и стулья. Местные жители спасали от них эти вещи, растаскивая их по домам. Для придания погрому классического вида кто-то пустил по ветру мешок с куриными перьями, найденный в курятнике. Самих кур растащили еще раньше – не пропадать же им с голоду! Досталось и лавке Евтеева, хотя из всех православных во всем нашем приходе церковный староста был самым православным. К распятию Христа он явно не имел никакого отношения. Но все-таки Евтеев оставался кацапом, и это обстоятельство нельзя было оставлять незамеченным. Бочка с дёгтем, стоявшая в его лавке, была опрокинута. Блестящая черная жидкая смола неторопливо сливалась по ступеням крыльца лавки и растекалась между булыжниками мостовой. Вокруг толпился народ, пользуясь случаем, чтобы обильно смазать сапоги даровым дёгтем.

Громили разгулявшиеся петлюровцы также хаты милиционеров и сельсоветчиков. Председателя здешнего сельсовета, безногого солдата, исполнявшего свою должность лишь номинально и оставшегося дома – да и куда он смог бы уйти на своей деревяшке? – выволокли из-под соломы в его клуне и зарубили саблями. Это было первое политическое убийство в нашем селе, до того относительно тихом, хотя на недалекой отсюда Киевщине всякие ужасы творились уже давно.

Мы с матерью во время двухдневного гостевания в селе петлюровцев тоже сочли за благо не показываться на улице. Мать отсиживалась в кате у шорника, я и Тайка жили у соседа-конторщика. Положение Экономии опять стало весьма неопределенным. Однако Степан Гаврилович по-прежнему ежедневно ходил в контору и, сидя в пальто и шапке, рылся в старых книгах и что-то из них переписывал. Он постарел, зарос бородой, в которой пробивалась сильная проседь. Его старший сын Санько кончил школу, но слонялся без дела, помогая матери по дому. Трофима Семеновича с должности смотрителя Экономии никто не смещал, но никто ее и не подтверждал. Всё существовало уже только по инерции, готовое вот-вот окончательно развалиться. Петлюровцы, никого ни о чем не

спрашивая, конфисковали в Экономии всех ее выездных лошадей и десяток рабочих коней получше. Прихватили они и несколько пароконных дрог, на которые погрузили не только фураж и провиант, но и много всякого добра из барского дома. Теперь он был почищен куда основательнее, чем при местных гайдамаках.

Неплохо пополнился у нас отряд синежупанников и людьми за счет довольно многочисленных здешних добровольцев. Есаул, обещая им всем лошадей, никого не обманул, так как имел в виду лошадей из конюшен брезелевской Экономии. Правда, не все добровольцы-новички умели как следует сидеть в седле и не у всех это седло было. А вот безоружных среди них не было, большинство добровольцев явились в отряд со своими винтовками. Ушли с этим отрядом и большинство хлопцев Коломыйца. Сам же он остался в селе, довольно скоро восстановив численность своей армии за счет безусых ребят – необстрелков. Зато Титко справил себе синий жупан. Усы, которые прежде топорщились в стороны, Коломиец начал благообразно зачесывать книзу. Вообще у него появилось некоторое чувство стиля. Он снова носил поверх жупана урядницкую саблю и не выставлял напоказ даже своего маузера, ограничиваясь этой саблей и браунингом в кармане.

На одном из двух столбов волостного крыльца однажды утром появилось печатное обращение к украинскому народу, подписанное кем-то из петлюровских батек в ранге кошевого атамана. Оно начиналось во вполне христианском духе: «Уси люды – братья». Но тут же кошевой делал из этого утверждения весьма решительное исключение: «Алэ ляхи, угры, жида та кацапы – то есть вороги украинського народу...» Дальше следовал призыв бить упомянутых врагов и повсюду изгонять их с украинской земли.

Кто «также жида и кацапы» я, конечно, знал. Знал также, что «ляхи» – это поляки. Но вот кто «угры» я не имел тогда никакого понятия, и никто у нас не мог мне этого объяснить. Даже потом, когда я узнал, что так в старину назывались венгры, долго еще оставалось неясным, почему всё-таки они попали в черный список петлюровского кошевого? Оказалось, что дело в древних, полузабы-

тых распрях между венграми и западными украинцами. А так как эти «галичане» были не только братьями наших украинцев, но и задавали главный тон в деле создания «Великой Украины», то таинственные угры и оказались включенными в список «ворогов». Вероятно, по принципу «враг моего друга – мой враг».

Слухи о молниеносных успехах петлюровской армии начали вскоре затихать. А затем сменились слухами о контрнаступлении и новых зверствах большевиков. Их теперь все чаще называли просто «красными». Особенной свирепостью по этим слухам отличалась большевистская «Чрезвычайная комиссия», которую тоже упрощенно называли Чрезвычайкой. Чрезвычайке самим Лениным даны права без суда и следствия расстреливать всех и каждого по малейшему подозрению в контрреволюции. Говорили, что служат в этой большевистской инквизиции, главным образом, вырвавшиеся из царских каторжных тюрем убийцы и насильники, которыми руководят всё те же жиды. Бывшие каторжники хватают и расправляются со всеми, кто пытается оказать большевикам малейшее сопротивление или просто принадлежит к какому-нибудь из прежних привилегированных сословий. Рассказывали страшные вещи о подвалах Чрезвычайки, в которых бывшим царским офицерам вырезают на плечах погоны. Правда, именно эти офицеры организовали какую-то «белую гвардию», которая противостоит гвардии «красной». Слова «белый», «белогвардеец», «белая армия» были для нас тоже новыми, но оказались принятыми и усвоенными в народе весьма быстро. При политической противоположности всему, что происходило от слова «красный», эти слова и их производные строились точно по тому же принципу. «Белые», конечно, никак не жалуют «красных». Порют их сторонников шомполами и нагайками. Большевистских же комиссаров расстреливают и вешают.

Самостийники воевали и против белых, и против красных. И всё же ненависть к красным постепенно становилась у них все более выраженной. Националистическое движение на Украине было в основном крестьянским, мелкособственническим. И если белые, не желая знать никакой «самостийной Украины», частную собственность признавали и уважали, то, с мужицкой

точки зрения, они являлись все же меньшим злом, чем большевики с их коммунизмом. Поэтому в нашем селе сторонники «Великой и Незалежной» со всё возрастающей нетерпимостью относились к семьям бежавших милиционеров и других приверженцев советской власти. В их хатах всё чаще производились обыски, во время которых у «кацапских полыгачей» отбирались куры и поросята. У нас, правда, взять было нечего. Кроме того, у Коломийца и его хлопцев не было теперь полной ясности: кто же всё-таки этот Путинцев – большевик он или нет?

Школяры по-прежнему посещали школу. Но занятия в ней велись теперь совсем уж через пень-колоду. Мы больше бегали по двору или коридору, чем учились. Филипп Андреевич куда-то уехал, говорили, что он не выносил самостийников. Агриппина Семеновна подалась вслед за веселым и красивым гайдамаком, ушедшим с отрядом синежупанников. В школе остались только старушка Ольга Дмитриевна и наша Катерина Титовна. Ольга Дмитриевна происходила из кацапов, и вся эта узколобая шовинистическая направленность преподавания в нынешней школе ей явно претила. Катерина Титовна, в противоположность ей, была энтузиасткой украинского национализма.

Им ничего теперь за работу не платили. Только иногда какая-нибудь из сменявших друг друга сельских властей выдавала учителям никому не нужные керенки или карбованцы. Полагался учителям и продуктовый паёк, но его они тоже почти никогда не получали. Времена такие, что мужикам было не до школы с ее нуждами. Неся, по крайней мере формально, двойную нагрузку, наши учительницы работали практически бесплатно. Поэтому они куда больше внимания уделяли своим огородам, чем ученикам, чему мы были откровенно рады. Во дворе школы велись теперь бесконечные войны между «украинцами» и «большевиками». Украинцами руководил Евтух Коломиец, у большевиков же постоянного предводителя не было. Борцы за самостийную Украину украшали свои шапки петлюровскими шлыками, сделанными из бумаги и окрашенными вдоль наполовину голубым, наполовину желтым. Подбирались они из крепких ребят, преимущественно старшеклассников, сынков солидных

хлеборобов-собственников. Таких как я – политически сомнительных школьников, допускали к военным играм только на стороне плюгавых и разношерстных «большевиков». Условность школярских игр и всегда-то была у нас весьма относительной. Теперь же неподдельная враждебная настроенность сыновей самостийников к большевикам-кацапам постоянно приводила не только к неизбежному разгрому жидовствующих «красных», но, нередко, и к их серьёзному избиению.

Но так обстояло дело только в ребячьих играх. В действительности же большевики неотвратимо наступали. Однажды утром, когда, как обычно, занятий в школе не было, Евтух Коломиец приказал своим хлопцам снять двухцветные шлыки с шапок и сидеть тихо. Он был заметно подавлен и хмур. Как оказалось, жовто-блакитный флаг полощется над снова опустевшей волостью. Самостийники во главе с Титко Коломийцем в эту ночь тайно ушли из села в неизвестном направлении. Точно так же, как это сделали, спасаясь от них, советские милиционеры несколько месяцев тому назад. Два дня над селом стояла настороженная тишина междувластья. Личные счета сторонников победившей власти к приверженцам побежденной нарастали с каждой очередной их сменой. Взаимный террор и обоюдная мстительность усиливались, обрушиваясь, главным образом, на семьи бежавших. Собственно политические разногласия нередко отходили на местах куда-то на задний план, оставаясь только как бы фоном при проявлении жгучей личной ненависти. Ожидали, что не останутся в долгу у самостийников ни брат зарубленного председателя сельсовета, ни владельцы сожжённых клуней, ни мужья исхлестанных шомполами синежупанников большевистских жен.

Но в действительности получилось еще хуже. Почти никто из отряда Егора Путинцева в село не вернулся – бывшие сельские милиционеры воевали где-то далеко на разных фронтах. А занял село отряд красного партизана Кривошапки, по слухам, бывшего рабочего мельницы Крестовоздвиженского в 3-ве. Отряд ворвался в село ночью, безо всякой к тому необходимости запалив для вящего эффекта скирды соломы на току. Кривошапковцы врывались в хаты бежавших самостийников и с пристра-

стием допрашивали женщин и стариков, где их мужья и сыновья. Отца Титка Коломийца они вывели в огород и расстреляли, его жену до полусмерти исхлестали шомполами. Если эти акты ненужной жестокости и направлялись кем-то сверху сознательно, то только с единственной целью – сделать процесс расслоения села на враждующие лагеря еще более глубоким и необратимым.

Подобной мести не заслуживал даже сам предводитель наших гайдамаков, бывший скорее надутым, но благодушным индюком, чем свирепым атаманом. И уж совершенно неоправданной была расправа с его семьей.

Таким образом, под гул набата, винтовочную пальбу и зарево пожаров в нашем селе была восстановлена советская власть. Желто-голубой флаг на здании волости сменился красным. Но в целом уезд был занят большевиками только через неделю. А еще через несколько дней в Брезелиху из 3-ва прибыл для проведения митинга большевистский комиссар. Он был куда важнее того, который когда-то ночевал на печке в нашей кухне. Комиссар был одет в никем еще здесь не виданную кожаную куртку. Приехал он не на телеге, как Каллистрат Егорович, а в автомобиле, принадлежавшем прежде уже убитому владельцу 3-ской мельницы. Это был желтый фаэтон с откидным верхом, двумя яркими ацетиленовыми фонарями и сигнальным рожком справа от сидения шофера. Резиновая груша рожка была такая же, как у той фукалки, которой пономарь задувал в церкви свечи, только черного цвета и побольше размером.

Все эти подробности я разглядел впервые, так как прежде видел автомобили только издали. Большинство селян о фантастическом «самокате» только слышали. Однако выражать свое любопытство так откровенно, как дети, взрослые не решались. Некоторые мужики по несколько раз проходили мимо «чертопхая», скашивая на него глаза, но делали вид, что просто спешат по своим делам. За рулём автомобиля сидел шофер – человек средних лет с густыми усами, в сдвинутых на лоб громадных ветровых очках и в кожаных перчатках с раструбами. Когда любопытные придвигались к автомобилю слишком близко, шофер делал страшное лицо, шевелил усами и нажимал на грушу. Рожок издавал неприятный квакающий

звук. Деревенские в испуге шарахались в сторону, старики крестились, а шофёр весело скалил зубы. Один раз он сделал какое-то движение рукой, отчего машина вдруг страшно взревела, затряслась, а сзади у нее вырвался серый вонючий дым. Тут уж наутек пустились даже самые храбрые. И только глядя уже с безопасного расстояния, все поняли, что веселый усач опять шутит.

А в это время с крыльца волости комиссар выступал перед не слишком многолюдным и довольно угрюмым сходом. Он сыпал громадным количеством новых, большей частью совершенно непонятных слов: Антанта, контрреволюция (оно было понятно само по себе, но часто звучало с новоявленным прибавлением «гидра»), интервенция, декрет, Центральный комитет, интернационал... Пестрела его речь также множеством фамилий, известных и неизвестных ранее: Ленин, Троцкий, Зиновьев, Винниченко, Петлюра, Краснов, Деникин, Юденич. Так же, как и Каллистрат Егорович, этот комиссар особо подчеркивал, что советская власть – это власть рабочих и крестьян. Но тут же разъяснял, что имеются в виду не все крестьяне, а только их беднейшая часть. Что же касается куркулей, то рабоче-крестьянская власть ставит их в один ряд с буржуями, помещиками и капиталистами, так как сельские богатеи тоже являются такими же захребетниками и эксплуататорами, как и помещики. Вообще этот представитель советской власти говорил куда более жестким языком, чем его предшественник. Он заявил, что наше село является одним из гнезд самостийничества, приверженцев которого надо вылавливать и препровождать в город в тамошнюю Чека – так сами большевики называли свою Чрезвычайку.

Потом выступило несколько человек из отряда Кривошапки и он сам лично. Они призывали сельских бедняков быть бдительными, не доверять сладкоречию классовых врагов и беспощадно расправляться со всеми, кто делом или только словом мешает установлению справедливой власти. В конце митинга комиссар, два приехавших с ним красноармейца и несколько человек из отряда Кривошапки запели «Интернационал». Большинство певших коммунистический гимн толком его слов не знали. Поэтому по-настоящему бодро и громко он звучал

только на припеве – «Это есть наш последний...». Большевистская песня мне понравилась. Она была гораздо бодрее и проще в исполнении, чем медленный и раздумчивый «Заповит».

После отъезда комиссара значительное число самостийников и их родственников помоложе сразу же сбежали из села «до лясу», как выражался пожилой беженец-белорус, не вернувшийся к себе на родину из-за начавшейся заварухи. Однако их отцы, большей частью люди уже престарелые, сделать этого не могли. Так же, как и жены сбежавших. Они-то и стали главным объектом приложения политической активности кривошапковцев, оставшихся в нашем селе в качестве милицейского отряда. Стариков и женщин новые милиционеры держали по нескольку суток в «холодной», допрашивали, нередко с пристрастием, пытаясь узнать, где в их дворах спрятано оружие и куда подались приверженцы Петлюры. Последний вопрос был, собственно, праздным, так как всем было известно, что беглые самостийники окопались в дальнем Диканьском лесу. Впрочем, двое из отряда Коломыйца остались дома и некоторое время прятались в своих дворах. Вскоре их обнаружили и отправили в город, в Чека, вместе с нашей учительницей, бывшим сельским урядником и бывшим брезелевским управляющим – нашим соседом Степаном Гавриловичем. Хотели также арестовать второго нашего кума Трофима Семеновича, но тот своевременно скрылся «до лясу».

Старика-урядника, так же как и безнадежно больного управляющего, арестовали без предъявления им конкретных обвинений. Просто как «полыгачей» старого режима, хотя урядник сдал свою шашку сразу же после отречения царя и с тех пор занимался только крестьянством. Катерину Титовну и бывшего конторщика Степана Гавриловича обвинили в том, что они были активными самостийщиками, а конторщик ещё и занимался контрреволюционной агитацией. Эта агитация в основном сводилась к зловредному утверждению, что, разоряя богатых людей, большевистская власть тем самым лишает пропитания и бедных, которые при них кормились. Степан Гаврилович был единственным из арестованных в тот раз наших односельчан, кто вернулся домой. Учи-



тывая не слишком высокое положение панского конторщика при старом режиме, чекисты ограничились тем, что высыпали агитатору против советской власти двадцать шомполов. Санько привез отца из города на телеге, так как после экзекуции ходить тот не мог и долго еще пролежал в постели – гноилась спина. Гайдамаков чекисты расстреляли, нашу бывшую учительницу препроводили в полтавскую ЧК, и её дальнейшая судьба осталась никому не известной. Так же как и судьба бывшего урядника. Брезелевский управляющий умер в тюрьме.

С арестом Катерины Титовны занятия совсем прекратились, и посещать школу больше никакого смысла не было. Исчез куда-то и муж учительницы – сельский фельдшер, которого школяры любили за то, что несмотря на явную нашу симуляцию простуды, он никогда не отказывал ребятам в выдаче микстуры из солодкового корня, почитаемой нами за лакомство.

Для реализации лозунга «Грабь награбленное» препятствий больше не существовало, и бывшую брезелевскую Экономию крестьяне начали быстро растаскивать. Вначале это делали более или менее скрытно, по ночам, но постепенно стали грабить открыто. Например, приходил в свинарник мужик, ловил облюбованного им поросенка и засовывал его в свой мешок. Если свинарь пытался протестовать, экспроприатор обзывал его «панским полыгачем» и напоминал ему, что теперь не старый режим. Мол, хватит, попили кровушки!

Под прикрытием подобных фраз мужики, далеко не всегда из самых бедных, тащили в свои дворы помещичьи плуги и бороны, железо из кузницы, бревна и тес из плотницкой. А однажды по селу разнесся слух, что с десятков мужицких семей, объединившись для совместного грабежа, поехали на подводах к помещичьему дому. Менее решительные какое-то время выжидали – не окажется ли сельская власть сопротивления громилам. Но убедившись, что та как будто и не замечает ничего, тоже подключились к начавшемуся грабежу. Добрую половину села охватила безудержная жадность. Торопливо впрягая в телеги лошадей и нещадно их нахлестывая, мужики наперегонки неслись к барской усадьбе. Там стоял гомон и гвалт, как на базаре. Задыхаясь от вожделения и спеш-

ки, грабители бестолково теснились с барским добром в проходах, толкая друг друга и застревая в дверях. Наконец кто-то догадался вышибить одну из оконных рам. Его примеру последовали другие, и в какую-нибудь минуту почти весь нижний этаж дома зиял пустыми оконными проемами. Из них летели затейливые козетки, позолоченные стулья, массивные шкафы и комоды, картины в широких рамах, даже статуи. Стараясь подъехать к окнам поближе, грабители заезжали на цветники и клумбы, увязая в рыхлом грунте чуть не по колесные ступицы. Утащил кто-то и злосчастный граммофон, которому в свалке смяли роскошную трубу. Запоздавшим доставались вещи, в крестьянском обиходе вроде и вовсе непригодные. Но тут проявилась мужицкая сметка. Например, дядька, схвативший большое зеркало, которое не помещалось в его хате по высоте, на добрую треть зарыл венецианское трюмо в землю. Благо пол у него был обычной здесь глинобитной «доливкой».

Из Экономии уводили оставшихся после петлюровской реквизиции лошадей, угоняли коров, быков и телят. Еще больший шум, чем возбуждённые крики людей и мычание скота, создавали свиньи – они не хотели никуда уходить из своих свинарников. Упрямых йоркширов тащили на веревках, лупили палками, крутили им уши. Тяжелых и малоподвижных маток вязали и с трудом грузили на телеги. Угоняли на село, конечно, и коз. Старый козел, тот самый, что испортил когда-то мою куртку, хотя он и сильно уже одряхлел, оказал своим похитителям особенно активное сопротивление. Пока старик со старухой и двое подростков не расчалили его веревками за рога и не потащили к себе во двор, козел отчаянно отбивался и каждого из них сумел крепко боднуть, а то и сбить с ног.

Варварское разграбление крестьянами помещичьего имения напоминало набег кочевников на поселения оседлых земледельцев где-нибудь в домонгольской Руси. Пароксизм безудержной жадности распространился даже на таких крестьян, которых прежде было совершенно невозможно заподозрить в способности взять чужое. Впрочем, «чужого» здесь больше не было – было ничье. Опоздавшие на пир дарового приобретательства в доме тащили мебель из конторы, включая высокие конторки

с деревянными балюстрадами по верхнему краю и подвесные керосиновые лампы на железных цепях. Мы с матерью тоже приняли участие в повальном грабеже – чего уж тут! – и увезли на тележке из разбитого амбара мешок зерна. Мать застенчиво крестилась – грех, конечно! Но если тащат зерно даже те, у кого полна хлеба собственная клеть, то уж нам, у которых ни кола ни двора, делать это и сам бог велел...

К вечеру кто-то забрался внутрь давно уже бездействующего и заколоченного винокуренного завода Брезелей. Этот заводик стоял сразу за селом, только по другую сторону от главной усадьбы Экономии. Исследователь надеялся поживиться всего лишь медными частями от перегонной установки и тут неожиданно для себя обнаружил, что в приемнике для спирта-сырца находится еще довольно много этого продукта. «Снятие пробы» на месте подтвердило открытие. Но когда первооткрыватель неожиданно клада брел, пошатываясь, домой за посудой, его вид и исходивший от него «аромат», естественно, заинтересовал односельчан. На завод устремилась громадная толпа с ведрами, кувшинами и бутылками. Там сначала образовалась свалка, а потом и пьяная драка. Кто-то, вероятно, пытаясь осветить темнеющее помещение – солнце уже зашло, неосторожно чиркнул спичкой и поджег разлитый повсюду спирт. Винокурня сгорела вместе с одним из опившихся грабителей.

А ночью, неизвестно кем и зачем подожженный, запылал и брезелевский дом. Вероятно, это уже действовал психоз вандализма. Мы проснулись от гула набата на церковной колокольне и не сразу поняли, отчего по стенам комнаты мотаются какие-то багровые тени. Из-за деревьев сада, казавшегося сейчас совершенно черным, вздымались высокие языки пламени. Мать не пускала меня на пожар, но я не послушался и, торопливо одевшись, убежал. Возле горящего дома было уже множество народу, некоторые снова с возами. Казалось, начисто ограбленный, он все еще содержал в себе множество вещей, которые мужики продолжали выбрасывать через выбитые окна. Из отхожего места вытащили «трон» – нечто среднее между сундуком и креслом на колесиках с дыркой на сидении. Со стен выламывали бронзовые кан-

делябры, на телеги бросали разрозненные рыцарские доспехи с фигур, стоявших в парадной прихожей. В одном из высоких окон танцевального зала, расположенного во втором этаже, появились мечущиеся тени людей – огонь был уже и в этом зале, – поднимавших к окну что-то очень тяжелое и громоздкое. Зазвенели стёкла, и на землю полетела громадная рама с частыми старинными переплетами, а это «что-то» заслонило оконный проем почти на половину его высоты. Затем, сверкнув черным лаком в свете пожара, оземь грохнулся громадный рояль, издав жалобный многоголосый стон. Одна из его ножек с шарообразным утолщением и медным колесиком на конце отлетела.

Люди бегали и по крыше флигеля, стоявшего почти рядом с домом и тоже уже горевшего. Они с грохотом отдирали от стропил железные листы. Кто-то пытался сделать это и на крыше главного дома, но было уже поздно. Потолок здания рухнул, взметнув к багровым низким облакам гигантский фейерверк искр, горящих головешек и раскаленных листов железа. Вскоре провалилось и межэтажное перекрытие. Простоявший более столетия величественный дом-дворец превратился в пылающий костер, на фоне которого еще некоторое время выделялся только ампирный фронтон с высокими, на высоту обоих этажей, колоннами и ограждением балкона. Тут брать было уже нечего, и мужики громили теперь надворные постройки. Из молочни тащили сбивалки для масла, отстойники и отжималки для творога. Какое-то семейство спустило по ступеням высокого крыльца и увезло на телеге пузатый сепаратор.

Оргия погрома и грабежа закончилась только к утру, которое обещало быть пасмурным и дождливым. Далеко вокруг пожарища разносился острый запах гари. Руины дома и окружающих построек дымились среди грязного месива, в которое были превращены цветники и огромный газон, разбитый напротив главного подъезда. В центре этого газона нелепо торчал на палке треснувший от жара зеркальный шар. Во время пожара этот шар, в котором отражалось пламя, казался мистическим оконцем в какой-то ад. Но теперь даже он выглядел уныло и тускло.

Кто-то из сельских мальчишек прикончил шар, запустив в него камнем.

Вкус к хищению, так взрывчато проявившийся у здешних крестьян в день разгрома брезелевской усадьбы, уже не исчезал в них никогда. Психологически мародерское поведение мужиков частично оправдывалось тем, что вынимать стекла из окон конторы или разбирать на кирпичи пустые строения с сорванными крышами было вроде бы уже и не грабежом, а лишь утилизацией того, что все равно теперь должно было пропасть без пользы. Хотя и тут нужна была инициатива. Стоило кому-нибудь начать разбирать кирпичный забор вокруг барского сада, как у него тут же находились последователи и подражатели. И вот уже возле этого забора с утра и до вечера копошились трудолюбивые и жадные муравьи, нагружая на телеги выломанные кирпичи. Это продолжалось до тех пор, пока на месте разграбленного дома осталась только неглубокая канава. Теперь сад был открыт со всех сторон и казался каким-то беззащитным и неприкаемым. Из машинного сарая и расположенной рядом слесарной мастерской утащили весь инструмент, из локомотивов выломали все медные части и, прежде всего, металлические трубки, пригодные для самогонного дела. Мужики отвинчивали даже всевозможные железки от сельскохозяйственных машин, полезные, казалось бы, только на своем месте. Это уже на всякий случай. Может быть, и они на что-нибудь когда-нибудь сгодятся...

Часть 5

# Разгар гражданской войны

Жизнь в разрушенной Экономии

Приход деникинских карателей,  
смена красного террора белым

Нападение красных партизан на белый эскадрон

Убийство Степана Гавриловича

Новое наступление Красной армии

Посланец отца и наше путешествие в город Л-н

Удивительные особенности еврейской нации

Из чего вырабатывается электричество?

Парад красноармейских частей и свидание с отцом

Будет ли построен коммунизм?

Переезд в город Л-н

Болезнь отца

Новый год на новом месте



Онашей семье сельские власти как будто забыли. Делать можно было теперь всё что хочешь, и мы, пользуясь этим, вскопали часть бывшего кукурузного поля, прилегавшего к нашему огороду. Всё равно эта плодородная земля оставалась необработанной и была теперь как бы ничья.

Об отце не было ни слуху ни духу. Правда, та же Параска Авксентьевна нагадала матери, что ее трефовый король жив, что он непрестанно думает о своей даме, а на сердце у него тяжелые заботы. Это несколько успокоило мать - жив ее Егорушка! И она подолгу молилась за него перед образами, хотя и не решалась называть перед ними своего мужа прежним именем «воин Егорий». Конечно, он и теперь оставался воином, но воевал на стороне большевиков, нехристей и охальников, не признающих ни Бога ни чёрта.

Как когда-то солдатки, на кухне у нас теперь собирались «красноармейки». Главным образом жёны безвестно исчезнувших милиционеров из отряда отца. Отсутствие каких-либо известий об их судьбах было теперь гораздо глубже и длительнее, чем во времена германской войны. Извещений о погибших никто больше не получал, так как почта в те годы не существовала. Даже изувеченные и не годные более к службе бойцы вернуться домой не могли - страна горела в пожаре братоубийственной войны. И поэтому всевозможные гадания и толкования снов стали у женщин теперь еще более популярными, чем когда-то. Разговоры о снах я слушал с прежним интересом, но уже без всякого доверия. Правда, мой скепсис к некоторым из их толкований исходил тогда не из принципиального отрицания самой возможности какой-то связи между явлениями реальной жизни и увиденным во сне, а только из формально логических неувязок, которые в этих толкованиях я иногда улавливал. В ряде слу-



чаев, например, предполагаемая предсказательная сила снов основывалась единственно на частичном созвучии названия, увиденного в них, со словом, обозначающим предсказываемое сном событие. Вот тут-то мне и пришла в голову ехидная мысль, что в то время как понятия остаются одинаковыми для всех, обозначающие их слова меняются в зависимости от языка, на котором говорит увидевший сон! По этому случаю между мной и матерью возник разговор.

- Мам, - обратился я к ней с невинным видом, - если во сне лошадь увидишь, то значит, ложь будет?

- Ложь, сынок, - вздыхала она.

- А если печку?

- Сам знаешь, печаль будет...

- И все равно, кто сон увидит: русский, украинец или немец?

Она посмотрела удивленно, еще не подозревая подвоха:

- Конечно же, все равно...

Тогда я, продолжая прикидываться любопытствующим простаком, попросил ее разъяснить, как же быть с тем обстоятельством, что созвучия получаются в пределах только одного языка, на котором говорил сам автор толкования сна. А как же тогда быть какой-нибудь старухе из нашего села, которая не знает слов «лошадь» и «ложь» и называет их соответственно «конём» и «брехней»? Тут нет ведь никакого созвучия. А следовательно, нет и намёка на будущее событие...

Смысл логического тупика, в который я заводил подобными рассуждениями мать, доходил до неё не сразу. Но тем более яростным бывал взрыв последующего возмущения, подтверждающего поговорку о неправом Юпитере. Иногда мать хваталась даже за веник или ухват. Конечно, я предвидел возможность применения палочной аргументации и поэтому держался при таких разговорах поближе к двери. Тем более что начинал я их вовсе не из просветительских побуждений. Скорее, мною руководило озорное и малопочтенное желание посмотреть, как будет выглядеть человек, вышибленный из своего привычного, но ветхого седла. Не всегда, однако, стоит разрушать иллюзию, особенно если ничего не можешь дать взамен.

В тяжком грехе разрушения, притом не одних только иллюзий, без своевременной замены разрушенного вновь созданным были повинны в те времена не одни только одиннадцатилетние мальчуганы. Мне было с кого брать пример.

Летом стало известно, что одна из контрреволюционных армий, возглавляемая генералом Деникиным, быстро и победоносно наступает с юга. Противники большевиков говорили, что причина успехов белых заключалась не только в громадной помощи им со стороны могущественной Антанты – некоего союза государств. Что Советы развалили хозяйство страны и в центральной России – оплоте большевизма – начинается жестокий голод. Москва не получает теперь хлеб ни из Украины, ни из Сибири, захваченной войсками второго главного белого генерала Колчака. Чтобы не умереть с голоду, большевики выкачивают хлеб из бедных поволжских губерний. Но там из-за этого вспыхнули крестьянские восстания. Словом, очень похоже, что песня большевистской революции уже спета.

Над селом снова витал дух угнетенности и тревоги. Но, за исключением немногочисленных сторонников советской власти, вовсе не из сочувствия к судьбам большевизма – для большинства здешних крестьян его идеи по-прежнему оставались не совсем понятными, – а из страха перед ответственностью за разгром барской усадьбы. Пусть даже этот разгром получился как-то неожиданно, вроде сам собой. Фактически никто из его участников не одобрял ни поджогов, ни грабежей. И каждый в отдельности никогда не решился бы на подобное дело. А сбившись в кучу, эти же люди совершили непоправимое.

Теперь толковали уже о зверствах деникинцев, почти в точности повторяя всё, что когда-то говорили о наступающих большевиках. Но тогда в опасности чувствовали себя лишь особенно активные самостийники. Теперь же чуть не у половины села рыло было в пуху. Многие сельские не приготовились бежать до спасительного «лясу». И все же большинство мужиков, засеявших панскую землю или захвативших её уже засеянной, выращенный на ней урожай убрали и свезли на свои дворы. Некоторые, даже необмолоченные снопы с этой земли предусмотрительно складывали отдельно, чтобы вернуть их пану по его

требованию. Тому ведь выгоднее будет получить со своих полей хоть что-нибудь, чем совсем ничего! Но были и такие, которые заблаговременно ушли из села, бросив выращенный на панском поле урожай на произвол судьбы. Вместо них иногда его убирала другие – не пропадать же добру!

Мы с матерью тоже решились на это. Она достала где-то серп и жала перестоявшую пшеницу по ночам, припомнив свою крестьянскую молодость. Но тогда труд жниц был куда мучительней, так как приходилось нагибаться чуть не до самой земли, чтобы жать чисто. Теперь же достаточно было срезать одни колосья, солома нам была не нужна. Более того, она мешала транспортировке украденного урожая. Два десятилетия спустя, во времена драконовских законов против «парикмахеров» – голодающих колхозников, срезавших колосья на общественных посевах с помощью ножниц, я сожалел, что мы в своё время до этого способа не додумались. Я и Тайка набивали мешки срезанными колосьями и относили домой. Там их высушивали на печке и обмолачивали, колотя по мешку палками. Затем отвеивали зерно на ветру. А вот смолоть сами мы его не могли. Так же как и ножницы в качестве орудия жатвы, домашние ручные мельницы были изобретены уже позже, во времена коллективизации. А пока что за помол приходилось отдавать часть зерна «мирошникам», имевшим за селом ветряки.

В село опять приезжал на своем автомобиле тот самый комиссар, который устраивал у нас митинг весной. Собрал он митинг и теперь, но тон его обращения к собравшимся был уже совсем иным, чем в прошлый раз. Комиссар не скрывал, что советская власть находится сейчас в величайшей опасности. Деникинцы заняли Харьков и находятся на пороге нашего уезда. Все, кто проявлял активность при установлении рабоче-крестьянской власти – люди понимали, что грабежи и поджоги тоже включаются в это понятие, – должны помнить, что все они погибнут, как кутята, от рук белогвардейской сволочи и наймитов Антанты, если не присоединятся к отступающим частям Красной армии. Те, кто не может сделать этого из-за преклонного возраста или из-за отсутствия достаточной воинской подготовки, пусть организуют партизанские отряды на местах. Донимать с тыла

белогвардейцев, а заодно и самостийников, находящихся с ними в сговоре, не менее важная задача, чем воевать на фронте. Комиссарский автомобиль снова ждал своего хозяина за углом волости, и возле него опять толпились любопытные. Но машина нам уже не показалась такой интересной, как в первый раз. Может быть еще и потому, что сидевший в ней водитель даже и не попытался установить контакт с публикой. Это был уже не тот симпатичный усач, а совсем другой парень. Он не включал для вящего эффекта своего трескучего мотора, не давил из баловства на грушу и уж подавно не мог шевелить усами – их у него вообще не было.

После митинга состоялось закрытое собрание кривошапкинских партизан, а за ним – долгое заседание штаба отряда. И на следующий день из села выступил вооруженный отряд добровольцев, уходивших в Красную армию. Вряд ли среди них был хоть кто-нибудь более или менее ясно представляющий себе идеи коммунизма и мировой революции. Но все понимали – от белогвардейских репрессий надо уходить.

Политика разжигания и поощрения инстинктов вандализма, сословной мести и примитивного мужицкого стяжательства, проводимая большевиками, приносила скорые и обильные плоды.

Наш главный большевик Кривошапка с основной частью своего отряда снова отправился партизанить в пределах нашего уезда. По-видимому, это больше соответствовало его наклонностям и боевому опыту, чем служба в Красной армии. Мужчин в нашем селе уже почти не осталось. Кто был у самостийников, кто у красных, а кто невесть где. Про сыновей нескольких богатых мужиков говорили, что они служат у белых. Впоследствии оказалось, что это отчасти верно. Вообще-то, избыток схематизма в определении того, кто в гражданскую войну служил революции, а кто – контрреволюции, навеян позднейшей советской литературой и в особенности кинематографом эпохи социалистического реализма. Всё было гораздо сложнее.

Красный флаг на флагштоке волости никто не решался трогать до вечера. Но ночью он был снят, разостлан на крыльце и обгажен. Потребность поглумиться над символом социалистической революции превозмогла даже му-

жицкую жадность – из флага могла бы выйти добрая пара портянок.

Пришло известие, что белые заняли 3-в, но наше село оставалось без власти еще два дня. А к исходу третьего из-за кладбища появился эскадрон белогвардейцев. После толп мужиков, пеших или даже конных, но почти не соблюдавших строя, одетых во что попало и несших винтовки кто вверх, кто вниз прикладом, денкиницы производили весьма выгодное впечатление – они находились тогда в своей лучшей поре. Мужиковатыми по сравнению с ними казались и петлюровские синежупанники, хотя многие из них отлично сидели на лошади и владели саблей. Впереди отряда ехал офицер с золотыми погонами. За ним, отставая от командира только на полкорпуса своего коня, следовал его ординарец – кавказец в белом бешмете с газырями и длинным кинжалом в серебряных ножнах. Это было настоящее войско. Вид храбрых победителей даже заставил меня забыть о страхе перед ними. Ведь помимо того, что мы были семьей красноармейца, белым могли донести, что эта семья вскопала под огород кусок помещичьего поля, увезла из брезелевского амбара мешок пшеницы и срезала колосья урожая, тоже по праву принадлежащего помещику.

Наутро следующего дня перед волостным крыльцом стояла большая толпа, хотя на этот раз мужиков не приглашали ни на митинг, как при большевиках, ни на сход «громады», как при самостийниках. Их просто согнали на площадь, угрожая нагайками тем, кто не явится. К толпе угрюмых людей, окруженных полукольцом солдат-конников, с краткой, но энергичной речью обратился командир карательного отряда – поручик. Он объявил, что все, кто помогал красной сволочи, принимал участие в грабежах, поджогах и захвате чужой земли, понесут заслуженное наказание. Но оно может быть смягчено или даже совсем отменено для тех, кто укажет зачинщиков грабежа, сообщит имена большевистских доносчиков или поможет отыскать спрятанное чужое добро. При определении наказания для грабителей будет учтено также своевременное возвращение ими награбленного. Пытающихся скрыть своё участие в грабеже ждёт особо беспощадная экзекуция. Что касается главных большевистских заводил, то они в случае поимки будут препровождены

в 3-вскую контрразведку. Мы уже знали, что контрразведка – это что-то вроде белогвардейской Чрезвычайки. И если про Чека говорили, что большая часть попавших в нее отправляется в «штаб Духонина» (на расстрел), то для контрразведки этот штаб заменялся «земельным банком». Вот-де и вся разница, если говорить о методах.

В заключение командир карателей сказал, что срок возвращения награбленного – вечер сегодняшнего дня. А сейчас – марш по домам! И пусть те, кого это касается, приступают к исполнению приказа. Приказ подействовал. Через какой-нибудь час после речи поручика в Экономию потянулись подводы с уже подпорченными, покореженными и разрозненными предметами обстановки барского дома. Но рядом с позолоченной мебелью восемнадцатого века мужики везли и необмолоченные снопы, мешки с зерном, мукой и крупой, куски железа, брёвна, даже выломанные из заборов и стен кирпичи. Снова проехал злосчастный граммофон, и проплыло гигантское трюмо из большого зала со спиленным резным надвершием и выпачканным глиной низом. В пустом амбаре, в котором срочно навесили оторванную дверь, всё это принимал вынырнувший откуда-то Трофим Семенович. Восстановлением обстановки конторы занимался Степан Гаврилович, сокрушавшийся больше всего по растащенным на сигарки конторским книгам. Возвращалось, конечно, далеко не всё. Большая часть предметов одежды и ценные вещи небольшого размера оказались затранными или куда-то переправленными.

По дворам шли повальные обыски. Тех, у кого находили спрятанное панское добро, белогвардейцы стегали шомполами и нагайками, не делая исключения и для баб. По селу разносились отчаянные крики и вопли. Опять наша небольшая холодная была до отказа набита арестованными. Кое-кого действительно отправили в контрразведку. Все они, однако, довольно быстро вернулись домой, кроме одного убитого «при попытке к бегству». Относительно небольшое число жертв «белого террора» в нашем селе, объявленного белогвардейцами как контрмера против большевистского «красного террора», объясняется прежде всего тем, что почти все серьёзно замешанные в недавних событиях ушли из села. Нашу семью каратели не тронули, хотя мать, всхлипы-

вая и утирая слезы, уже пересыпала из ларя в наволочку муку, смолотую из уворованного нами зерна. Так возвращать награбленное было бы удобнее. Но оказалось, что в списке расхитителей панского добра нас нет. Дело в том, что его составляли всё те же, неизменно благоволившие к нам наши кумовья Трофим Семенович и Степан Гаврилович, хотя их позиция как панских полыгачей определилась теперь уже окончательно.

Учинив свой больше показательный, чем действительный террор и заставив мужиков вернуть хотя бы часть награбленного, белогвардейский отряд ушел. В селе остался гарнизон из пяти солдат и трехцветный флаг на флагштоке волости. Отец Григорий, отслужив в церкви молебен о ниспослании белому воинству дальнейших побед, провозгласил этому воинству и его главнокомандующему Антону Ивановичу Деникину «многая лета». Многолетие, правда, получилось довольно жидким – уж очень сильно поредел наш церковный хор. Изменился состав хора, только хромой регент был прежним.

Белогвардейцы оставили после себя два плаката, вывешенных на видных местах. На одном из них изображалась контурная карта России. В её центре бородастый мужик в лаптях и драной красной рубаше отмахивался страшенной дубиной от наседавших на него со всех сторон антибольшевистских войск. На мужика наступали стройные колонны деникинцев, колчаковцев и интервентов. С Белого и Черного морей по зверообразному большевику палили пушки военных кораблей. На него ползли танки, летели самолеты. Из истории революционного плаката известен плакат Моора, на котором красноармеец в буденовке, стоя в центре карты России, отбивается прикладом винтовки от наседающих на него страшилищ контрреволюции. Не исключено, что композиция этого плаката была навеяна антибольшевистским лубком деникинцев. Второй плакат был совсем уж грубой карикатурой на Ленина. Вождь большевиков, абсолютно лишенный почему-то портретного сходства с оригиналом, обращаясь к другой фигуре, по-видимому, женской, но стриженной в скобку и с папиросой во рту, говорил: «Деваться больше некуда, товарищ Коллонтай. Прощай, моя Совдепия, бегу теперь в Китай».

Автор стихов привел здесь фамилию известной большевички только для рифмы со словом Китай. В истории революции эта генеральская дочь была фигурой довольно второстепенной. Но политический смысл двестишестидесятилетнего имела весьма реальный. Деникинцы уже взяли Орел и Тулу и подступали к Москве.

На очень короткое время – всего на несколько часов – в свое разоренное имение наведался Пётр Сергеевич Брезель. Без жены, с одним только Афанасием, он жил теперь в 3-ве, снимая квартиру у вдовы расстрелянного Чрезвычайкой председателя городской думы. Барон почти утратил свой былой изящно-аристократический вид. Он осунулся, был небрежно одет, в бороде и усах появилась преждевременная седина. Его отец умер, в армии Юденича был убит брат, бывший гвардейский офицер, погиб сын-кадет. Вместе с другими воспитанниками кадетского корпуса мальчик заживо сгорел в доме, подожженном восставшими солдатами Киевского гарнизона.

Барон медленно обошел руины своих владений. Потом долго, понурясь, сидел на скамейке под плакучей ивой, росшей напротив развалин его наследственного дома. Прежде эта ива была удивительно красивым деревом. Но теперь, обожженная пламенем пожара, большая часть ее нижних ветвей засохла и безжизненно свисала. Заглянуть в амбар, где было свалено возвращенное мужиками имущество, Пётр Сергеевич отказался. Уехал он в тот же день, поблагодарив своих бывших конторщика и табельщика за преданность и услуги.

Потом они сами раза два ездили к нему в 3-в за указаниями по хозяйственным вопросам. Эти указания были немногословными и сводились к просьбе как-нибудь сохранить то, что еще уцелело. И преданные слуги заколачивали выбитые окна и пустые дверные проемы, настилали вместо содранных железных крыш камышовые, смазывали салом еще не растащенные части машин. Производились эти работы, главным образом, руками мелких грабителей, которым в качестве заработной платы зачисляли награбленное и невозвращенное ими панское добро. Сведения о том, кто что взял, были достаточно полными. Эти сведения давали сами же расхитители, моральная разобщенность которых была сравнима



теперь разве что с их стихийной сплочённостью во время грабежа.

После первой из своих поездок в уездный город Степан Гаврилович всем рассказывал о виденной там страшной выставке жертв Чрезвычайки, они же – жертвы красного террора. Эта выставка была устроена белогвардейскими властями под видом панихиды по безвинно убиенным. Несколько десятков трупов граждан города, извлеченных из наскоро засыпанных могил, лежали длинным рядом. Это были владельцы лавок, ремесленнических мастерских, чиновники разных уездных управлений, полицейские. Некоторых Степан Гаврилович знал. Связанный колючей проволокой, лежал и изуродованный труп мукомола Крестовоздвиженского, на автомобиле которого к нам приезжал уездный комиссар, тела двух городских священников, местного исправника, учителя гимназии. И еще многих людей разного звания, в том числе иногда и самого простого. Этих, по словам конторщика, «чрезвычайщики» зачислили в панские полыгачи за то, что они протестовали против большевистского разбоя среди бела дня, ломки установленных порядков и безбожия.

Контрразведке белых удалось схватить в 3-ве несколько руководящих большевиков. Тела двух уездных комиссаров болтаются на фонарях рядом с городским базаром. Прежде благодушный Степан Гаврилович рассказывал теперь об этом со злобным удовлетворением. После порки в Чека он уже по-настоящему глубоко ненавидел красных. Жестокость и злоба неизбежно порождают в ответ ещё большие жестокость и злобу. Лавина взаимной ненависти одной части народа к другой катится, непрерывно нарастая и угрожая гибелью как самому народу, так и государству. Такова главная особенность социальной психологии мрачного безвременья всех кровавых революций и братоубийственных войн, во имя каких бы благих намерений ни были они начаты.

Ходили слухи о решительных действиях красных партизан, в том числе и отряда Кривошопки. Кривошопковцы нападали на хутора богатых мужиков, поджигали строения, устраивали беспощадные реквизиции. Одного куркуля даже убили. Однажды ночью мы проснулись от страшного грохота. И не сразу сообразили, что это чем-то тяжелым, вероятно прикладами, выбивают входную

дверь у наших соседей. Потом за стеной раздался выстрел, страшный женский и детский крик и что-то грузно упало на пол.

- Господи, никак Степана Гавриловича убили! - шептала, крестясь и стуча зубами, мать.

Я сделал движение, чтобы сбегать посмотреть, что делается в соседней квартире, но она мертвой хваткой вцепилась мне в плечо:

- Не смей!

Вломившиеся к соседям люди, видимо, сразу же ушли. Они, несомненно, совершили там какое-то страшное дело. Из-за тонкой перегородки продолжали доноситься причитания Горпины Тарасовны и монотонный плач детей. И все же мать была права, не пуская меня на улицу. Выстрелы слышались теперь где-то во дворе Экономии, по-видимому, рядом с ее бывшей конторой. Частая стрельба доносилась и со стороны села, над которым быстро разгоралось зарево. Потом раздалось несколько взрывов ручных гранат и, усиливая ощущение жути, загудел набат. Кто-то негромко постучал в окно нашей кухни. За ним стоял соседский Санько. Даже сквозь оконное стекло при багровом свете неблизкого пожара было видно, что глаза у подростка расширены от ужаса. Войдя в дом, Санько громко лязгал зубами, весь трясся от нервного озноба и только с усилием и не сразу смог произнести три слова:

- Наш татко убитый!

Мать широко перекрестилась, а мальчик, продолжая мелко дрожать, попросил у нее разрешения от имени своей матери перейти всей семьей к нам до утра. Уж очень им всем страшно рядом с трупом убитого отца. Через десять минут в нашей квартире сбились в кучу уже две плачущие женщины и все их дети. Вместе стало не так страшно, тем более что вскоре наступил рассвет. Стрельба на селе прекратилась, а зарево догорающего пожара быстро блекло и сменилось густым черным дымом. Меня и Санько наши матери отпустили, наконец, в разведку. Преодолевая ужас, мы заглянули через повисшую на одной петле дверь в соседнюю квартиру. Там на кирпичном полу кухни лежал, широко раскинув руки, мёртвый Степан Гаврилович с наброшенным на лицо полотенцем. Из-под полотенца торчала его седеющая борода, местами

опаленная и покрытая запекшейся кровью. Панский полыгач был убит выстрелом из винтовки в упор.

– Таточку мий! – опять заплакал Санько.

Мне тоже было нестерпимо жаль дядю Степана, который оставался ко мне неизменно добрым, несмотря на то, что мой отец воевал на стороне людей, которых он ненавидел. И как всегда, когда давно знаешь человека, не хотелось верить, что этот человек, еще вчера вечером разговаривавший с тобой, теперь мертв и никогда и ни с кем разговаривать уже не будет. Степана Гавриловича убили кривошапковцы. Санько знал в лицо двоих из четверых ворвавшихся в дом.

Потом мы пробрались в здание конторы с заколоченными окнами и залатанной камышом крышей. Вынутые при разгроме Экономии стекла были вставлены в окна только в одной из комнат квартиры управляющего. В ней проживал теперь со своей семьей бывший табельщик Трофим Семёнович. Сейчас в одном из двух ее окон стекла вместе с рамой были выбиты, по-видимому, сильным ударом изнутри. Осколки стекла валялись под стеной дома на грядках уже убранного огорода. В доброй сажени от этой стены виднелась глубокая вмятина, сделанная босыми ногами человека, выпрыгнувшего, очевидно, из того же окна. Потом этот человек бежал огромными прыжками, преследуемый людьми в сапогах, устремившимися в погоню за ним со стороны входа в квартиру. Преследователи стреляли из винтовок на бегу, судя по валявшимся на огороде гильзам. С замиранием сердца по этим следам мы читали историю ночного нападения партизан на квартиру второго панского полыгача, ожидая, что вот-вот наткнемся на его труп. Но след босых ног терялся за углом полуразрушенной конюшни, за которой находился теперь уже ничем не огороженный сад.

– Утик дядько Трофим, – заключил Санько. Он помолчал и опять всхлипнул: – А моего татка убили...

Возможно, ему было бы легче, если бы этой ночью осиротела не только одна их семья. Так уж устроена человеческая психика, сколько на эту тему ни морализируй.

Мы обошли со всех сторон здание конторы и заглянули в окна квартиры Трофима Семеновича. Ее дверь была заперта снаружи на висячий замок. Значит, тетка Явдоха со своими тремя ребятами к кому-то ушла, боясь повто-

рения налета. На полу под окном валялась опрокинутая табуретка, которой хозяин квартиры и выбил это окно. С другой табуретки, стоявшей рядом с неубранной двухспальной кроватью, свисали его брюки и пиджак. Значит, хозяин квартиры убежал в одном белье. Вскоре мы узнали в подробностях обо всем, что произошло минувшей ночью.

Партизаны, проникнув без шума в село, незаметно окружили помещение, в котором спали белогвардейцы, и забросали окна гранатами. Настоящее сопротивление оказал только один фельдфебель – начальник гарнизона белых. Не задетый ни пулями, ни осколками гранат, он успел спрятаться на чердаке и оттуда отстреливался, пока хватило патронов. А потом сдался и был расстрелян под стеной волости. Спасся только один белогвардеец, ночевавший в эту ночь у какой-то вдовушки на селе. Уничтожив сельский гарнизон, кривошапковцы свели счеты со всеми, кто доносил или считалось, что доносил белым на большевиков, и у кого в Белой армии были родственники. У них реквизировали всё съестное и теплую одежду и, как водится, подожгли их клуни. Доверху набитые соломой, высоченные конической формы сараи горели, как гигантские костры, далеко кругом освещая местность. Дочиста разграбили партизаны также дом Евтеева, старший сын которого ушел с деникинцами. Старик отстреливался через окно своего дома из охотничьего ружья, и его убили.

Одновременно с десятков партизан были отправлены в бывшую Экономию для уничтожения тамошних поlyingачей. В отношении бывшего конторщика это удалось. А Трофим Степанович спасся только благодаря своему старшему сыну Степке, тому самому, которому отдало когда-то пальцы колесами паровика. Степка начал было ходить в школу, но она вскоре закрылась, поэтому он с такими же недорослями болтался без дела, убивая время бесконечными играми в войну. Теперь ребячьи войны происходили уже между «красными» и «белыми». Изменились по сравнению с дореволюционными временами стиль и тактика этих войн. Военные действия состояли теперь, главным образом, из засад, нападений врасплох, налетов на дома, расстрелов захваченных военнопленных. Предводителем «белых» и большим выдумщиком

по части сценариев игр был Степка. Накануне вторжения кривошапковцев, ожидая нападения «краснозадых», он соорудил тайную сигнализацию. Подбирающиеся к позициям своих противников «большевики» – игра велась уже в темноте – должны были наткнуться на верёвочку, протянутую над самой землей. Один конец этой верёвочки был привязан к колышку, другой – к ржавому ведру, стоящему на крыше сарайчика рядом с домом. От самого слабого рывка ведро опрокидывалось, и из него в старый таз под стеной сарая с грохотом сыпались разные железки и осколки битых бутылок. Это устройство, втайне от противника, было уже готово к действию, но разыгравшихся вояк разогнали по домам – время было позднее. А ночью в квартире бывшего табельщика – в ней спали теперь чутко и настороженно, в любой момент сюда могли явиться «по душу» панского полыгача мстители-партизаны – проснулись от шума сигнального устройства.

– Кто-то по двору пробирается, татко! – вскочил со своего места Степа.

Но отец уже стоял у окна с табуреткой в руке и наганом в другой. Впрочем, опрокинуть ведро могла и бродячая собака. Сомнения рассеялись, когда за окном промелькнули тени вооруженных людей, а в дверь загремели прикладами. Однако партизаны не ожидали такой быстрой реакции на свой приход, пузоэтому и упустили полыгача. К жене, оставшейся в доме, они ломиться уже не стали. Продрожав до рассвета, она ушла с детьми, как и Горпина Тарасовна, к кому-то из соседей.

Теперь глумлению подвергся уже трехцветный российский флаг, партизаны повесили его на загаженную уборную во дворе волости. Они ушли к утру, но о налете кривошапковцев на наше село в 3-ве узнали еще не скоро. На довольно большом протяжении телефонные провода, соединявшие нас с городом, были сняты, а телефонные столбы спилены.

Белые были теперь почти бессильны бороться с разрастающимся партизанским движением. Со всех сторон их донимали и красные, и зеленые банды. По отряду карателей из любого леска или оврага мог грохнуть залп, причем неизвестно чей. Поэтому, хотя уездные власти и выслали отряд для выявления и истребления банды Кривошапки, этот отряд только делал вид, что выполняет

поручение. На самом же деле, проехав по относительно безопасным дорогам, каратели возвратились ни с чем. Нового гарнизона к нам не прислали.

Теперь отсутствие официальной власти в селе приняло уже невиданно затяжной характер и вскоре стало как бы привычным. Здание бывшего волостного управления стояло с выбитыми окнами безо всякого флага на флагштоке. К своим женам и любовницам из окрестных лесков почти еженощно наведывались как красные партизаны, так и беглые самостийники. А вот в хаты своих политических противников они вваливались уже группами по несколько человек и требовали в порядке всё той же «реквизиции» сала, муки и прочего, без чего лесные жители не могли обходиться. Но постепенно почти единственными хозяевами сел и деревень в нашем уезде становились большевики. Самостийники исчезали из наших мест, пробираясь на Екатеринославщину к Махно или уходя служить к белым. И деникинские гарнизоны чувствовали себя в относительной безопасности только в городах. Было известно, что после неудачи под Москвой Добровольческая армия распадается и практически уже бежит. Ее части отходят задолго до соприкосновения с отрядами Красной армии. Гарнизон 3-ва, объединившись с еще несколькими такими же гарнизонами, снялся и ушел в южном направлении, когда красные были еще далеко. И сразу же в городе начал действовать «Красный ревком». Работа в тылу врага была налажена большевиками с поразительной смелостью, энергией и умением.

На этот раз партизаны Кривошапки вошли в село днем и без особого шума. На флагштоке волости снова заалел красный флаг, а в её выбитые окна вставили фанеру, уже получившую ехидное название «советского стекла». Снова был организован сельсовет, председателем которого стал всё тот же смелый и напористый Кривошапка. Стало известно, что Трофим Семенович, чудом уцелевший в ночь налета красных партизан, объявился было в 3-ве, некоторое время жил в квартире Брезеля и вместе с ним куда-то уехал, так и не повидавшись с семьёй. Во время длительного безвластия в нашем селе мужики снова почувствовали себя весьма вольготно. Они опять растащили по дворам свезенное в брезелевский амбар награбленное имущество, а сам амбар разобрали на бревна. Выломали

и железную решетку, ограждавшую барский сад со сгоревшим домом со стороны парадного двора, теперь тоже уже бывшего, так как всё здесь было разорено и разграблено. Кое-кто из крестьян, хотя и не совсем открыто – очень уж зазорное это дело – начал спиливать деревья господского сада. Покамест, правда, валили только декоративные: вековые липы, акации, пирамидальные тополя. Часть этих деревьев шла на дрова и мелкие поделки, другая годилась на бревна для строений.

Наша семья в эти месяцы жила менее голодно, чем в предыдущий год. Огород, благодаря захвату нами полосы бывшего кукурузного поля, был теперь достаточно большой, чтобы полностью обеспечить нас картошкой до будущего урожая. Хватало и других овощей, но только летом. Заготовить их на зиму мешала нехватка соли. Ее не хватало даже для кухни. Пища становится удручающе монотонной, как бы бесцветной по своим вкусовым качествам. Хорошо еще, что, роясь в заброшенном барском коровнике, я нашел однажды порядочный кусок розовой каменной соли. Вероятно, это был остаток одной из тех соляных глыб, которые прежде лежали в каждом здешнем стойле в качестве коровьего лакомства. Мать истолкла этот кусок и выдавала нам соль по крохотной щепотке к вареной картошке, сокрушенно замечая всякий раз, что серовато-розового порошка в березовом теске с каждым днем становится всё меньше. О масле, даже растительном, мы почти уже позабыли, а о мясе и сахаре и говорить нечего. Воспоминание об этих продуктах вызывало у нас смутное и тягостное ощущение, которое следовало бы назвать «желудочной тоской». Но не по пище вообще, а по пище сколько-нибудь приятной и вкусной. Это поймут те, кто испытывал так называемый «качественный» голод.

Все более жестоким бедствием тех лет становилось полное отсутствие товаров. Уже давно ничего не продавалось: ни одежды, ни обуви, ни материалов для их изготовления. Крестьяне полностью перешли на натуральное хозяйство. Они ходили в рубахах и штанах из домашнего холста, свитках из домотканого сукна, изделиях из овчины и в смазных «чоботах», пошитых деревенским сапожником из юфти домашней выделки. А что было делать таким, как мы, которых мужики достаточно резонно пре-

зирали за нашу полную зависимость во всём необходимом от городского производства? Все в нашей семье страшно обносились, а мы с Тайкой к тому же еще и безобразно выросли из своей одежды. В относительно благополучном положении находился только Серёжка, казавшийся франтом по сравнению с нами. Он донашивал теперь то, из чего в роскошные довоенные времена, несмотря на все запасы «на вырост», я все-таки вырос и чего мать по своей крестьянской бережливости не выбросила.

Однако от времени, когда я был в возрасте Кольки, не сохранилось уже ничего, и она сокрушалась теперь по поводу былой своей непредусмотрительности и расточительности. Повздыхав и посокрушавшись, мать сшила для своего младшего сына, конечно с обязательным запасом, хотя рос он очень медленно, штаны и рубашку из цветастой занавески, которой долгие годы задегивалась родительская кровать. Свой старинный сарафан – память о родной деревне – она перешила на платье Тайке. Я носил латанные-перелатанные отцовы рабочие штаны, которые с большим трудом удалось отстирать от сажи и машинного масла. Штаны были ушиты в поясе, подвернуты и подшиты снизу. Опять-таки на случай всё того же выроста – кто знает, сколько времени продлится эта жестокая нехватка всего и вся? Так, хоть с грехом пополам, но пока решалась у нас проблема одежды.

А вот проблему отсутствия обуви решить было невозможно. Колька не имел обуви вообще. Летом он ковылял босиком, зимой большую часть времени сидел дома. Только иногда, чтобы малыш мог глотнуть хоть немного свежего воздуха, его обували в Сережкины, то есть бывшие мои, драные ботинки. А чтобы они не свалились с не по возрасту маленьких и слабеньких ступней хилого с младенчества ребенка, на них наматывали побольше всякого тряпья. От этого Колька, выведенный на улицу, ходить совсем не мог, а больше стоял или сидел на завалинке. Но и после таких арестантских прогулок старший брат малыша нередко встречал его тумачами. Эгоистичному Сережке, нетерпеливо ожидавшему, когда ему будут возвращены башмаки, казалось, что Колька гуляет уж слишком долго. Случалось, что за свое безобразное себялюбие эгоист получал взбучку от Тайки или матери. Однако сознательнее от этого он не становился.



У нас с Тайкой была только одна общая пара ботинок. Но они катастрофически быстро приходили в полную негодность. Не помогало даже виртуозное мастерство Кондрата Пахомовича, который называл себя уже не шорником, а «латочником» и «холодным сапожником». Работы по настоящей специальности у него почти не было. Последней надеждой оставалась только пара детских калош, купленных для меня еще «за царя», как вздыхая называли теперь на селе дореволюционное время. Они предназначались для ношения поверх валенок. Но тогда произошла ошибка – калоши на мои валенки не налезли да так, не ношенные, несколько лет и пролежали в сундуке. Теперь я и Тайка изредка надевали эти калоши поверх толстых тряпичных чулок, пошитых для нас матерью. В интересах большей универсальности чулки имели одинаковые наружные, но разные внутренние размеры у Тайки поменьше, а у меня побольше. Однако надевать эту обувь разрешалось только при крайней необходимости. Для того, например, чтобы пробежаться по снегу. Дома, да и на улице, даже по самой холодной осенней грязи, мы бегали босиком.

Об отце мы давно уже ничего не знали, и мать терзалась постоянной тревогой. Эта тревога возросла особенно сильно, когда кто-то высказал предположение, что мог погибнуть Путинцев в эсеровском восстании Григорьева, к которому, вероятно, примкнул по своим политическим убеждениям. Это восстание, как и многие другие тогдашние мятежи левых и правых эсеров, было подавлено. И по слухам, особенно обильно залито кровью. Но наступившей зимой известие об отце мы получили. Его принес Остап Довгаль, тот самый милиционер из его отряда, которому отец так завидовал по поводу его холостяцкого положения. Остап ушел с отрядом в ту памятную весеннюю ночь, и о нем, так же как и обо всех других первых здешних милиционерах, с тех пор ничего не было слышно. От него мы узнали, что Путинцев всё это время воюет вместе с большевиками, хотя теперь не во всём согласен с их политикой.

Довгаль появился на пороге нашей кухни, когда в селе уже была восстановлена советская власть в виде правления партизана Кривошапки. В 3-ве правил революционный комитет, но регулярные части Красной

армии находились еще в нескольких десятках километров северо-восточнее. Мы сразу не узнали прежнего ладного парня в оборванном, грязном и заросшем человеке с винтовкой, хотя вошедший поздоровался с хозяйкой как старый знакомый, назвав её по имени-отчеству. Мать встревоженно и недоуменно всматривалась в изможденное худое лицо неожиданного гостя.

- Что-то не признаю, товарищ...

Теперь это слово становилось уже привычным. А в том, что вооружённого человека, явившегося в дом в дневное время следовало называть только «товарищ», сомнений быть не могло. Довгаль невесело усмехнулся и назвал себя. Мать вскрикнула и схватилась за сердце:

- Остап! Господи! А Егор-то мой жив?

- Жив-жив, сейчас всё расскажу... - Остап поставил свою винтовку в угол. Затем снял рваную шинель, свернул ее в ком и отнес в сени. - Боюсь вошей вам напустить, - смущенно объяснил парень. - Как только что с себя снимаешь, сейчас же кругом расползаться начинают...

Через огромную прореху на одной из штангин красноармейца виднелось его худое, посиневшее от холода колено, пальцы ног торчали из драных сапог. Наши партизаны-лесовики по сравнению с ним выглядели мордастыми франтами. Растапливая печь, чтобы сварить гостю картошки, мать украдкой смахивала слезы - вот что сделала с людьми проклятая гражданская война! А Остап, сидя на лавке, медленно, с передышками - мешала слабость - рассказывал: горстка сельских милиционеров, ушедших тогда из села, недолго держалась вместе, разошлись и рассеялись по многочисленным фронтам и частям. Про некоторых он знает, что еще живы, про других - что убиты или умерли от тифа, но о большинстве не знает ничего. Он всё это время воевал вместе со своим взводным Путинцевым. Пока Егору Ивановичу везёт - ни пули, ни осколки, ни сабля его не берёт. Даже сыпняк, который сейчас куда пострашнее белых - он косит людей чуть ли не целыми полками - обошёл его стороной. Остап тоже схватил эту гнусную хворь и полтора месяца провалялся на каком-то полустанке. Чудом выжил и даже догнал свой полк.

Продвижение передовых частей Красной армии сильно затруднено разрухой на железных дорогах, дей-

ствиями бесчисленных банд и вот этим тифом. Егор Иванович устроил так, что Довгалья отпустили на поправку к отцу с матерью, благо до их деревни от сильно выдвинувшейся вперед части фронта немногим больше полусотни верст. Правда, формально он считается отправленным в глубокую разведку – район-то еще не советский! Но есть у красноармейца Довгалья и личное задание от Егора Ивановича: узнать, все ли живы в семье его взводного и как они там перебиваются в эти нелегкие времена? Егор Иванович шлёт семье низкий поклон, но письма он не написал – по нынешним временам лучше обходиться без бумажек...

Мать растроганно плакала. И оттого, что ее Егорушка жив, и от благодарности к человеку, который, как и предыдущий гонец Егора Ивановича, завернул к нам даже прежде, чем посетить свой родной дом и узнать, живы ли его собственные родители. Есть еще добрые люди на этом жестоком свете! Ради таких людей, наверное, и не разразил еще Господь Бог этот мир. И не отправил всё его население в тартарары...

А Остап, перекатывая с руки на руку горячие картофелины и посыпая их нашей красноватой солью – перед дорогим гостем мать поставила ее остаток прямо в туюске – продолжал рассказывать. Ещё велено ему передать жене взводного командира одно важное предложение. Рота, в которой служит Путинцев, вот-вот займет Л-н – белые из города уже ушли – и простоит в нем с неделю, а может быть, и дольше. Но, несмотря на близость к селу, где проживает его семья, боевого командира не отпустят домой и на день. Нужен на месте. Да и опасно бродить по ничейной местности в одиночку – она кишит бандитами. Довгалья отпустили вроде бы со спецзаданием. Да и то больше потому, что он рядовой. И не столько боец сейчас, сколько лишний рот в полуголодной армии. А вот Марфа Андреевна могла бы сходить в Л-н без особых затруднений. Два дня туда, два обратно да там еще пару дней. За неделю бы и справилась... Небось, соскучилась по мужу, да и он по ней, видать, тоскует... И главное – информация о том, что в селе происходило и происходит, нужна Егору Ивановичу сейчас. А кто знает, когда теперь Довгаль увидит своего взводного. Может быть, ему придется ещё долго искать и догонять свою часть...

Сначала мать в испуге замахала руками. Куда уж ей, беззащитной бабе, в такое смутное время отправляться одной в такую даль. Небось и мужчине при оружии по нынешним дорогам ходить страшно... Остап возразил, что дело обстоит скорее наоборот. Именно немолодой, бедно одетой женщине, да если она ещё придумает какую-нибудь историю пожалостнее для объяснения своего путешествия, ничего не угрожает со стороны даже самых свирепых бандитов. А пройти всего одну сотню верст без особой торопливости она, вероятно, сумеет – не господская дочь. Мать мучительно колебалась. Желание свидеться с мужем боролось в ней с нерешительностью и страхом. Меньше всего ее пугало расстояние – в молодости хаживала на заработки и за полтораста верст. Но вот ребята одни останутся. И страшно, ох как страшно на дальней дороге одной...

– Я тоже с тобой пойду! – заявил я.

Сначала она даже рассердилась:

– Ты-то куда суёшься? Дальше выгона сроду не ходил никуда! А тут пятьдесят верст в один конец...

– Так эти же пятьдесят вёрст не в один день пройти надо, – возразил я. А насчет выгона – это она ой как ошибается! Мы с ребятами сколько раз до Параскиного озера летом бегали. Конечно, так, чтобы наши родители не знали. А до этого озера верст двенадцать с гаком в один конец!

– Нехай идет хлопец, – неожиданно принял мою сторону Остап, – с мальчонкой вам и вовсе безопасно будет...

– А с обувкой для него как быть? – продолжала мать сопротивляться, хотя уже и без прежней решительности. – Совсем же нечего Димке на ноги надеть...

– Как нечего? – запротестовал я. – А калоши?

– Ох, стопчешь ты их. Туда да обратно сто верст...

– Не стопчу! Резина по снегу долго стоит...

– Насчет резины он верно говорит, – опять поддержал меня Остап. – У нас один солдат вёрст триста в калошах отмахал, сапоги у всех сбились, а калоши ничего. Только пузыри на ногах под ними здорово вздуваются, так то дело летом было, в жару...

Мать почти уже сдалась:

– Значит, Тайке одной с ребятами дома оставаться...

Сестра захныкала:

– Боюсь...

Однако мать сочла это типично женское возражение не слишком серьезным:

– Ничего, попросим Санько, чтобы у нас ночевал, Горпина Тарасовна рядом...

– А я в чём на двор выйду, если Димка калоши забереет? – продолжала выискивать возражения Тайка.

Мать задумалась, но, поколебавшись немного, на что-то решилась:

– Ладно, достану тебе из сундука свои полусапожки...

И вздохнула. Ее подвенечные женские ботинки начала века с высокой шнуровкой тоже хранились как семейная реликвия. Да только, видно, пришло и их время. Тайке мамины сапожки были непомерно велики, а по высоте доходили чуть не до колен. Но большое – не маленькое! Если натянуть сначала чулки для калош, а сверху еще портянки намотать, то сапожки носить можно. Остап сказал, что получается даже красиво. Неожиданная обновка возместила Тайке неприятную перспективу остаться на целую неделю одной с малышами.

Вопрос о путешествии в Л-н был решен, начало похода намечено на послезавтра. К этому времени наш гость немного передохнет, а хозяйка успеет пропарить, простирать и заштопать его красноармейскую рвань. Вдребезги разбитые сапоги Остапа мать отнесла Кондрату Пахомовичу. Уже в полдень следующего дня в почистившемся, отмытом и побрившемся молодом мужчине, несмотря на его страшную худобу и глубоко ввалившиеся глаза, можно было узнать прежнего разбитного милиционера из отцовского отряда. Довгаль сходил в здешний сельсовет и представился его председателю Кривошапке. Этот сельсовет по своей организации и манере действовать скорее напоминал ревком. Кривошапка о появлении в селе одного из первых здешних милиционеров, конечно, уже знал и ждал его визита к себе. Принял он Довгаль весьма приветливо, приказал выдать ему из каких-то своих запасов ещё довольно крепкие сапоги и принял к сведению предстоящий временный уход из села для свидания с мужем жены красноармейца Путинцева. Председатель предложил даже снабдить ее удостоверением личности, но рассудительный Остап посоветовал матери от этой его любезности отказаться. При встрече с чужими

большевистское удостоверение настроит их на враждебный лад, а своих бояться нечего.

На рассвете пасмурного зимнего дня мы втроем вышли из дома: мать, Остап и я. Мать давала последние наставления Тайке как ей вести себя в качестве хозяйки дома: дверь держать постоянно на крючке, с огнем обращаться осторожно, трубу раньше времени не закрывать. Та слушала эти наставления вполуха – она и так все хорошо знала – и плакала, утирая кулаком слезы. Страшно все-таки оставаться без мамы, несмотря на обещания постоянного наблюдения и помощи со стороны соседей. Наконец мать в последний раз перекрестила и поцеловала плачущую дочку, и мы тронулись в путь.

Было совсем не холодно, медленно и тихо падали одинокие снежинки. Дорога за селом была засыпана почти не укатанным снегом – теперь по ней редко кто проходил или проезжал. Совершенно пустынной она была и сейчас. На одном из недалеких перекрестков Остап остановился:

– Ну, мне сюда...

Мать обняла его, поцеловала и расплакалась. В нынешнее время любое прощание могло оказаться последним. Остап некоторое время шёл, проваливаясь в сугробах просёлка. Потом остановился и еще раз помахал нам рукой – одинокий человек с ружьём среди хмурых заснеженных полей.

Первый десяток вёрст мы прошли довольно бодро, но потом идти стало труднее. Привычки к долгой ходьбе у нас не было, да и дорога местами была сильно переметена сугробами. В придорожных деревнях нас встречал и провожал свирепый собачий лай и подозрительные взгляды из-за плетней. В середине дня мать решила сделать привал в каком-нибудь поселке, чтобы немного отдохнуть и перекусить. Для этого подходящим местом ей показалось крыльцо заколоченной деревенской лавки. Мы присели на верхней ступеньке и достали из дорожной торбы несколько вареных картофелин, пару луковиц и хлеб. Огурцов, так же как и квашеной капусты, заготовить на эту зиму не удалось из-за отсутствия соли. Я с аппетитом ел картошку с хлебом – после такой прогулки по морозцу любая еда покажется вкусной, когда мать произнесла встревоженно:

– Идут сюда какие-то...

С солидной неторопливостью к нам приближались два человека. Немолодой дядька и высокий парубок, похоже, его сын. Отложив в сторону еду, мать встала и поклонилась им. Не ответив на приветствие, дядька строго спросил, кто мы такие, откуда и куда идем? Снова поклонившись, мать ответила, что она вдова, мужа убили на германской, идет с сыном из Брезелихи в Л-н. Там у нее живёт сестра, которая замужем за сапожником-инвалидом. На той же войне ему ногу оторвало. Но по нынешним временам без ноги оно даже спокойнее. Да еще при таком ремесле, как сапожное. Живёт сестра, по слухам, хорошо. Так оно, наверное, и есть, потому что из четырёх детей в испанку у ней умерли двое. А вот у нее, бедной вдовы, все пятеро живы и пообносились до крайности – ни одеть, ни обуть нечего... Вот и решила попытать счастья, не отдаст ли богатая сапожничиха вдовой сестре что-нибудь из вещей ее покойных деток? Ведь не для кого-нибудь просить собирается, а для ее же родных племянников! Мал мала меньше, голодные все, босые и голые, вон в чем ходить приходится... И мать заплакала, по-видимому, и сама растроганная своей сложной полуложью-полуправдой. Вот этот у ней самый старшенький. Пытается матери помогать, даже провожать ее в такую даль увязался. Только какая от него еще помощь... Да и воспитан плохо. Известно, какое уж воспитание, когда отца нет... Засим последовал толчок в загривок:

– Да поклонись ты начальнику, невежа, что стоишь, как пень, рот раскрыл!

Рот у меня, кажется, и в самом деле был раскрыт. Но не столько от невежества, сколько от удивления актерскому таланту матери, которого я за ней прежде не замечал. Я деревянно поклонился мужику. А тот терпеливо слушал длинный монолог прохожей бабы, надуваясь начальственной важностью и наслаждаясь ролью человека, которого боятся и от этого ему кланяются. Выслушав еще и ее сетования на тяжелые времена – «И когда только всё это кончится, господи?» – дядька важно спросил:

– Посвидчення есть?

– Как же, как же, есть, – заторопилась мать, доставая из-за пазухи сложенный вчетверо лист плотной бумаги.

Это было свидетельство о моем рождении с большой церковной печатью и размашистой подписью иерея. В качестве удостоверения личности моя метрика была очень неплохой бумагой, так как в ней указывались не только дата рождения ребенка, но и имена и даже звания его родителей. Егор Путинцев и его жена принадлежали, конечно, к сословию крестьян. Главное же достоинство документа заключалось в его нейтральности. Мужики долго шевелили губами, читая метрику. Потом старший, видимо, удовлетворенный предъявленной ему бумагой, вернул ее матери. Главным тут, возможно, было даже не содержание и не достоверность документа, а сам ритуал его истребования, за исполнением которого из окошек ближних хат следила, наверное, не одна пара глаз.

– А какая власть там у вас, в Брезелихе? – спросил дядька уже без прежней начальственности в голосе.

Мать ответила, что толком этого не знает. Одни приходят, другие уходят, а она в таких делах не разбирается. Куда уж тут темной бабе! Хватает забот, как детей прокормить... Мать действовала по инструкции Остапа: если будут задавать вопросы с политической окраской, отвечать на них по возможности неопределенно, прикидываясь предельно серой и глупой. Крестьяне отошли, а мы, проглотив еще по картофелине, поспешили дальше. Пережитое только что волнение испортило даже наш аппетит. Основания для этого были. Люди, спрашивающие у нас документы, могли действовать и по собственной инициативе, как это, вероятно, и было, а могли быть представителями какой-нибудь самозванной власти, обладающей правом и возможностью засадить нас в кутузку.

К вечеру мы прошли большую половину пути до Л-на, но очень сильно устали. Настоятельно требовался ночлег и отдых. Наступали уже хмурые зимние сумерки, и тишина заснеженной равнины становилась пугающей. А что если никто в придорожных селах нас к себе не пустит? Люди сейчас подозрительны и недобры. Особенно те, что побогаче. Такие могут отказать и просто под предлогом, что вшей, мол, напустите! Остап советовал проситься только в самые бедные хаты. Вроде той, что стояла на отшибе небольшой деревеньки, не обнесённая даже плетнем, без единого деревца рядом и даже без собаки. В двух крохотных оконцах мазанки уже мерцал свет, ког-



да мать робко постучалась в одно из них. Кто-то отдернул занавеску и долго в нас всматривался. Потом женский голос тревожно спросил уже через дверь:

- Чего надо?

- Пустите переночевать, ради Бога, - ответила мать, - не дайте с дитем замерзнуть!

- Входите! - сказала хозяйка, совсем еще молодая женщина.

Мы вошли через крохотные темные сенцы в низенькую хатенку и усиленно закрестились на образок, еле видный в углу при свете каганца, стоящего на грубо сколоченном столе. Бедность собственная и большинства окружающих была главным фоном моего детства, но такого бедного жилища, как это, я еще не видел. На свежвыбеленных, но неровно обмазанных глиной стенах не было ни зеркальца, ни рушника, ни картинки. Добрую треть хаты занимала неуклюжая печь, напротив которой вдоль стены тянулась лавка. Рядом с печью примостились невысокие полаты, покрытые соломенным матом и застланные грубым рядном. Но даже в тусклом полумраке можно было заметить, что в хате очень чисто, а пол - глиняная «доливка» - не только тщательно подметен, но недавно подмазан глиной. На печи кто-то шевелился - оттуда блестели две пары любопытных детских глаз. Третий ребенок лежал в люльке, свисающей между столом и полатами.

Мы не заставили хозяйку дважды повторять свое приглашение раздеться и присесть на лавку - ноги у нас, по выражению матери, «гудели» и подкашивались. Хозяйка спросила, откуда мы и куда идем? И получила в ответ версию, уже рассказанную матерью в придорожном селе. Женщины недолго присматривались друг к другу и вскоре разговорились. Оказалось, что у двадцатитрехлетней хозяйки дома было уже четверо детей. Одного, правда, Бог прибрал еще в «огневицу» (так называли здесь испанку), а трое вот они, живы. Старшему почти четыре, а меньший еще титьку сосет... Мать осторожно спросила, жив ли муж нашей хозяйки. Та ответила, что вроде бы жив. По крайней мере, навещался к ней в последний раз месяца два назад... Так тянется уже давно, с тех пор как ее «чоловик» вернулся с Германской. Поживет дома немного и опять исчезнет. Перед самой войной отец его

«выделил» из общего хозяйства, и он женился. Но только начал с женой устраиваться на крохотном наделе, как мобилизовали на фронт. Старшенький родился уже без него. Года полтора мужа совсем не было, а потом муж дезертировал из царских окопов, и началось вот такое. По детям, что рождаются каждый год, она вроде бы мужняя жена, а по всему прочему – вдова-бобылка... Женщины невесело рассмеялись.

– Трудно тебе, молодка! – вздохнула мать, по привычке переходя с молодой женщиной на «ты».

– Ох, трудно, – согласилась та.

Каждую зиму думает, что до весны с детьми не дотянет. Потом женщина спохватилась – не хотим ли мы поесть? От ужина немного картошки осталось... Мать вежливо поблагодарила – спасибо, у нас с собой есть, вот нельзя ли только хозяйским столом воспользоваться? Получив разрешение, мы наскоро поели. Молодуха принесла со двора охапку соломы, пахнувшей морозом и снегом, и мы улеглись на ней, сняв только обувь. Я уснул мгновенно, а женщины некоторое время ещё разговаривали вполголоса. Разговор у них шёл, как водится, о трудностях жизни, которые неизвестно когда кончатся, и о проклятой гражданской войне. Но политическая принадлежность хозяина хаты не обсуждалась – говорить на эту тему с незнакомыми людьми в те времена считалось верхом бестактности.

Наутро мать с трудом растолкала меня, когда в оконце только чуть-чуть брезжил рассвет. Поблагодарив хозяйку, тоже уже вставшую и растапливавшую печь, мы снова отправились в путь. Однако прежней бодрости и уверенности в своих силах у меня сегодня не было. Отчаянно болели ноги, да и всё тело казалось разбитым. Но уже через полчаса ходьбы стало легче. Как и вчера, из подворотен придорожных дворов на нас лаяли собаки, а их хозяева провожали любопытными и не всегда доброжелательными взглядами. Сегодня мы устроили привал уже не в селении, а под придорожным крестом, стоявшем на небольшом бугре. Отсюда дорога полого спускалась вниз и была видна до леска, синеющего на горизонте. На ней, как и вчера, не было ни души. Разбросав ногами снег у основания креста, мы присели на понуро торчащие стебли прошлогодней травы и поели.

Мать укладывала остатки еды в мешок, а я силился разобрать изображение на почерневшей иконке, прибитой под ветхой тесовой кровелькой креста, когда заметил, что со стороны дальнего леска появился какой-то обоз. Мать испуганно перекрестилась. Не исключено, что навстречу нам двигалась воинская часть. Но кто они? Красные, белые или ещё какая-нибудь блуждающая банда? И скрыться от неё было некуда. Поэтому мать только переложила поближе мою метрику, и мы пошли навстречу неведомому обозу.

Однако по мере приближения к длинной веренице саней становилось ясно, что это не воинская часть. В дровнях и выездных санях сидели люди самого гражданского вида. Пожилые и совсем старые мужчины, женщины, окружённые целыми выводками детей, старухи. Подростки постарше, большей частью в гимназических шинелях, и женщины помоложе шли пешком рядом с санями, нагруженными узлами, сундуками и чемоданами. Скарб у большинства был явно небогатый, как и их одежда: мещанские поддёвки, чиновничьи шинели. На некоторых – поповские шубы и шапки. Были тут и люди, одетые в простые крестьянские кожухи. Некоторые несли мешки и узлы за спиной. Не было сомнения, что это жители Л-на, убегающие от красных.

Мать спросила у старухи, сидевшей в последних санях-дровнях, куда и зачем направляется столько народу? Та взглянула на неё с угрюмым удивлением: дура баба или насмехается над чужой бедой? Мать поспешила объяснить:

– Нездешние мы...

– И откуда ж ты, такая несведущая? – недоверчиво усмехнулась старуха.

Мать завела свой рассказ о сестре, которая живёт в Л-не, и о своих обносившихся детях.

– Добрые люди от большевиков тикают, а ты им навстречу прёшься, – зло оборвала её беженка.

Притворившись испуганной, мать перекрестилась:

– Так большевики уже в Л-не! Спаси и помилуй, царица небесная...

Старуха пробурчала, что нет ещё, в город эти окаянные пока не вошли. Но не сегодня, так завтра будут. «Не-

хай бы воны уси передохли!» Она смотрела на нас с явным сомнением и подозрительностью: с чего бы таким оборванцам, как эта прохожая баба со своим хлопчиком, так бояться большевиков? На этот раз мать явно переиграла.

Мы смотрели вслед обозу беженцев с чувством недомогения. Было похоже на правду, что большевики и в самом деле крайне жестокие, раз от них убегают, побросав всё своё добро, такие вот обыкновенные и мирные люди! Но у тех же большевиков служат Егор Путинцев, Остап Довгаль, комиссар Каллистрат Егорович и многие другие, которые, как мать помнила, зря и мухи не обидят! А может, покойный Степан Гаврилович прав? И всё дело в этой большевистской Чрезвычайке, которая наводит на всех мистический ужас при одном только приближении? Мать тяжело вздохнула. Трудно, ох, как трудно разобраться, какая из одинаково свирепствующих сторон права...

Была у нее для вздохов и ещё одна, более конкретная и очень серьёзная причина. Прикидывалась душой перед старухой-беженкой мать все-таки не зря – теперь мы знали, что красные части в Л-н еще не вошли. Значит, нет в нём комвзвода Путинцева. И как мы найдём ночлег в настороженном ничейном городе, в котором у нас нет никого из знакомых? Я возмутился: как нет? А семья Ботвинников? По правде говоря, надежда увидеться с Зямой была одной из причин, по которой я и напросился в этот нелёгкий поход. Мать не разделяла моего оптимизма – ну какие это знакомые! Она даже в лавку Ботвинника с тех пор, как началась война, не заходила ни разу. Но я возразил, что они являются моими добрыми знакомыми, и ни Абрам Самуилович, ни Рива Абрамовна в ночлеге нам не откажут.

– А где они живут, ты знаешь? – не без ехидства спросила мать.

Я приуныл, так как в самом деле не имел понятия, где они живут. В самом деле, как мы найдём своих бывших соседей в совершенно незнакомом городе, зная только их фамилию? Да ещё на ночь глядя! Но, подумав, мать нашла выход: надо отыскать в Л-не хоть одного еврея. Я не сразу понял, а что это даст? Оказывается – мать была в этом уверена, – все евреи знают друг друга. Я отнёсся к этому утверждению без особого доверия:

– А если их очень много?

– Всё равно, – ответила мать, – сколько бы евреев в одном городе ни собралось, все они друг друга знают. Уж такой это дружный народ...

Дорога шла сосновым лесом, которого никогда прежде я еще не видел. Всё было необычно и очень красиво – тёмная зелень хвои под толстыми шапками снега на кронах сосен. Было безветренно и тихо. День клонился к вечеру, а лес казался угрожающе молчаливым. Местами, где рос густо высеянный и сильно запущенный молодняк, он образовывал не очень высокую, но почти сплошную стену. По мере того как темнело, нам всё больше казалось, что из этой бело-зеленой чащи вот-вот выйдет кто-то недобрый. Но лес скоро кончился, и сразу же за ним, несмотря на сгущавшиеся сумерки, стали видны купола церквей и высокие фабричные трубы совсем уже близкого города. Я насчитал девять церквей и четыре трубы. Скорее всего, это было ещё не всё. Видно, правду говорил Зяма, что Л-н значительный и интересный город, не то что наш З-в! Сюда подведена даже железнодорожная ветка.

Но когда мы подошли к городку вплотную, оказалось, что его окраина почти ничем не отличается от окраин З-ва и даже нашей Брезелихи. Те же крытые соломой хаты, те же хлева во дворах. Садочки, за которыми высились конусы клунь, огороды, отделённые от улицы бесконечными плетнями. Благодаря этим огородам, бесконечной казалась и сама улица, по которой мы шли. Постепенно плетни сменялись заборами, а дома стояли уже теснее. Попадались среди них и весьма добротные, даже красивые, сложенные из кирпича и крытые железом. Потом мы прошли мимо красивой каменной церкви. Было очевидно, что улица ведет к городскому центру. Поэтому мы ни о чем пока не спрашивали у редких встречных. План был такой: нужно дойти до центра города и там спросить у кого-нибудь, где здесь проживает какая-нибудь еврейская семья. А разыскав такую семью, выяснить у них, где живут Ботвинники. Спрашивать о Ботвинниках прямо у прохожих на улице было бы глупо. В городке, должно быть, больше десятка тысяч жителей. Хотя и вопрос о том, где проживает какая-нибудь еврейская семья, со стороны тоже выглядел достаточно нелепо. Тем более что сами мы на евреев никак не были похожи.

Вечер, как и день, был пасмурный, и скоро стало совсем темно. Тёмными были и окна домов. Здесь тоже берегли горючее для коптилок. И вдруг я остолбенел от неожиданности. Почти все окна вдоль улицы ярко осветились, притом в одно мгновение все разом. Мать тоже осталась, и мы с ней вдвоём устали в окно какого-то дома поверх задёрнутой занавески, где под самим потолком в комнате сверкало что-то маленькое и яркое.

– Гляди, электричество! – сказала мать.

Но я и сам уже догадался, что это и есть то самое электричество, о котором слышал столько удивительного. Но, оказывается, оно может вспыхивать одновременно во всех домах! Дуговые фонари в Петербурге я видел либо потухшими, либо уже горящими, а обыкновенной электрической лампочки не видел никогда. Их не было даже в таких местах, как пивная или чайная на Малой Охте, не говоря уже о рабочих квартирах. В центральных же кварталах столицы в сумерки, когда зажигаются фонари, я ни разу не был. И я замер сейчас перед чьим-то окном на улице, готовый глазеть на горящую лампочку хоть до утра.

– Ладно, еще насмотришься, – легонько подтолкнула меня мать, – сейчас о ночлеге думать надо!

Я зашагал снова, но глядел уже не столько перед собой, сколько на окна домов, заигнотизированный светящимися в них таинственными пузырьками.

Вскоре мы дошли до площади с каменными торговыми рядами и собором, показавшимся мне в наступившей темноте необыкновенно высоким и громадным. Отсюда начиналась главная улица городка, освещённая редкими и тусклыми лампочками, подвешенными на столбах и над дверями закрытых магазинов. Эти двери и плотные железные шторы окон были заперты на заржавелые амбарные замки. Судя по толстому слою ржавчины, эти замки не снимались давным-давно. На длинных вывесках над дверями лавок тянулись выведенные здоровеными буквами непонятные слова.

– Что такое «ба-ка-лея»? – спросил я у матери, прочитав одну из вывесок.

Несмотря на усталость и озабоченность, на лице у матери промелькнула улыбка. Слово вызвало в ней добрые воспоминания. Оно означало, пояснила она, что здесь

продавались когда-то очень полезные и питательные продукты: мука, сахар, разные крупы...

- А гаст-ро-но-мия, что такое?

Оказалось, что это собирательное название всевозможных невероятно вкусных вещей. Таких как копчёная рыба, колбаса, ветчина и много всякой всячины. Что такое колбаса, я еще помнил. А вот слово «ветчина» требовало особых пояснений, давать которые было сейчас не время. Мы уже очень устали, а мать никак не решалась обратиться с нашим «дурацким» вопросом о евреях к кому-нибудь из редких хмурых прохожих.

- А что такое «аптека»? - прочел я надпись, сделанную ажурными золотыми буквами. - Это тоже лавка, чтобы вкусное продавать?

Мать встрепелулась:

- Где ты видишь аптеку?

Я показал на двухэтажный дом на углу с большим окном без переплетов. Окно не было освещено, но на нём отсутствовала железная штора, как на других магазинах. Над входом в аптеку тоже горела тусклая лампочка.

- Вот здесь мы и спросим, где Ботвинники живут, - сказала мать, направляясь к дому с большим окном.

Что аптекарь - это такой лавочник, который торгует в лавке чем-то со странным названием, я, конечно, догадался. Но почему он непременно должен знать, где живет нужная нам еврейская семья, было непонятно.

- Потому, что он тоже еврей, - отвечала мать.

- А откуда ты знаешь? - удивился я.

- Аптекари все евреи...

Это было второе утверждение об особенностях еврейской нации, которое я услышал от матери сегодня. Конечно, и оно требовало проверки, как и первое.

- А аптекари тоже вкусным торгуют?

- Каким там вкусным! Лекарствами они торгуют.

Я удивился, узнав, что лекарствами можно торговать. В Брезелихе микстуру от кашля, порошки и капли фельдшер всем выдавал бесплатно. Поэтому, давно уже зная, что такое «епитимия» или «гаубица», я только сейчас услышал слово «аптека».

Мы поднялись на две ступеньки каменного крыльца, и мать нажала на кнопку в центре деревянного кружка, укрепленного сбоку от солидной двери. За ней где-то в

глубине дома раздался перезвон, очень похожий на тот, который издавал наш будильник и телефон в брезелевской конторе.

- Что это? - с удивлением спросил я.

- Электрический звонок, - ответила мать.

Что-то общее с действием телефонного вызова в работе этого звонка явно было. Петрусь, выходило, не врал. Но меня поразило не столько еще одно свойство таинственного и вездесущего электричества, сколько то, что мать эти свойства знала. Пренебрежительное отношение к ее осведомленности придётся, судя по всему, пересматривать. Тем более если окажется, что её сведения об удивительных свойствах еврейского племени тоже верны...

За дверью раздались приближающиеся шаги, и недовольный мужской голос произнёс:

- Аптека закрыта, лекарств никаких нет!

- Мы не за лекарствами, откройте, пожалуйста, на минутку! - просительным голосом произнесла мать.

Дверь открылась. На пороге стоял человек, сердито и вопросительно смотревший на нас сквозь пенсне, такое же, какое носил младший пан Брезель. Наверное, это и был аптекарь. Было в его лице что-то напоминающее Абрама Самуиловича, хотя похож на него он не был. Еврей! - мелькнула догадка в моей голове. Конечно же, у людей одной нации должны быть общие черты. Но самым большим открытием для меня было, что мать оказалась права: все аптекари - евреи. Теперь я уже не сомневался, что в качестве их соплеменника владелец аптеки знает и где живут Ботвинники, и как к ним пройти. Так оно и оказалось. Когда мать, низко поклонившись, как она это делала, когда хотела подчеркнуть своё зависимое положение, спросила, не знает ли господин аптекарь, где живёт Абрам Самуилович Ботвинник, тот сначала громко ответил, что господ сейчас нет! Но потом, уже тише, спросил, зачем нам понадобился Абрам Самуилович. Выходит, он его знает...

Аптекарь поглядывал на нас подозрительно - уж очень мы смахивали на нищих.

Мать объяснила, что бывший владелец мануфактурной лавки в дальнем селе - наш давний знакомый. Но пришла она в город с сыном не к нему, а чтобы повидаться со своим мужем - красным командиром. А так как ча-



сти Красной армии в город еще не вошли, то перед нами возникла проблема ночлега.

Презрительное высокомерие аптекаря мгновенно сменилось на суетливую предупредительность:

– О... Почему же вы сразу этого не сказали? – Он отступил внутрь помещения и пригласил нас войти. – Садитесь, пожалуйста, вот сюда! Только света позвольте не зажигать, аптека действительно закрыта. Нет даже йода и английской соли. Такие времена...

Гладкий жёсткий диванчик, на который мы с матерью присели, показался мне мягче пуха. Несмотря на обилие сильных впечатлений и острый интерес к окружающему, я ощущал тяжёлую усталость, которая ещё сильнее наваливается, когда садишься. В аптеке остро чем-то пахло – я никак не мог разобраться: приятно или неприятно. При слабом свете с улицы таинственно мерцали застеклённые шкафы со множеством каких-то склянок. Между стёклами большого окна виднелись два огромных шара, наполненных прозрачными разноцветными жидкостями. Видно, хозяин аптеки врал, что лекарств у него нет.

– Значит, вы хотите узнать, где живёт Ботвинник? Он живёт в собственном доме, недалеко отсюда. Абрам Самуилович купил этот дом полгода назад у одного местного коммерсанта. Теперь, знаете, недвижимость можно дёшево приобрести, если есть вот это...

Аптекарь сделал большим и указательным пальцем маленький кружок. Не зря, видимо, в нашем селе толковали о золоте выехавшего еврея. Жест аптекаря подтверждал эти слухи. Затем он снова обратился к матери с вопросом:

– А позвольте спросить, если это не секрет, какой красноармейской частью командует ваш муж?

Мать, которой крестьянской хитрости было не занимать, ответила, что в этих делах она не разбирается, знает только, что Егор Иванович у красных какой-то командир.

– Так-так, Егор Иванович... А как его фамилия, если не секрет?

Мать ответила.

– Так-так. А моя – Шкеер Натан Яковлевич. Посидите, пожалуйста, а я пойду оденусь и провожу вас немного. Город вам незнаком, насколько я понимаю...

Мать запротестовала. Не нужно беспокоиться! Пусть только Натан Яковлевич объяснит нам, как пройти... Но он уже вышел во внутренние комнаты через дверь за шкафом в задней стене аптеки.

– Красных боится, – шепнула мне мать. – На всякий случай знакомого большевистского начальника иметь хочет...

Я и сам это понимал – ведь аптекарь-то буржуй, да ещё и хитрый. В начале разговора с нами Шкеер был совсем не так любезен. Через минуту он вышел к нам уже в пальто и шапке.

– Хорошо у вас в городе, – вздохнула мать, когда мы втроем завернули за угол аптеки и пошли по улице, спускающейся куда-то вниз, – электричество светит...

Натан Яковлевич сказал, что светит оно только вторую ночь. А до этого целую неделю после того, как ушли белые, было темно. Электрическое освещение – результат усилий красного ревкома, осуществляющего сейчас власть в городе. Ревкомовцы заставили работников электростанции приступить к работе: одних в порядке революционной сознательности, других – под угрозой поставить к стенке за контрреволюционный саботаж. В городе военное положение. Ходить можно только до девяти часов вечера. Тех, кто запоздает, ночные патрули отводят в ревкомовский штаб. Этот штаб постоянно настороже. В окрестностях немало банд, не то махновских, не то петлюровских. Их вторжение в город можно ожидать каждую ночь...

Улица спускалась к речке. Перед самым мостом из окон приземистого кирпичного здания на заснеженную бульжную мостовую падали яркие лучи света. Оттуда доносился ритмический шум работающих машин, и моё опытное ухо бывшего кочегара уловило пыхтение паровых локомотивов. Оказывается, это и есть городская электростанция. Неожиданно очутившись так близко от фабрики таинственного электричества, я сразу забыл даже об усталости, пробежал немного вперёд и прильнул к одному из высоких окон с частыми переплётами. За их мутными стёклами, сверкая медными и стальными частями, работали два больших паровика. Они стояли не на колёсах, как брезелевские локомотивы на току, а были до половины замурованы в кирпичную кладку. Парови-

ки были очень большие и имели не по одному, как брезелевские, а по два огромных маховика. Приводные ремни маховиков, шумно хлопая, уходили через прорези в стене в другое помещение. В топках величественных машин горела не солома, как в локомотивах на току у Брезелей, а дрова, которые подбрасывали в них из большой поленицы двое дядек в пропотевших засаленных рубахах. Зрелище было великолепное.

Но я был разочарован, так как знал точно, что машины сами по себе вырабатывать электричество не могут. Очевидно, его источник находится за стеной с прорезями. Это подтвердил и аптекарь, подошедший ко мне вместе с матерью. Они смотрели в окно со скучным любопытством взрослых людей. Электричество вырабатывают, разъяснил наш проводник, динамо-машины, которые для этого необходимо крутить, а затем оно по проводам растекается по городу. Действительно, из здания электростанции выходили провода, в точности похожие на телефонные. Эти провода тянулись в несколько рядов к столбу с железной перекладиной, на которой торчали белые фарфоровые шишки, и от них переходили к столбам на улице.

Я тут же попытался объяснить световой эффект электричества. Допустим, что оно – раскалённая светящаяся жидкость, а провода – это узкие металлические трубки. Тогда таинственные динамо-машины за стеной могут оказаться чем-то вроде насосов, которые прокачивают эту жидкость по проводам-трубкам через стеклянные пузырьки многочисленных лампочек. Но тогда при этом должны были бы нагреваться и сами провода. Однако сколько я ни всматривался в них, никакого их свечения, даже на фоне тёмного неба с уходящей в него ещё более тёмной кирпичной трубой электростанции заметить не мог. А может быть, электричество – это светящаяся, но не горячая жидкость, вроде жидкой гнилушки? Вероятно, аптекарь знает правильный ответ, но спросить его я не решился. А Шкеер, проводив нас через мост, за которым никакого уличного освещения уже не было, сказал, что теперь нам нужно двигаться прямо до конца улицы, по которой мы идём. Она упрётся в другую, очень длинную, со странным названием Кабыще. Свернуть следует вправо и идти по этой Кабыще до большого пустыря, за

забором которого возвышается одинокая груша. А напротив, на другой стороне улицы стоит дом Ботвинника. Аптекарь подробно его описал, попрощался с матерью за руку и, предварительно спросив, как ее имя-отчество, повернул обратно.

Найти нужный нам дом, даже в сумерках зимнего вечера, оказалось нетрудно. Он был кирпичный, довольно большой, не слишком красивый, с маленькими, расположенными непропорционально высоко над землей окнами без ставней. Два окна светились за довольно плотными, полностью закрывающими их занавесками. К дому примыкал не длинный, но высокий и глухой забор с воротами под тесовым навесом. Мы перешли улицу, и я уже хотел постучать в запертую калитку, но мать остановила:

- Подожди, дай с духом собраться...

Её очень смущала необходимость просить гостеприимства у малознакомых людей, да ещё у иноверцев. Возможно, поэтому она и старалась направить свои мысли в какое-нибудь другое русло:

- Гляди, недаром у нас говорили, что у еврея золотишко водится, вон какой домище себе отхватил...

Но меня больше интересовало электричество, мысли о котором не вылезали из моей головы. От столба на улице к углу дома Ботвинника тянулись два темных провода. Интересно знать, горячие они или холодные. А что, если провода потрогать?

- Не дай Бог, - ответила мать, - сразу же убьёт!

- Чем убьёт? - удивился я.

Оказывается, всё тем же электричеством. Оно обладает еще и удивительным свойством как-то бить и даже убивать. Однажды, когда новенькая горничная в доме Брезелей в Петербурге залезла рукой в какой-то «патрон», её так «дёрнуло», что потом водой отливали. Это было непостижимо и для меня неправдоподобно. Если бы не недавние доказательства осведомлённости матери во всяких городских чудесах, я бы, пожалуй, усомнился в достоверности ее рассказа. Чем все-таки может убить какое-то невещественное электричество? Мать этого не знала. Но что оно может «трахнуть» человека до полусмерти, а то и до смерти, была уверена. Поистине это было таинственное и удивительное явление, интерес к которому у меня

всё возрастал. Однако надо было думать и о насущных делах, не стоять же нам под чужими воротами до утра!

- Ну что ж, стучи, - вздохнула мать, и я погромел щекоткой калитки.

Свет в доме сейчас же погас. Очевидно, хозяева смотрели из окон на улицу, чтобы определить, кто это пожаловал к ним с таким поздним визитом. Мы отошли от дома на некоторое расстояние и стали рядом, чтобы было видно, что это только женщина с мальчишкой, а не отряд вооружённых людей. Через минуту на высокое крыльцо во дворе кто-то вышел, и несколько встревоженный голос Абрама Самуиловича спросил, кто мы и что нам надо? Услышав мой ответ, хозяин дома, вероятно, подумал, что ослышался, и, подойдя к калитке, потребовал ответ повторить. Только после этого отодвинул тяжёлый засов. На лице старого еврея в накинутаой на плечи шубе и в ермолке на голове застыло выражение удивления и недоумения. Другое дело - Зяма. Скатившийся с крыльца вслед за отцом, он был по-настоящему обрадован моему неожиданному появлению. В доме нас обступила вся семья, которая была в полном сборе и, по-видимому, в полном здравии.

- Ты тоже всю дорогу шёл пешком? - удивился Зяма, помогая мне распутать на шее мамин платок.

На мой утвердительный ответ даже Соломон покрутил кудлатой головой:

- Ахицин паровоз!

Рива Абрамовна смотрела на нас с горестным чувством, сложив красные руки на толстом животе. А Абрам Самуилович задумчиво поглаживал бороду, в которой ещё более явственно пробивалась седина. Встречали нас, как я и ожидал, вполне гостеприимно. И всё-таки во взглядах хозяев чувствовалась настороженность и затаённый вопрос: мол, что, собственно, нужно этим неожиданным визитёрам? Такой вопрос всегда тревожит богатых хозяев при появлении в их доме бедных родственников. В родственниках у Ботвинников мы, правда, не состояли, но бедняками были несомненно. А нынешние трудные времена могут вынудить попрошайничать даже очень скромных и застенчивых людей. Мать сильно стеснялась и долго отказывалась присесть на мягкий диван в

большой комнате, ярко освещённой «тридцатидвухсвечовой», как сказал мне Зяма, электрической лампой.

- Спасибо, я вот на этой табуретке посижу...

Понять ее смущение было нетрудно. Обстановка дома показалась нам очень богатой. Куда богаче, чем в наследственной хате Ботвинников в Брезелихе.

Вопросительные переглядывания хозяев мать поняла правильно. И поспешила рассеять их сомнения и опасения, объяснив, что приплелась с Димкой в город на свидание с Егором Ивановичем. Он вот-вот должен появиться здесь со своей красной воинской частью. Она не преминула также упомянуть, что Путинцев не рядовой боец, а какой-то командир.

После объяснения матери о цели нашего визита в Л-н мы из «бедных родственников» сразу же превратились чуть ли не в именитых гостей. Это чувствовалось по усердию, с каким для нас собирали на стол богатый ужин, хотя сами хозяева уже отужинали, а также готовили места для нашего ночлега. Ведь с большевистской точки зрения, они тоже были отнюдь не трудовой, а буржуйской семьёй. А для такой семьи хоть немного обязанный ей красный командир, пусть даже не очень высокого чина, мог быть весьма полезен при установлении в городе новых порядков. Было известно, что большевики смотрят на всяких лавочников, коммерсантов и даже просто состоятельных людей весьма косо. Делать добрые дела, говаривал Абрам Самуилович, человек обязан. Но это не значит, что он должен отказываться от добрых результатов этих дел. Так было при моём определении на должность «шабас голя» в их сельском доме, так было, скорее всего, и сейчас. И только Зяма не имел никаких задних мыслей - был неподдельно рад моему приходу.

Семья бывшего лавочника на новом месте жила совсем неплохо, особенно по понятиям и меркам того времени. Как рассказала нам его хозяйка, при доме Ботвинников находится обширный огород и небольшой фруктовый сад. Они держат кур, а Зяма и Соломон занимаются еще и разведением кроликов. Домашнее кролиководство тогда только входило в моду, но оказалось очень неплохим подспорьем в почти натуральном хозяйстве жителей мелких городов. За ужином, когда мы с матерью отчаянно боролись с желанием сразу же жадно

наброситься на еду, Абрам Самуилович рассказал, что при белых он не чуждался небольшой коммерции, хотя красные почему-то это называют неприятным словом «спекуляция». Однажды он организовал обоз дров отсюда в соседний безлесный уезд. В обмен на эти дрова город получил зерно и мясо. Населению от такого бартера только польза. А вот для самого коммерсанта всегда немалый риск, притом не слишком оправданный. Банды всех цветов радуги, которые шныряли и шныряют по уезду, могут в одночасье сделать из этого коммерсанта нищего. Но «либо сена клок, либо вилы в бок», как говорится.

Хозяева, конечно, расспрашивали нас о Брезелихе и подробностях погрома в их доме, о котором знали только то, что он был. Рива Абрамовна заплакала, когда я рассказал, как петлюровцы рубили шашками еврейские картины и старенькую мебель:

- Господи, да кому же мы там что плохого сделали?

- Не плакать, Рива, а радоваться надо, - назидательно заметил Абрам Самуилович. - Не выехали бы мы из своего села тогда, не было бы нас сейчас, как нет уже Лейбензонов из Гавриловки...

В соседней с Брезелихой Гавриловке антисемиты вырезали всю семью потомственного, как и Ботвинник, еврея-лавочника.

- И за что это люди на нас такие злые, Абрам?

- Так уж повелось, Рива... - Ботвинник грустно покачал седеющей головой в ермолке. - Не при нас началось, не при нас кончится...

Я рассказал, как один весьма порядочный крестьянин, позже других поддавшийся искушению чем-нибудь поживиться в покинутом еврейском доме, вынес из него только старые конторские счета.

- Нужны ему эти счета, как попу гармонь! - брякнул Соломон.

Отец строго взглянул на него:

- Ох уж этот Соломон с его языком! - И отчитал сына за непочтительную присказку о христианском священнослужителе.

Мать рассмеялась:

- Это вы его за попа так-то? Да у нас про попов еще и не такое говорят...

– Это ваше дело, – нахмурился Абрам Самуилович, – а ему нельзя, он другой веры!

Для меня такое отношение к чужой вере было новостью. Обычно я видел, как ко всему, что составляет чужие верования и убеждения, люди относятся грубо и непочтительно.

Взрослые после ужина продолжали беседовать, а мы с Зямой смогли уединиться в другой комнате, их тут было целых четыре, не считая кухни, и, наконец, спокойно поговорить. Зяма рассказал, как они ехали сюда, как боялись бандитов, как жили на квартире, пока отец не купил этот дом. Это было обыкновенно и не слишком интересно. Потом я попросил Зяму показать мне всё, что относится к электрическому освещению. Он сделал это охотно, но не без некоторого чувства превосходства горожанина над сельским жителем. Вот лампочка, она вовсе не горячая, как я думал, а только теплая и ее можно, взгромоздившись на стул, даже потрогать руками. Едва теплым оказался и шнур, на котором она свисала с потолка. Зяма позволил мне раза два повернуть выключатель на стене. Это было поразительно – поворот, и лампочка гаснет. Еще поворот, и она загорается снова. Я был готов щелкать так хоть до утра, но Зяма не позволил – лампочки, оказывается, от этого портятся. Стекланный цилиндрок с острым носиком внизу светился не всем своим объемом, как мне показалось с улицы, а только зигзагообразной натянутой в нем нитью. Такие лампочки, сказал Зяма, называются «экономическими», так как потребляют электричества относительно мало. А вот в передней у них висит куда менее экономичная «угольная» лампа. Называется она так потому, что запаянная в ее грушевидный баллон спиралеобразная нить сделана из угля. Я изумился: как это из угля, он же хрупкий.

– Да не из самоварного, – сказал Зяма, – а из каменного...

О каменном угле я читал в «Божьем мире». И даже видел его, когда ехал по железной дороге. Но по малолетству и глупости не обратил тогда на него внимания. Понятие «каменный» наводило на мысль, что горючий минерал хрупок. Как же тогда удастся сделать из него такую тоненькую и гладкую, да еще закрученную красивой спиралью нить? Зяма и его старший брат объяснить этого не



могли, как и причины, почему шнур, по которому течет электричество, остается холодным. Ведь само-то оно, по-видимому, очень горячее! Особенно непростительно было такое неведение для Соломона, который, как оказалось, бывал на местной электростанции. И даже в том ее отделении, где работают чудодейственные динамо-машины. Я поинтересовался: из чего эти машины вырабатывают электричество и какие они с виду? Соломон ответил, что динамо-машины немного напоминают лежащие на боку чугунные бочонки, но, чтобы в эти бочонки поступал какой-нибудь сырой материал, он не заметил. Вот разве олеонафт из маслёнок... Так это – как деготь в тележное колесо, чтобы машины крутились лучше. Я был очень недоволен объяснением Соломона. Суметь проникнуть на электростанцию на возу с дровами и не суметь дознаться, как она работает! У людей бы спросил, раз сам такой бестолковый... Самолюбивый Соломон обиделся. Ему, мол, просто неинтересно знать, из чего получается какое-то там электричество! Поэтому и не спросил... А вот знаю ли я, куда земля девается, когда в неё палка втыкается? Не знаю. То-то и есть! «А зох ин вей...» Осаживать любопытствующего при помощи подобных контрвопросов было излюбленным приемом Соломона, особенно когда он сам не знал ответов на заданные вопросы.

– Видно, Марфа Андреевна, ваш сын большим ученым будет, – сказал Абрам Самуилович, прислушивавшийся к нашему разговору, – уж очень он всем интересуется...

Та только вздохнула и махнула рукой. Где уж тут об учености думать! Вот даже приходской школы Димка не кончил. Распалась эта школа, когда ее сын только до четвертого класса добрался. Ботвинник огорченно покачал головой. Да, с образованием детей теперь очень трудно, большинство ребят недорослями растут. Больной это вопрос и в его семье. Зямка, правда, учится в одной из ещё действующих начальных школ. К весне, может быть, как-нибудь ее закончит. Но вот что делать с продолжением образования своих сыновей, Абрам Самуилович ума не мог приложить. Соломон до последнего времени брал уроки на дому у одного из учителей здешней гимназии, проходил курс за пятый класс. Так тот убежал с белыми. Большевиков испугался, как и большинство его коллег по

обеим гимназиям, мужской и женской. Да и большинство гимназистов и гимназисток тоже уехали вместе с родителями. Так что гимназии сейчас закрыты – и учить, и учиться некому.

– Видели мы сегодня, как люди из вашего города бегут, – вздохнула мать. – И похоже, что вовсе небогатые. А зачем? Ведь большевики, вроде, только помещиков да больших богатеев бьют...

Абрам Самуилович задумчиво поглаживал бороду. Похоже, дело тут не только в богатстве. По-настоящему богатые люди или давно сбежали, или, если они не успели своевременно уехать, почти все убиты. Сейчас бегут главным образом те, кто якшался с белыми, помогал им или слишком уж явно сочувствовал. Купцы, чиновники, многие учителя гимназии были уверены, что большевики уже никогда не вернуться. Вот и усердствовали перед белыми, подчас даже не очень искренне. Один – в честь их воинства с церковного амвона проповедь произнес, другой – на торжественном банкете за это воинство тост провозгласил, третий – сына на добровольное вступление в Белую армию благословил. А у кого-то дочка с белым офицером под ручку гуляла. Красные же, говорят, теперь стали особенно свирепы и не слишком-то разбираются, кто белым скрывающихся партизан выдавал, а кто с ними только здоровался слишком вежливо. Среди мелкого чиновничества есть такие, которые боятся, что большевики заставят их на себя работать. Марки там на почте продавать или бумажные миллионы в казначействе пересчитывать. В подобных случаях контрразведчики, если они опять вернуться, а многие в этом не сомневаются, могут обвинить какого-нибудь несчастного клерка, что тот продался большевикам, такое уже бывало, да и расстрелять. Вот и бегут растерявшиеся, запуганные люди неизвестно куда...

Мать спросила, а какая обстановка в здешних селах? Похоже, что тише, чем у нас. Пройдя полсотни верст, мы не встретили ни одного вооруженного человека. Хозяин ответил, что до последнего времени в Л-ском уезде было действительно спокойнее, чем в уездах соседней Полтавщины. Меньше поджогов, погромов и кровавой резни. Вероятно, потому, что здесь не очень поддерживали самостийницкое движение. Села беднее. Многие крестьяне

занимаются ремеслами, вроде гончарного или плотницкого, народ подвижнее и грамотнее. Но Абрам Самуилович опасался, что это только до поры до времени. Есть местности, в которых очень сильны анархистские настроения. Некоторые села так и не признали власти белых – у них чуть не в каждой хате винтовка, есть даже пулеметы. Тем более не признают они красных. Ходят слухи, что большевики, страшно изголодавшись и дорвавшись теперь до хлебных районов, буквально грабят мужиков, выгребая все запасы. Среди крестьян идет глухое брожение. Одни приготовились встречать красных хлебом-солью, другие – ружейными залпами. Вот и сейчас крупная банда вооруженных крестьянских анархистов заняла промежуточную станцию на железнодорожной ветке, идущей в Л-н от магистрали Харьков – Киев. В банде, говорят, около тысячи человек. Командует ею некий Кучеров, знаменитый здесь «батя» махновского толка. Из-за этого-то Кучерова красные и задерживаются. Бандиты разрушили железнодорожные пути, и войскам большевиков придется двигаться на Л-н пешим строем.

Мать испуганно схватилась за сердце – неужели бой за город будет? Абрам Самуилович считал, что этого не произойдет. Партизаны всех толков, в том числе и анархистского, редко вступают в открытый бой с регулярными частями. У них нет артиллерии и достаточного воинского умения. И потом, это ведь почти сплошь местные мужики. У каждого тут рядом своя хата, жинка, дети, за которых они, конечно, боятся...

– Что-то заговорились мы! – Хозяин взглянул на настенные часы, пробившие уже половину двенадцатого. – Давайте спать укладываться, а то в двенадцать часов электростанция остановится. Да и Димка, вон, едва на ногах держится...

Я действительно еле сидел, несмотря на интересные разговоры и обилие новых впечатлений. Постели приготовили нам наскоро, но по-царски мягкие. Матери – на диване, мне – на сдвинутых стульях, на которые положили свёрнутую вдвое перину. И только я улёгся в эту роскошную постель, как нить невыключенной лампочки под потолком начала тускнеть. Через несколько секунд она сделалась красной и уже почти не давала света. Потом и сама сделалась едва видной, разбившись на вер-

тикальные чёточки с заострёнными концами, как бы повисшими в наступившей темноте. Я знал теперь, что это оттого, что на электростанции постепенно останавливаются машины, накачивающие в провода таинственную электрическую жидкость. Соломон сказал, что пока никто еще не знает, что это такое, но будто бы ему так объяснил его учитель. Скорее всего, Соломон врет, чтобы оправдать своё нелюбопытство и безразличие к интересному явлению – сущности электричества. Но я-то уж обязательно постараюсь всё выяснить, хотя в городе мы пробудем недолго. Вишнево-красные черточки под толком потухли, и я уснул. Но и во сне я видел какие-то насосы, вроде того, который стоял в пожарном сарае брезелевской Экономии. Только приводили их в движение не руками, а при помощи паровых локомотивов. И нагнетали эти насосы не воду в пожарную кишку, а в провода-трубки добела раскаленную жидкость. Эти трубки не нагревались и не прогорали, даже если были сплетены из обыкновенных ниток. Во сне чудеса переплетались с реальностью.

Проснулся я поздно и на том самом боку, на котором заснул. Мне не сразу удалось вспомнить, где я и как сюда попал. Часы на стене показывали почти десять. Судя по всему, мне как малолетнему и до крайности уставшему мальчишке дали поспать подольше. Постель с дивана, на котором спала мать, была уже убрана. Из кухни доносились тихие голоса, там негромко беседовали женщины. Но я был не слишком доволен проявлением такой заботы о себе, так как терял часы, столь нужные мне для обследования города с его электрическими чудесами. Торопливо и не без труда я натянул штаны – ноги при сгибании сильно болели в икрах – и выглянул на кухню.

– А вот и Дима проснулся! – сказала хозяйка своим низким голосом и таким тоном, что можно было подумать, будто она этим крайне недовольна. Но такое впечатление было обманчивым. Рива Абрамовна была гостеприимной и доброй хозяйкой. – Умывайся и садись завтракать!

Умывальник у Ботвинников был роскошный, как и вся остальная обстановка дома, которая досталась им от прежних хозяев. На полочке-мыльнице, вправленной в мраморную доску сбоку овального зеркала, лежал кусок

душистого мыла, о существовании которого все теперь и думать позабыли. Мы в Брезелихе умывались глиной, размоченной в щелоке, полученном из печной золы. Поэтому я вместо умывания с наслаждением вдыхал запах мыла и пытался прочесть выпуклые буквы, почти уже стертые с бледно-зеленого овала. В дверь из передней на кухню просунулась растрепанная голова Зямы, давно уже ожидавшего меня во дворе и делавшего мне какие-то знаки, и я заторопился. Но на Зямину жестикуляцию и мою поспешность обратили внимание наши матери.

– Я же сказала, что пока отец из города не вернется, ты никуда не пойдешь! – прикрикнула на Зяму его мать.

А моя ее поддержала:

– Конечно! Чего в городе делать? Вон двор и сад тут какие! Гуляй сколько хочешь!

Я так расстроился, что начал вытираться, ещё не смыв с лица всё мыло. И тут же получил замечание:

– Не срамись хоть перед людьми! Вон за ухом какой клок пены оставил...

Досаду и опасение, что сегодня захватывающе интересный поход в незнакомый город может вообще сорваться, смог смягчить только превосходный вчерашний суп. Из разговора женщин я узнал, что ночью в городе слышались крики и пальба. Может, в Л-н ворвалась какая-нибудь банда, а может, вошли красные. Абрам Самуилович и его старший сын отправились с утра разузнать об этом, и вот уже чуть не два часа, как их нет. Рива Абрамовна страшно беспокоилась. Мужчины такие растяпы и ротозеи, а город могли занять те же кучеровцы или еще какие-нибудь бандюги в этом роде. Встревоженное воображение подсказывало женщине страшные картины: свирепые конники с шашками наголо вылетают из какой-нибудь улочки, и их сабли сверкают над головами двух глупых «жидов», фамилии и род занятий которых махновцев даже не интересуют. Когда Рива Абрамовна волновалась, то специфическое для местечкового еврейского выговора затягивание слов сказывалось у неё особенно отчетливо. Хозяйка жаловалась поддакивающей ей матери на осточертевшую всем чехарду властей, когда нельзя разобрать, которая из них хуже. Одной ты плох, потому что ты еврей, другой это безразлично, но она объявляет тебя буржум за то, что ты не ходишь за плугом, не лупишь

молотом по железу и хоть ненамного, да богаче церковной крысы! Если говорить правду, то спокойнее всего евреям жилось при белых. Эти хоть и презирают «лиц иудейского вероисповедания», а иной подвыпивший казак может даже крикнуть что-нибудь вроде: «Бей жидов, спасай Россию!» – но тех, кто не вмешивается в политику, они не трогают. Красные же сами втягивают в эту чертову политику всех подряд. Но опаснее всех для евреев, конечно, петлюровцы и махновцы...

– И куда только запропастились эти два дурака, старый и молодой?

Зяму, чтобы не мельтешил перед глазами, Рива Абрамовна выгнала во двор, категорически запретив выходить за ворота. В пальто и шапке он угрюмо сидел на крыльце дома. Одевшись, я тоже вышел на крыльцо и подсел к товарищу. Настроение у меня было отвратительное. Как и Зяма, я не разделял опасений Ривы Абрамовны – ведь женщины великие мастерицы по части нагромождения всяких страхов. Моя мать была тому ярким примером. Но если власть в городе действительно переменялась, и притом не на большевистскую, то на улицу нас не пустят вне всякого сомнения. Другое дело, если ночью ничего особенного не произошло. В таком случае Зяма очень надеялся, что отец отменит материнский запрет. В отличие от своей жены, Ботвинник не был склонен преувеличивать опасности.

Наши разведчики, наконец, вернулись целыми и невредимыми. Оказалось, что в городе всё пока по-прежнему. Есть сведения, что кучеровцы ушли с соседней станции неизвестно куда. Кое-кто в городе побаивается, что анархисты вздумают дать бой большевикам под самым Л-ном. Но Абрам Самуилович считал такие опасения чепухой. На кой черт мужикам город, который они всё равно удержать не смогут! А ночная пальба произошла по пустякам. Какой-то человек много позже наступления комендантского часа пытался скрыться от ревкомовского патруля. Его задержали. Оказалось, что это местный сердеед, пробиравшийся задворками от чужой жены...

Мать, внимательно слушавшая рассказ Абрама Самуиловича, спросила:

– А что слышно о красных?

Он ответил, что сегодня они вряд ли войдут в город, но уже завтра очень даже возможно. Если, конечно, не произойдет что-нибудь непредвиденное...

- А нам с Димой можно по городу походить? - спросил Зяма у отца.

Как Зяма и ожидал, тот не видел для этого особых препятствий:

- Только на станцию не ходите и по задворкам не шляйтесь!

Рива Абрамовна недовольно ворчала. То сам чуть не три часа бродил неизвестно где, выматывал жене душу, то детей теперь отпускает...

- Рива! - повысил голос Абрам Самуилович.

Она сердито загремела посудой, а мы с Зямой кубарем скатились с крыльца и пулей вылетели на улицу.

Вчера в сумерках зимнего вечера городок выглядел гораздо интереснее, чем днём. Сейчас же трудно было отделаться от впечатления, что Л-н тоже всего лишь большое село. Сколько-нибудь городской вид имела только центральная часть уездного центра. Но даже на главной его улице, Сумской, двухэтажных домов было мало. И только на этой улице, да еще соседней, Ахтырской, не было хат под соломенными крышами. Высокие трубы, напоминавшие мне издалека смутные впечатления детства на петербургской окраине, принадлежали электростанции, большой паровой мельнице и двум полукустарным кирпичным заводам за городом.

А вот церквями Л-н был действительно богат. Собор на его базарной площади выглядел внушительно и днем. Построенный в стиле украинского барокко XVII-XVIII веков, он отличался отсутствием характерного для русских соборных церквей округлого купола. Вместо него на здании храма высились в ряд три высоких шестигранных барабана, средний из которых был увенчан еще одним таким же барабаном, только поменьше. Нельзя сказать, что здание было красиво, но его сложный интерьер с тремя ярусами узких окон наверху производил очень сильное впечатление. Днём собор был закрыт, как и все православные церкви, и мы с Зямой осмотрели снаружи только три-четыре из них. В том числе и одну маленькую деревянную, от старости как бы вросшую в землю. Судя

по ее ржавым запорам, церковка не функционировала уже давным-давно. Ее замшелые, обшитые тесом стены стояли не вертикально, а слегка наклонно, напоминая шатер. На ещё более замшелой, тоже тесовой крыше не было ни главок с крестами, ни звонницы. И только над входом в церквушку конек крыши венчал крест, потемневший от старости.

Зяма рассказал, что согласно местному преданию, в этой церкви, возвращаясь домой после Полтавской победы, царь Петр Великий служил благодарственный молебен. Верно это предание или нет, я так и не узнал. Но старая церковь была действительно построена в допетровские времена. Сам же город возник из казацкой слободы начала XVII века. Тут стоял один из знаменитых полков Батьки Богдана. Церкви той поры были построены по типу запорожских куреней с крытыми соломой наклонными стенами. Этот-то архитектурный мотив и хранила древняя церквушка. Никто здесь не мог ответить толком, в какой мере предания, бытующие в старинном городке, являются романтическим вымыслом, а в какой они соответствуют исторической действительности. С воспоминаниями о Петре Первом было связано даже название улицы, на которой стоял дом Ботвинников, – Кабыща. Это название якобы произошло от восклицания царя, когда он в жаркий день, опорожнив ковш кваса, который поднесла ему красивая молодлица на окраине селения: «Добрый квас! Кабы ще»...

Проходя мимо здания городской электростанции, днем молчаливой и невзрачной с виду, мы заглянули в грязные окна. Сквозь мутные стекла едва можно было разглядеть неработающие сейчас локомобили. Мне очень хотелось хотя бы краем глаза заглянуть в заднее отделение, где стояли вызывающие мой жгучий интерес таинственные динамо-машины. Но окна этого помещения выходили во двор, в который, как гласила надпись на ржавом железном листе: «Посторонним лицам вход воспрещается». Эта надпись, несомненно, касалась именно нас, и мы войти во двор не решились – я в чужом городе еще не освоился, а Зяма вообще был довольно робким парнем. За что старший брат, малый весьма развязный, а подчас даже нахальный, называл его «мишигенэ» и «размазней».



Мне стоило немалого труда уговорить Зяму нарушить родительский запрет и заглянуть на железнодорожную станцию. Маленький вокзал был сейчас совершенно безлюден. Не было ни души и на дощатом перроне. В отдалении, на запасном пути чернел маленький паровоз, и несколько полуразбитых вагонов стояли перед небольшим пакгаузом. Мне очень хотелось осмотреть паровоз поближе. Теперь я уже разбирался в машинах, в отличие от малыша-пятилетки, который при переезде из Петербурга в Брезелиху интересовался только паровозным свистком. Но Зяма решительно отказался. Похоже, что он действительно не в меру послушный пай-мальчик или и в самом деле какой-то там «мишигенэ».

На обратном пути недалеко от железнодорожной станции мой проводник показал мне двухэтажное из красного кирпича здание, показавшееся мне очень внушительным, но мрачноватым. Эта была здешняя мужская гимназия.

За все три часа хождения по городу мы встретили на улице не более десятка прохожих. Не было видно и детей – вероятно, сегодня их не выпускали со двора. Городок насторожился и замер в ожидании перемен, которые вот-вот должны были наступить. После обеда нас в город тоже уже не пустили.

Слухи о банде Кучерова, ушедшей в неизвестном направлении, и о приходе красных на следующий день оказались верными. Уже утром стало известно, что на рассвете через город проехала красноармейская конная разведка и следом протащились несколько подвод с тифозными больными. В местной больнице один из барачников был выделен специально для них. А в полдень по главной улице городка парадным маршем проследовали занявшие город красные части. Красноармейцы маршировали под звуки оркестра, наспех собранного из оставшихся в городе музыкантов-духовиков. В относительно небольшой толпе горожан, глазеющих на воинский парад с тротуаров Сумской улицы, были и мы с матерью. Она надеялась уже сейчас высмотреть среди шагавших по булыжной мостовой красных бойцов комвзвода Егора Путинцева. Мать очень нервничала – ведь за ту неделю, которая прошла со времени, когда Остап Довгаль добрал-

ся к нам с отцовским поручением, могло всякое произойти. Война теперь вон какая суматошная да беспорядочная! Его часть в любую минуту могла повернуть в другом направлении. И тогда мы, несолоно хлебавши, отправимся в обратный путь, даже не зная, что с отцом. И когда-то мы еще сможем свидеться с человеком, находящимся на переднем крае братоубийственной войны!

Поэтому мы с тревогой вытягивали шеи, всматриваясь в ряды пехотинцев, маршировавших вслед за небольшим отрядом конницы. Но они шли сплошной колонной, не разделяясь на взводы и роты. Вид у бойцов был измученный и усталый. Однако одетые в обтрепанные, ветхие шинели, они старательно отбивали шаг – кто стоптанными валенками, кто разбитыми сапогами. А большинство грубыми солдатскими башмаками, обмотки над которыми подчеркивали худобу тощих красноармейских ног. Остап был прав. Красная армия воевала сейчас не только и даже не столько с белыми, сколько с недостатком хлеба, обмундирования, вооружения, с эпидемией сыпного тифа, дизентерии и даже холеры. Несмотря на, в общем-то, почти безошибочную ленинскую стратегию, эта армия не смогла бы победить, если бы стан ее врагов не разъедали ещё более страшные недуги.

Белое движение было относительно малочисленным. Его силы – идейно разнородными. И за исключением небольшого дворянско-аристократического ядра, совершенно не убеждённого в правоте своего дела. Добровольческая деникинская армия была по-настоящему боеспособной лишь до тех пор, пока, растянувшись от южных окраин России до ее центра, не оказалась вынужденной пополняться путем насильственной мобилизации и осталась добровольческой только по названию. И это были по большей части совсем не сторонники реставрации монархии и даже не патриоты «Единой и Неделимой». Попадая в Белую армию, идейно чуждые ей элементы не укрепляли, а растлевали ее. Именно моральное разложение, а не штыки и пули красных, заставили деникинцев, встретивших под Москвой стойкое сопротивление защитников революции, стремительно откатываться назад к Югу. Возникшие в их тылу многочисленные партизанские отряды отнюдь не сплошь были пробольшевистскими.

В некоторых местностях Украины преобладали вооруженные группировки махновского и петлюровского толка, и, мешая белым, они являлись как бы объективными союзниками красных, конечно временными. В отличие от белогвардейцев у большевиков было достаточно подлинных союзников в крестьянской массе. После победы Красной армии на главных фронтах сочувствующие большевикам крестьяне довольно быстро расправились с разрозненными, доморощенными «батьками», вроде того же Кучерова.

Очередной громкий выкрик «Левой!» раздался где-то в голове колонны. И мать схватилась за сердце:

- Егорушка!

Все-таки мы проглядели младшего командира Путинцева, прошагавшего мимо нас со своим взводом, и бросились продираться сквозь толпу на тротуаре в надежде догнать этот взвод. Но тут нам путь загородил оркестр, вышедший из колонны и построившийся у аптеки Шкера. Отсюда начиналась базарная площадь – конечный пункт парадного шествия. Под какой-то старорежимный марш едущий впереди отряд конников развернулся и построился в две шеренги напротив портала городского собора. Под разноголосые и нестройные команды пешая колонна разделилась на две равные части, одна из которых двинулась по правой, а другая – по левой стороне площади. Подойдя к флангам конного строя, красноармейцы остановились и сделали поворот на месте. В результате образовалось подобие буквы «П», в середину которой выехал человек в буденовском шлеме. Зычным голосом, по-кавалерийски растягивая слова, командир поздравил бойцов с занятием города Л-на. В ответ раздалось троекратное «ура» и грянул марш, очень похожий на марш Кексгольмского Её Величества полка, который играл когда-то брезелевский граммофон. После этого конники, построившись попарно, куда-то уехали. У пехотинцев же развод по квартирам происходил повзводно.

- Беги, ищи отца! – подтолкнула меня мать.

Городские мальчишки уже сновали по базарной площади во всех направлениях. Я выбежал на площадь, забегая сбоку небольших отрядов, строем уходивших в разных направлениях, и стал вглядываться в лица их ко-

мандиров. Один из них знакомым голосом скомандовал: «Взвод, шагом а-р-р-ш!» Спиной ко мне, лицом к своим бойцам стоял мой отец. На нём была та самая шинель, в которой он ушёл от нас в памятную апрельскую ночь позапрошлого года. Я узнал ее по прорехе от германской шрапнельной пули, аккуратно заштопанной матерью. Она пришлась немного выше потемневшего солдатского ремня, перехватившего узенькую португепю нагана. Из-под обтрёпанного низа шинели выглядывали худые ноги в обмотках. Очень похудевший, с глубоко запавшими глазами, он обернулся и равнодушно скользнул взглядом по мальчишке в латаном-перелатаном пальтишке и калошах, надетых поверх самодельных тряпичных чулок. Вокруг было много детей, одетых и похуже. Отец некоторое время шагал, пятясь ко мне спиной, и вдруг снова обернулся. На этот раз он смотрел на меня уже тревожно-вопросительным взглядом, но по-настоящему все еще меня не узнавал.

В нем, очевидно, с некоторым опозданием сработало не осознанное сразу первое впечатление.

– Папа! – заплакал я, не решаясь подойти к нему.

В глазах отца вспыхнуло радостное изумление, смешанное с недоумением: как я сюда попал? И всё же ни тревога, ни радость не заставили старого солдата забыть, что он сейчас на службе.

– Левое плечо вперед!

Отряд свернул за угол собора на Сумскую улицу.

– Левоу, левоу...

Я бежал рядом, не смея приблизиться, пока отец не сделал мне едва заметного знака рукой.

– Где мать? – спросил он отрывисто.

Я показал на угол улицы, где она стояла, прислонившись к стене, и глядела на нас. Отец положил мне руку на голову и знакомым движением провел по ней поверх шапки.

– Идите к женской гимназии, там наши квартиры... Я сейчас выйду... Левоу!

Когда я подбежал к матери, она всё ещё стояла на прежнем месте, прижимая к сердцу руки. Со стороны можно было подумать, что женщине плохо, но я знал, что это от радости.

Женская гимназия – такое же, как и мужская гимназия, мрачноватое красное кирпичное здание – находилась совсем рядом, на той же Сумской улице. Когда мы подошли к настезь открытым воротам во двор, взвод Путинцева был уже там построен, а его командир что-то говорил своим бойцам. Затем он крикнул: «Разойдись!» – солдаты побежали к зданию, а отец поспешил к воротам. Мать, присевшая на кирпичное основание школьной ограды, от волнения не смогла подняться к нему навстречу, а только протянула к мужу руки и заплакала. Отец, смущаясь под любопытными взглядами прохожих и откашливаясь, как будто у него першило в горле, пытался ее успокоить:

– Ну что ты, мать, ну чего ты? Видишь, жив...

Она утвердительно кивала головой – да, да, жив... но продолжала плакать.

Слёзы мешали ей ответить на торопливые вопросы мужа: все ли дети живы? Как мы добрались до Л-на и где остановились? Все нужные пояснения давал я, а мать только подтверждала их кивками головы. Отец тоже удовлетворённо кивал. Что ж, хорошо, что сумели выжить. Хорошо, что нашли здесь себе пристанище. О том, что семья сельского лавочника перебралась в Л-н, отец, конечно, слышал впервые. Вечером он к нам зайдет, хотя с Ботвинником знаком только шапочно, но знает, что старый еврей – человек умный, поговорить с которым всегда приятно. Молодец и Остап, который всё нам втолковал как надо. Но продолжать разговор он сейчас не может – надо бежать к ребятам, помогать им устроиваться. Его рота простоит здесь довольно долго, не меньше недели. Отец с трудом вырвался из объятий опять заплакавшей жены.

– Экая ты у меня... мокроглазая, Марфа!

Она согласно закивала – да-да, конечно... Она постанет... Вот только выплечется сейчас и больше не будет.

Вечером мы все трое сидели за столом в доме Ботвинника, хотя красному командиру было не очень удобно якшаться с буржуями. Без шинели и папахи, умывшийся и побрившийся, отец показался мне еще более осунувшимся, чем днем. На лице появились резкие морщины, а на висках – преждевременная седина. Часто морщась,

как от боли, он выслушал наш уже более обстоятельный доклад обо всем, что произошло в Брезелихе в его отсутствие. Долго молчал, понурившись и горестно покачивая головой. Тяжело вздохнув, заметил, что так было повсюду, где ему пришлось воевать. Потом, хотя и скупно, отец рассказал как пробирался со своим отрядом до 3-ва, как уже укрупненные, но всё ещё не имеющие общего руководства большевистские отряды шли на север. Как пытались отстоять от деникинцев Харьков и другие важные промышленные центры и железнодорожные узлы. Затем, отброшенные до Москвы, защищали её, будучи на голодном хлебном и патронном пайке. Белые, у которых как будто враз иссякла вся их ударная сила, прекратили нажим и начали спешное отступление к Югу. Красной армии остается только занимать оставленные ими территории. А сражаться ей приходится, главным образом, с различными бандами, разрухой на железной дороге и Её Величеством сыпнотифозной вошью. И всё же потери в этом наступлении громадны. За армией остаётся бесконечный хвост заболевших тифом, истощенных и обмороженных бойцов. Отец советовал всем нам остерегаться вшей. Почти всюду, куда приходят части Красной Армии, начинаются вспышки сыпнотифозной эпидемии. Вот Марфа обижается на мужа, что он при первой встрече сегодня почти отталкивал ее от себя. Но это потому, что тогда еще не успел помыться и прожарить белье...

Ботвинник постарался перевести разговор на другое. Правда ли, что в политической программе большевиков главным пунктом значится полное уничтожение частной собственности, даже мелкой? Отец ответил утвердительно. Но это только в неопределенном будущем, о котором и сами коммунисты имеют весьма неясное представление. Хотя есть среди них и такие, которые, дай им волю, уже сегодня загнали бы весь народ в общие бараки, постригли бы всех под одну гребёнку и всем бы назначили одинаковый голодный паек. Они считают, что война с мировой буржуазией только еще начинается и что вести ее надо до полного сокрушения капитализма во всем мире. И только когда на всей земле вся власть будет принадлежать пролетариям, можно будет заняться вопросами обустройства жизни. Говорят, что такой точки зрения

придерживается главный соратник Ленина и второй по значению человек в советском государстве – Троцкий. Но Ленин с ним не согласен. Он считает, что жизнь можно и нужно устраивать сразу же после победы большевизма в одной только России, не замахиваясь сразу на остальной мир. Похоже думает Ленин и о мужике. Его «Декрет о земле» принимает программу землепользования по эсеровскому принципу. То есть по принципу справедливого раздела земли между самими земледельцами. Это-то и удерживает большинство крестьян на стороне большевиков. Не рабочий, а именно мужик составляет сейчас главную силу Красной армии. Будет он стоять за большевиков и впредь, если только они не обманут его по части земли. Ведь по натуре крестьянин – собственник. И на какой бы стороне он ни участвовал в гражданской войне, воюет мужик только из-за этой собственности. Бедный хочет обрести, наконец, достаточный земельный надел за счет помещика или кулака. Богатый – в войсках у белых, Петлюры или Махно старается этого не допустить. А идеи марксистского коммунизма и прочие подобные теории безразличны подавляющему большинству даже тех крестьян, которые воюют у красных. Им бы поскорее закончить эту проклятую войну да руками и зубами вцепиться в землю, обещанную им Лениным. До мировой же Революции дела мужику немногим больше, чем корове до царствия божьего.

Как я понял несколько позже, политические воззрения моего отца, человека очень честного и много думающего, выкристаллизовались к тому времени уже окончательно. Они сводились к тому, что большевики своим «Декретом о земле» подошли ближе всех к социальной правде. А раз так, то с ними надо и оставаться, несмотря на все издержки революции под марксистскими лозунгами. Тем более что вся эта хитроумная заумь комиссарских мечтаний о коммунистическом рае со временем рассеется сама собой, столкнувшись с инерцией крестьянской стихии и практикой уже не разрушения, а строительства государственной жизни. Конечно, Егор Путинцев и многие другие, подобные ему люди, дошли до этих убеждений не только своим умом. Их направляли

более образованные социалисты-революционеры из самого левого крыла социалистических крестьянских партий.

- Значит вы, Егор Иванович, не в коммунизм, а в мужичка веруете, - сказал хозяин, внимательно его слушавший.

Отец ответил, что дело не в вере, а в трезвом политическом выводе. Мужик в России пока еще главный человек и будет оставаться им долго. От этого никуда не уйдёшь, хотя правоверные монархисты из белогвардейцев пытаются снова сделать таким человеком барина, а правоверные большевики - городского рабочего. Крестьянин, с его тяготением к своей земле, своему двору и своей хате, неизбежно, хотя и стихийно, преодолет все теории и все политические наскоки на его мелкособственнические устремления. Но именно поэтому делать из него этакое христосика никак не приходится. Мужик, он со всячиной... И жаден подчас до глупости, и дальше собственного тына за огородом часто не видит ничего. Отсюда и те художества в помещичьих имениях, на которых так ловко сыграли большевистские комиссары.

Оставаясь эсером, отец не мог не признать, что склонные к идеализации крестьян многие социалисты-реалисты оказались людьми, хуже понимающими мужицкое нутро, чем отнюдь не страдающие избытком наивности большевики.

- А у нас болтали, что ты к Григорьеву подался... - Мать действительно уже выплакалась, была теперь спокойна и почти весела.

Отец досадливо поморщился:

- Болтать-то всякое можно!

Во-первых, григорьевский мятеж произошёл на крайнем юге фронта, совсем в стороне от мест, где он воевал. Во-вторых, это было восстание украинских эсеров-националистов, а любой национализм ему претит. Главное же - впрягшись в одну телегу с большевиками, нельзя тянуть её в другую сторону...

- А хоть кончится война, когда вы добровольцев побьёте? - спросила мать.

Отец, нахмурившись, некоторое время молчал.

- Вряд ли... За спиной Антанты, враждебной русской революции, все главные капиталистические государст-



ва. Будут, наверное, создавать новые контрреволюционные армии. Возможны вторжения извне...

Мать горестно вздыхала: господи, и когда только кончится эта вечная тревога, нищета, почти одичание? Дети вон, скоро уже голыми бегать будут среди руин бывшей Экономии.

– А что если вам семью в Л-н перевезти? – сделал неожиданное предложение Абрам Самуилович. – Тут ей легче жить будет, дикости меньше. А в Брезелихе, даже когда закончится гражданская война, никому из вас делать будет уже нечего... В селе даже младших детей учить сейчас негде. Здесь же хоть часть начальных школ будет действовать при всех обстоятельствах. Со временем можно будет кое-чему обучить и старших ребят, хотя бы, например, ремеслу. А село теперь еще долгие годы только дичать да дичать будет...

Отец и мать переглянулись. Мысль о переселении куда-нибудь из действительно бесперспективной Брезелихи при очевидной её разумности им самим в голову не приходила. Но мать, склонная пугаться всего неожиданного, тут же нашла множество возражений. В Брезелихе у нас есть жилье, которое мы привыкли уже считать почти своей собственностью, и огородишко – наш единственный кормилец. А тут ведь и квартиру, и огород снимать надо! А чем платить?

Однако это затруднение, хотя оно показалось весьма серьезным даже отцу, отнесшемуся к предложению Ботвинника с большим интересом, Абрам Самуилович и его жена считали легко преодолимым. Брошенных домов и усадеб сейчас в городе хоть пруд пруди. Обычно они оставлены под присмотр дальних родственников или соседей сбежавших владельцев. Притом с разрешением сдать их первому желающему хотя бы за символическую плату. Домовладельцы, надеявшиеся еще вернуться – хотя эти надежды вряд ли когда-нибудь сбудутся, – предпочитают, чтобы их сады и огороды не глохли, а дома не заваливались, оставаясь необитаемыми. Мать это понимала. По всему чувствовалось, что идея жить в городе среди людей, а не бурьяна и заброшенных строений бывшей Экономии, ее тоже прельщает, но она выдвинула очередное разумное возражение – транспорт! Перебираться на новое

место жительства с одним только «хлебом, что в брюхе, да одеждой, что на брюхе» нельзя. Надо захватить какое ни есть барахлишко, мебель, ту же картошку. Значит, понадобятся три-четыре подводы. Возчиков найти можно. Но за перевоз они заломят такую цену, уплатить которую мы не сможем. Ценных вещей в семье почти никаких не осталось...

– Ты же говоришь, что мои часы спрятала от гайдамаков, – возразил отец, – вот их и отдай.

Мать вздохнула. Нет, часов не хватит. Хоть бы серебряные были, а то ведь «чугунные». Мать все простые металлы делила на железо и чугун. Самовар или медный пятак были у неё «железными», очень неплохие карманные часы с воронеными стальными крышками – чугунными. Отец задумался, сражённый этими доводами, а я чуть не заплакал от огорчения. Переехать в город с его электричеством, железной дорогой, телеграфом, множеством интересных людей, которые здесь живут, не говоря уже о том же Зяме Ботвиннике, было бы для меня фантастической удачей. Но похоже, что все рухнет только потому, что нам нечем заплатить за перевоз. В самом деле, что у нас в доме есть такого, что жадные мужики могли бы принять в качестве платы за извоз? И тут я вспомнил о швейной машинке. Забыла о ней мать или сознательно утаивает? Сейчас этот предмет в постоянной войне за возможность хоть как-нибудь прикрыть наготу был нам особенно нужен. Машинка Зингера оказалась пока единственным выигрышем нашей семьи в результате войны и революции. Сначала американская фирма отсрочила своему покупателю, солдату Российской армии, очередной взнос за машинку до конца войны. А потом социалистическая революция освободила нас от долга капиталисту Зингеру вообще.

– Машинка, – шепнул я матери на ухо.

Она охнула:

– Да, да...

Оказывается, отец и мать странным образом не вспомнили сейчас об этом ценном предмете. Но отец тут же нахмурился:

– Небось, трудно тебе без машинки-то будет, Марфа?

Она вздохнула:

– Ладно уж, обойдусь как-нибудь...

Выходит, соглашалась на переезд, хотя было ясно, что мысль обходиться при шитье опять одной иглой ее угнетает. Отец задумался. Вопрос о нашем переезде в город снова повис в воздухе.

Но тут вмешалась Рива Абрамовна:

– У нас две машинки. Возьмите себе мою старую ручную, все равно она без дела стоит. Когда-нибудь рассчитаемся...

Старая машинка Ботвинничихи решила вопрос в пользу нашего переселения в город, и притом немедленного. Это надо сделать, пока отец находится в Л-не. Как боец Красной армии он кое-чем мог бы помочь своей семье на новом месте. Однако организовать переезд он не сможет, так как из части его сейчас ни за что не отпустят – в ближайшие дни в Л-нском уезде намечались военные операции против местных бандитов. Но отец возлагал большие надежды на толкового и расторопного Остапа Довгаля, который не откажется, наверное, нас сопровождать. Гарантии, что какие-нибудь «хлопцы с большой дороги» не польстятся даже на наше убогое имущество, не было. В этом случае винтовка и боевой опыт Остапа могли очень пригодиться.

Как и предполагали наши хозяева, подходящее для нас жилье удалось найти в городе уже на другой день. Это был очень славный с виду домик, с большим огородным участком и даже «фруктовым садом», состоящим, правда, из одной-единственной лесной груши, росшей перед самым крыльцом. Зато эта груша была гигантской высоты и размеров и, по общему уверению, давала осенью невероятное количество кислых плодов, вполне пригодных к употреблению после того, как они полежат и сделаются коричневыми. Домик назывался флигелем, так как был не основным, а дополнительным жилым строением большого двора, принадлежавшего богатому торговцу скобяным товаром, бежавшему с белыми. Он стоял в глубине этого двора и своей высокой черепичной кровлей, большими светлыми окнами и высоким крытым крыльцом очень мне понравился.

Флигель построили минувшей осенью, и он совсем еще не был обжит, а своими подозрительно тонкими

стенами вызывал у матери большие сомнения в достаточной пригодности для проживания в нем зимой. Богатый лавочник строил этот дом весьма спешно в качестве приданого к свадьбе дочери, помолвленной с молодым белогвардейским подпоручиком из дворян. Невеста тоже считалась весьма образованной девушкой, так как окончила местную гимназию. Жить вместе с родителями столь интеллигентной молодой паре, конечно, не пристало. Жених же происходил из дальних мест, занятых большевиками. Но вскоре предполагаемая удача мещанской семьи обернулась горестной неудачей. Подпоручик в какой-то стычке с одной из местных банд был убит, а несостоявшаяся родня белого офицера на днях выехала невесть куда, спасаясь от наступающих большевиков.

Всё это поведала нам говорливая и добродушная Секлета Нестеровна, свояченица бежавшего лавочника и жена бедного шапочного мастера по фамилии Калюжный. На попечение Калюжных был оставлен двор и дом их богатого родственника. Естественно, что многочисленная семья шапочника сразу же перебралась в этот дом из своей тесной хаты. Правда, он тоже был типичной здешней хатой, только довольно обширной, высокой и добротной. Она была крыта соломой и разделена темными сенями на две традиционных половины: собственно хату, в которой жили и работали ее хозяева, и парадную, практически нежилую «хатыну», предназначенную для празднеств и приема гостей.

Новомодный флигель вместе с частью огорода предназначался теперь для сдачи внаём. Матери удалось, немного поторговавшись, почти в три раза уменьшить первоначально названную Секлетой Нестеровной квартирную плату и свести ее к почти символической. Найти сейчас квартиросъемщиков было трудно. Дом же без жильцов неизбежно будет разрушаться. Да и обработать всего здешнего огорода Калюжные все равно не могли. Кроме этого огорода, на их половине находился еще фруктовый хозяйский сад с двумя десятками яблонь, свиарник, в котором хрюкал небольшой кабанчик, куры и пара гусей. Бедным родственникам бежавших хозяев оставалось только молить Бога, чтобы те никогда назад не вернулись. В известном смысле семья убогих мещан-ре-

месленников находилась в числе тех немногих, кто определенно выигрывал от разгрома класса эксплуататоров.

Уступчивость Секлеты Нестеровны диктовалась также тем, что она и сама понимала: явно очень холодный и необжитый ещё флигель сдать кому-нибудь и в лучшие времена вряд ли удастся. Мать, вздыхая, постукивала костяшками пальцев по его сделанным на «фу-фу» стенам. Она вовсе не была рада ни большим окнам, ни высоким потолкам домика. Было известно, что зимой топливо в этом городе – одна из самых острых здешних проблем. Лес недалеко. Но местное лесничество, почти бессменное при всех властях, проявляет высокую принципиальность и рубить его решительно запрещает. Жителям разрешается только сгрести летом осыпавшуюся хвою, «колючку», как ее здесь называют, собирать сосновые шишки, а зимой – обламывать у сосен нижние ветки. Это способствует более стройному росту деревьев. Еще здесь топят печи гречневой и подсолнечной шелухой. Все очень хвалят эти виды топлива, но достать его сейчас почти невозможно. Городские крупорушка и маслобойка давно стоят.

– Ох, не прошиб бы нас в этом доме цыганский пот! – сокрушалась мать. – Его отапливать да отапливать надо, а дров-то у нас ни палки...

Я очень боялся, что она откажется от найма веселого домика и старался убедить мать, что даже если придется постучать от холода зубами до весны, то нам к этому ведь не привыкать... А на будущую зиму за лето мы запасем топлива уже достаточно. Решающее слово осталось бы, вероятно, за отцом. Но его взвод срочно направили на усмирение какой-то банды, обосновавшейся в ближнем селе. Повздыхав и поколебавшись, мать согласилась снять флигель. Известную роль сыграли и мои уговоры. А главный соблазн для неё заключался в большом огороде, колодце рядом с домиком, обложенном кольчатым бетонным срубом, просторном дворе со множеством кустов жасмина и сирени, уютной улочке, обсаженной высокими тополями и выходящей к хорошенькой белокаменной церкви святой Троицы. По имени этой церкви называлась и улица – Троицкая. Так или иначе, но договор о найме флигеля с Секлетой Нестеровной и ее мужем, носившим

какое-то гоголевское имя-отчество Афанасий Миронович, был заключен, и осталось теперь только переехать.

Отец, против ожидания, вернулся в город уже на другой день. Банда весьма оперативно и своевременно смылась из села в неизвестном направлении. Ловить ее предстояло теперь уже большими силами и в более отдаленных местах. Новое выступление отряда было назначено только через два дня. Поэтому отец успел осмотреть и нашу новую квартиру, и проводить нас до околицы, когда мы возвращались в свою Брезелиху. Теперь уже всего на несколько дней. Опасения матери, что снятый нами домишко больше смахивает на дачу, пригодную только для летнего проживания, отец разделял. Однако сказал, что зато летом здесь будет отлично. Абрам Самуилович посоветовал ему обратиться через своё начальство в местное лесничество с просьбой отпустить для семьи красного командира пару возов дров. Отец почесал в затылке, но обещал, что попробует. Тем более что в одной просьбе – отпустить его дня на четыре к своей семье, чтобы помочь ей в переезде на новое место жительства, – ротный командир ему уже отказал. Он объяснил этот отказ тем, что, во-первых, 3-вский уезд ещё не занят красными войсками, а во-вторых, комвзвода Путинцев, как человек, знающий местный язык и обычаи, нужен здесь и сейчас. Все другие взводные были родом издалека и украинского языка не знали. И вообще он считал, что о семьях и личных делах полагалось бы думать только после окончательной победы Красной армии над силами контрреволюции. Комроты принадлежал к числу фанатичных «левых» большевиков.

– Хорошо еще, что он не посоветовал мне отложить переезд семьи до полной победы над мировой буржуазией, – усмехнулся отец.

Втроём мы шагали в утренних сумерках по совершенно безлюдным в этот ранний час улицам городка. На серых глухих заборах и стенах домов белыми и цветными прямоугольниками выделялись многочисленные плакаты. За минувшие два дня я изучил эти плакаты в подробностях. Тут были изображения красного воина с двуручным мечом, отсекающего одну за другой головы гидре международной контрреволюции; капиталиста в цилиндре с толстенным пузом, всовывающего кривой

нож в руку белого генерала; попа, простершего крест над нищей деревней, на которую замахнулся плетью стоящий рядом урядник. Но самым впечатляющим был плакат с изображением вши. Подпись под серым веретенообразным пятном с множеством омерзительных ножек-ворсинок звучала, как лозунг: «Либо Социализм победит вошь, либо вошь победит Социализм». И подпись – Ленин. Мать вчера тоже долго рассматривала этот плакат. Правда, относительно происхождения вшивости у нее были свои убеждения. Мать признавала, что скученность, бескультурье и нечистоплотность способствуют распространению мерзких насекомых. Но главная причина их нынешнего засилья в другом. Вошь особенно яростно нападает на человека, когда того угнетают горести и злые заботы. Теперь этих горестей и забот у людей так много, как не было еще никогда. Отсюда и полная невозможность сладить со вшами.

Бойцам, а тем более командирам воинских частей, ходить по городу в одиночку, да ещё в глухое время суток, а тем более выходить за его околицу, воспрещалось. И хотя в самом Л-не было сейчас спокойно, гарантии, что откуда-нибудь из-за плетня не вылетит бандитская пуля, не было. Отец этот запрет нарушал по всем статьям. Он проводил нас почти до леса, темнеющего за пустырем у городской окраины. Мать, как и всегда при расставаниях с мужем, глядела на него умоляюще.

– Не лезь ты под пули-то зря, Егорушка... Береги себя.

Отец старался перевести разговор на деловую тему:

– Так ты времени-то не теряй, Марфа! Договаривайся поскорее с возчиками. Не торгуйся особенно и приезжай сюда с детьми, пока я здесь... Остапа попроси помочь, он не откажет...

Мы долго оглядывались на человека в шинели и обмотках, одиноко стоящего на заснеженной пустынной дороге. Потом его заслонил сосновый лес, в который мы вошли.

А через три дня машинку «Зингер», наше последнее богатство, под тяжёлые вздохи матери погрузил на сани и увёз знакомый мужик, взявшийся организовать наш переезд в Л-н. Расчет с двумя другими возчиками он брал уже на себя. Мать пробовала торговаться с прижимистым

подрядчиком. Слыханное ли дело заламывать такую цену за перевоз вещей на какие-нибудь полсотни верст! Раньше бы за эту цену до Москвы довели... Мужик ухмылялся в бороду. Так то раньше. Тогда цена извоза исчислялась только в затраченном на него времени, весе груза да в съеденном лошадьми овсе. Теперь же во всяком дальнем перевозе главное дело – риск. Если наскочит на нас по дороге какая-нибудь банда, то вряд ли станет разбирать, где тут хозяйское добро, а где извозчицье. Отберут бандюги у подводчиков лошадей, а то и их самих прикончат! Кацапские полыгачи, мол... Теперь это недолго.

Просить Остапа принять участие в нашем переезде ходил я, его деревня была всего в верстах двенадцати. Довгаль за прошедшую неделю основательно отдохнул и поправился. Его старики-родители были еще живы. Жили они с немолодой уже невесткой, женой убитого на Германской старшего сына, и дочерью, женой бежавшего гайдамака. У обеих женщин были дети, и бедная хата Довгалея показалась мне тесной и многолюдной.

Вернулся домой я уже вместе с Остапом, не забывшим прихватить и свою неразлучную винтовку. Матери выдали в сельсовете удостоверение личности – в связи с переездом на новое место жительства, оно теперь было необходимо. В бумаге значилось, что «предъявительница сего» является женой красного командира, имеет четверых детей и до последнего времени проживала в селе Брезелихе, что подписью и приложением печати удостоверяется.

Под текстом удостоверения стояли каракули Кривошапки, а рядом красовалась круглая печать брезелихинского волостного правления. Только старорежимный двуглавый орёл на этой печати был крест-накрест аккуратно перечёркнут чернилами. Сельсоветскую бумагу мать спрятала подальше – нужна будет, скорее всего, уже в самом городе. Для дороги же она на всякий случай приготовила всё ту же мою метрику из церкви на Малой Охте.

Наш маленький обоз тронулся в путь на рассвете. На высоко нагруженных всяким хламом подводах восседали укутанные до самых глаз и ещё не проснувшиеся как следует малыши. Все остальные шли пешком. Мать, я и Тайка с грустью оглядывались на свой домик, давно уже



ставший обшарпанным и запущенным. Осиротевшая семья конторщика на другой половине этого дома оставалась одной из немногих, проживающих ещё на территории бывшей Экономии. Зияла пустыми глазницами окон бывшая брезелевская контора; без крыш и дверей выглядывали из сугробов почти совсем разрушенные сельскохозяйственные службы. За «нашим полем» в серой мгле сумрачного утра угадывалось кладбище, на котором даже днём различить Поленькин крестик среди других почерневших крестов было уже нельзя. Мать перекрестилась в ту сторону и заплакала. Накануне мы с ней ходили прощаться с Полей, лишь с трудом добравшись по сугробам до её могилы.

Я мечтал о жизни в городе с его многолюдьем, относительно неразрушенными строениями и даже электрическим светом. Но сейчас я тоже испытывал щемящую грусть по этим местам. Сами по себе они были прекрасны, а теперь начинали уже светиться тёплым светом воспоминаний уходящего детства.

В селе только кое-где поблескивали тусклые огоньки в оконцах хат, когда мы проезжали по его кривым улицам. Потом мы поднялись на бугор за околицей и спустились с него на пустынный шлях. Некоторое время ещё виднелись только кресты сельской церкви. Мать прощально перекрестилась, когда и они скрылись за поворотом дороги. Очередной этап жизни нашей семьи остался позади. Скоро грусть расставания с обжитыми местами вытеснили заботы и тревоги недолгого, но не такого уж безопасного и лёгкого пути. Хотя нападения местных молодцов из какой-нибудь придорожной деревни мы особенно не опасались – все наши мужчины были вооружены. Кроме винтовки Остапа, у двоих извозчиков за спинами висели на ремнях охотничьи ружья, а третий демонстративно засунул за кушак полушубка обрез. При такой охране добывание трофеев не только в виде нашего убогого скарба, но и извозничьих лошадей, становилось делом явно не рентабельным, даже с точки зрения самых отчаянных «Робин Гудов». Другое дело – более крупные политические банды. Но и они сейчас, как полагал Остап, вряд ли рискнут появиться в здешней безлесной местности. Он был уверен, что бандиты не появятся и в небольшом со-

сновом лесу, почти прилегающем к городу Л-ну, – слишком близко находился этот лес от места расположения красноармейского отряда.

Действительно, мы ехали без особых приключений. Переночевали в каком-то хуторе на застланной соломой доливке и утром, чуть свет, отправились дальше. Дорога была сильно занесена снегом, почти не укатана, и лошади тащили нагруженные сани с большим трудом. Поэтому в узенькую и кривенькую Троицкую улицу мы въезжали уже в сумерках. Мать постучалась в одно из освещённых окон хозяйской хаты. Выбежавший на стук маленький и суетливый Афанасий Миронович широко распахнул ворота во двор. Секлета Нестеровна открыла нам флигель, а её старший сын, мой ровесник Павло, вкрутил в патрон под потолком электрическую лампочку. Этой лампочкой хозяева ссужали нас только на сегодняшний вечер. Они предупредили, что если мы хотим пользоваться благами современной цивилизации, то должны будем приобрести свою. Расход это немалый, за шестнадцатисвечовую лампочку спекулянты берут фунт соли или полпуда муки. Мать спросила хозяйку: сколько могут дать муки за часы с чёрными крышками? Та ответила, что пуд-полтора, не больше. Сейчас часами мало кто интересуется. А вот электрическая лампочка в городе – вещь необходимая и весьма теперь дефицитная. Скоро, наверное, их не будет совсем.

В нашем новом жилье было холодно, как на улице, и при свете голы лампочки на стенах серебрился иней. Хозяйка одолжила нам несколько охапок зелёных сосновых веток и полмешка колючек на растопку. Нам надо приспособливаться к этому виду топлива, так как до весны, если не удастся добыть дров в лесничестве, ничего другого у нас не будет. Поэтому уже завтра я и Тайка должны отправиться в лес – он тут недалеко, верстах всего в двух-трех – и наломать там с сосенок нижних веток. Делается это с помощью специального крючка-секача, который одолжат нам любезные хозяева. Так же как и ручные сачки. Павло и его брат-погодок Никитка покажут нам и дорогу в лес, и технику добывания топлива. Если не лениться и ездить за ветками не меньше двух раз в день, то можно сделать некоторый запас этих веток. Подсохнув в

сарая, хвоя будет гореть уже лучше. А пролежав лето, ветки станут и совсем приличным топливом. Но главная растопка – это опавшая хвоя, которую здесь сгребают с весны и до самой осени.

Наши новые хозяева были людьми приветливыми, благодушными и доброжелательными. Но остальное нас пока не радовало. Сырые ветки в нашей печке-голландке гореть не хотели и только пускали пузырчатый сок. Тяга через дымоход никак не устанавливалась. Похоже, дело было не только в том, что дом и, следовательно, дымоход насквозь выстужены. Видимо, сказалась лихорадочная поспешность строительства – печка была сложена явно неудачно. Все три комнатки заполнились едким дымом, резавшим глаза и вызывавшим кашель. Хуже всех было Сережке и Кольке, которые простудились в дороге и без того сильно кашляли со вчерашнего утра. Попытка растопить плиту на кухне, чтобы сварить хоть картошки на ужин, тоже не удалась. Никуда не годное топливо не разгоралось и в ней.

– Ох, хлебом мы в этих хоромах горюшка! – причитала мать.

Оставалась только надежда на отца. Если он пробудет здесь хоть одну неделю, то поправит печи и, может быть, добудет дров.

В тот вечер мы протопили свою новую квартиру лишь настолько, что иней на ее стенках растаял, оставив после себя синеватые пятна. Возчики, переспавшие не раздеваясь прямо на полу, на рассвете уехали. Мать, я и сестра переночевали на матрасе, положенном на пол, и только ребята спали на сундуке, да Остап неудобно устроился на сдвинутых табуретках. Малыши всю ночь кашляли, а у Кольки к утру поднялась температура.

Мать выпросила у хозяйки чайник кипятку, накормила нас хлебом, чуть притрушенным солью, и ушла с Остапом в городской штаб узнавать, где находится сейчас ее муж и скоро ли он вернется. Павло и Никитка с секачом на длинной палке и санками для веток пришли за нами, чтобы отвести в лес. Пошел, однако, один только я. Тайка осталась с заболевшими ребятами. Срезать секачом нижние лапы молодых сосен оказалось делом несложным. А вот тащить на санках по непротопанному снегу тяже-

лые зеленые ветки, даже при помощи двух крепких ребят, было нелегко. Мы притащили их к дому, когда мать и Остап уже вернулись. Довгаль был хмур, а мать всхлипывала и утирала слезы. Оказалось, что во втором походе против местной банды у Егора Ивановича объявился тиф. Два дня он пролежал в крестьянской хате, и только вчера его привезли в городскую больницу. Бегала мать и туда, но в тифозный барак никого не пускают.

Остап старался ее утешить. Он по себе знал, что это за штука – тиф. Умирают от него, однако, не все. А если Егор Иванович выживет, то на время выздоровления его, возможно, отпустят к семье. Поэтому его болезнь, может быть, даже к лучшему... Мать крестилась на пустой еще угол – дай-то Бог! – а славный малый занялся нашими печами. Дома он помогал когда-то брату, деревенскому печнику. Скоро Остап извлек из дымохода голландки кирпич, выпавший из ее небрежной кладки, и тяга сразу улучшилась. Отладил он и плиту на кухне, но предупредил, что печи у нас очень плохие и даже при хорошем топливе настоящего тепла от них не дождешься. К вечеру с трудом удалось сварить на плите чугунок картошки. Все мы уже три дня не ели горячего и теперь, усевшись вокруг стола, обжигаясь, поедали дымящиеся картофелины с солью, одновременно отогревая ими озябшие руки. В домике было очень холодно, пахло дымом и сыростью. На сундуке бился в ознобе всерьез расхворавшийся Колька. Ему, очень редко выходившему зимой на улицу, двухдневное сиденье на открытых санях не прошло даром. Хозяева забрали свою лампочку – она у них была одна, и мы, как в Брезелихе, сидели при свете всё того же заслуженного каганца.

Этот невеселый вечер был кануном нового 1920 года. Первого из многих, прожитых нашей семьей в городе мещан-ремесленников и мелких торговцев, сохранявшем тогда ещё некоторые черты гоголевского Миргорода. Но начальные, хотя заброшенные и заглохшие тонкие ростки крупного промышленного предпринимательства в городе были. Так, недалеко от железнодорожной станции гордо высилась своей трубой и пятью производственными этажами паровая мельница. Перед самой Германской войной она была построена и оборудована по последнему

слову тогдашней мукомольной техники главным местным богатеем Кононенко. Чуть позже на другой окраине городка были выведены почти под крышу этажи другой такой же мельницы, сооружаемой уже его конкурентом, купцом Таранущенко. Большевицкая революция пресекла соревнование местных капиталистических акул, а заодно и промышленное развитие города вообще. В Гражданскую мельница, как и практически всё тогда в России, стояла. В ещё более голодную и сильно затянувшуюся эпоху становления коллективного сельского хозяйства на Украине она работала только в полсилы – не хватало зерна. Недостроенная мельница Таранущенко, прозявав пустыми амбразурами окон без малого двадцать лет, была разобрана на кирпичи. В первой половине века, на протяжении жизни почти двух поколений Л-н оживился только в недолгие годы НЭПа. Тогда предпринимательской энергией его жителей удалось возродить торговлю и местные кустарные и полукустарные промыслы в пределах, разумеется, тех жестких ограничений, которые налагали на неё опасливые установления пролетарской диктатуры. Но в годы ликвидации НЭПа городок впал в состояние уже окончательного угасания.

Но об этом и о том, как на фоне даже крайне скудной материальной и духовной жизни в юности могут вспыхивать воистину фантастические мечты и устремления, уже в следующих книгах этой длинной повести.

## Оглавление

Предисловие . . . . .	7
<b>Часть 1. Детство на городской окраине</b>	
Юбилей царствующего Дома. Марсово поле и Малая Охта. Родители, сестры, я и царевич с портрета августейшего семейства. Книжка о полете на луну. Проблемы мироздания и их решение. Бабка Пелагея и ее космогония. Бутерброды с икрой из отрывного календаря. Дары мусорного Эльдорадо. Жандармы находят мой пистолет и уводят отца. Мы едем в Полтавскую губернию . . . . .	13
<b>Часть 2. Детство в деревне</b>	
Причины высылки из столицы нашей семьи. Царь, царица, Гришка Распутин. Третье отделение и цена красного словца. Помещицья лутифундия и украинское село. Мои новые товарищи, новые впечатления, новые игры. Спасение утопающей в бочке. Рождение брата Серёжки. Мое посещение церкви вместе с матерью: Параскева-Пятница, злой пономарь и его фукалка. Мое техническое творчество. Конфликт с Господом Богом и мое поражение. Война. Проводы отца на фронт . . . . .	57
<b>Часть 3. Мировая война</b>	
Мое первое письмо отцу на фронт. Извещения о гибели солдат на фронте и первые инвалиды. Наши игры в казака Крючкова. Ранение и приезд отца на побывку. Пленные австрияки, чех Франц и его выдумки. Поступление в школу, тамошние порядки и нравы. Рождение брата Коли. Хрестоматия «Божий мир» и «Закон Божий». Эпидемия дифтерии и смерть Поленьки. Беженка Марыся. Моя дружба с сыном лавочника и обязанности «шабес-гоя» в еврейской семье. Известие об отречении царя . . . . .	151
<b>Часть 4. Революция и гражданская война</b>	
Война продолжается. Украина получает фактическую автономию. Перевод преподавания на украинский язык. Портреты Шевченко. Отъезд из имения его владельцев. Отделение Украины от России. «Центральная Рада» в Киеве и «трудовые рады» на местах. Первая «реквизиция» в доме Брезелей. Отец – член Петроградского совдепа. Назначение отца начальником отряда сельской милиции. Наступление немцев и уход из села сторонников большевизма. Эпидемия испанки. Уход немецких войск и наступление петлюровцев. Красные и белые. Разгром баронской усадьбы . . . . .	229
<b>Часть 5. Разгар гражданской войны</b>	
Жизнь в разрушенной Экономии. Приход денкинских карателей, смена красного террора белым. Нападение красных партизан на белый эскадрон. Убийство Степана Гавриловича. Новое наступление Красной армии. Посланец отца и наше путешествие в город Л-н. Удивительные особенности еврейской нации. Из чего вырабатывается электричество? Парад красноармейских частей и свидание с отцом. Будет ли построен коммунизм? Переезд в город Л-н. Болезнь отца. Новый год на новом месте . . . . .	297

Георгий ДЕМИДОВ

## От рассвета до сумерек

Воспоминания и раздумья  
ровесника века

Художник Р.М. Сайфулин  
Корректор М.М. Уразова  
Верстка А.Б. Метелкин

Подписано в печать 09.05.2014  
Формат 60×90/16  
Объем 23 п.л.  
Тираж 1000 экз. Заказ 2447

ISBN 978-5-7157-0289-0



9 785715 702890 >

Издательство «Возвращение»  
123060, Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 34, кв. 58  
Тел. : 8(499)196-0226, факс: 8(499) 455-3011  
E-mail: vozvrashchenie@bk.ru

Отпечатано способом ролевой струйной печати  
в ОАО «Первая Образцовая типография»  
Филиал «Чеховский Печатный Двор»  
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1  
Сайт: [www.chpd.ru](http://www.chpd.ru), E-mail: [sales@chpd.ru](mailto:sales@chpd.ru), т/ф. 8(496)726-54-10



Семья Демидовых: родители, сестра и братья. Фото Г.Г. Демидова.  
1923-1924



Г.Г. Демидов. 1928





Г. Демидов с ружьем, на котором его первое запатентованное изобретение - специальный курок. 1929



Егор Егорович  
и Марфа Андреевна –  
родители Г.Г. Демидова.  
1930-е



Г.Г. Демидов (крайний слева) с друзьями. 1930-е



Г.Г. Демидов. 1935-1937



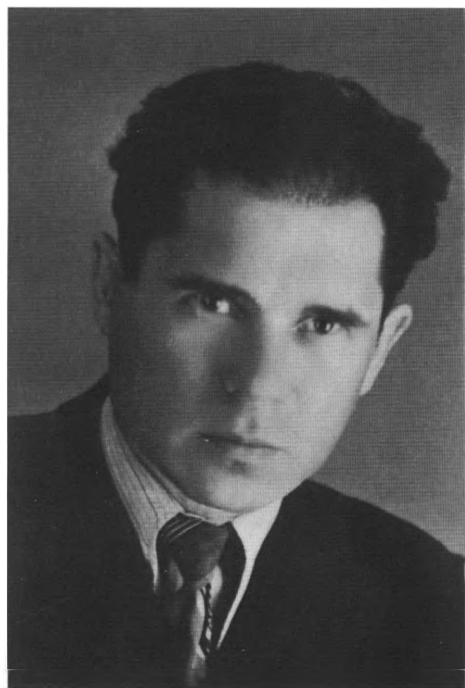
Г.Г. Демидов. 1935-1937



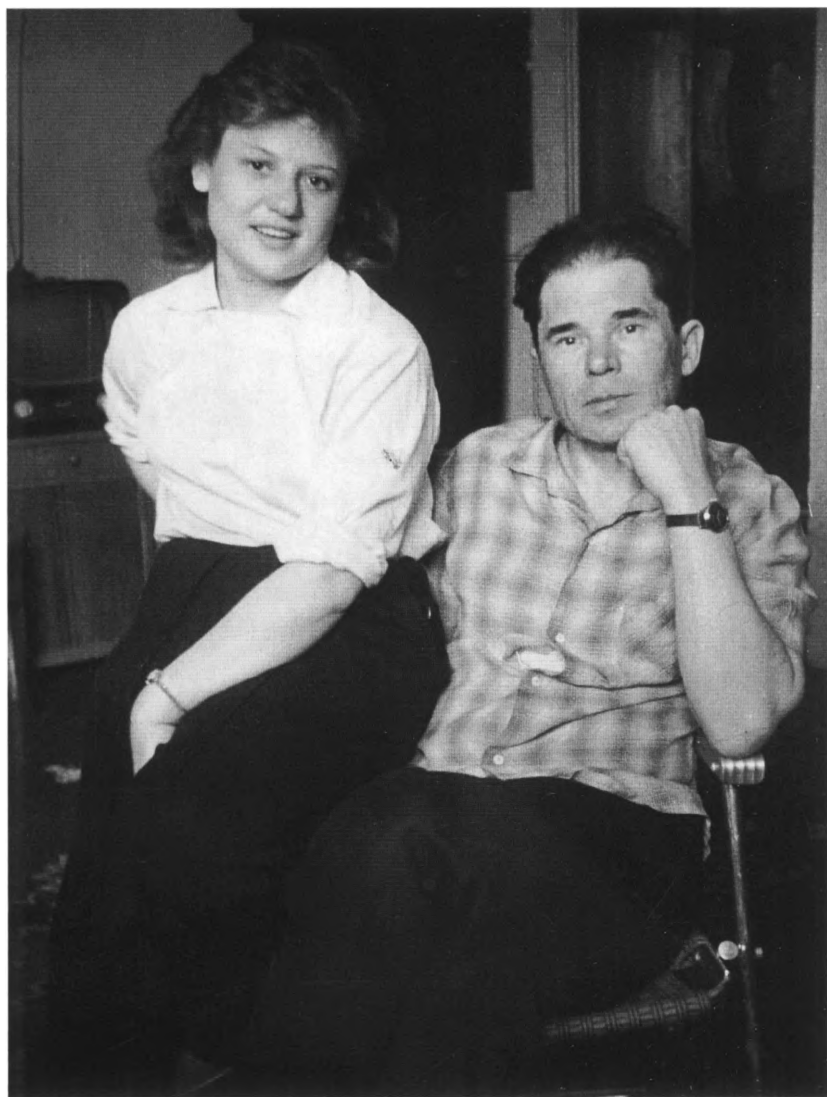
Г.Г. Демидов  
(слева) в научной  
лаборатории.  
Харьков, 1935-1937



Егор Егорович Демидов с внучкой Валентиной. Июнь 1941

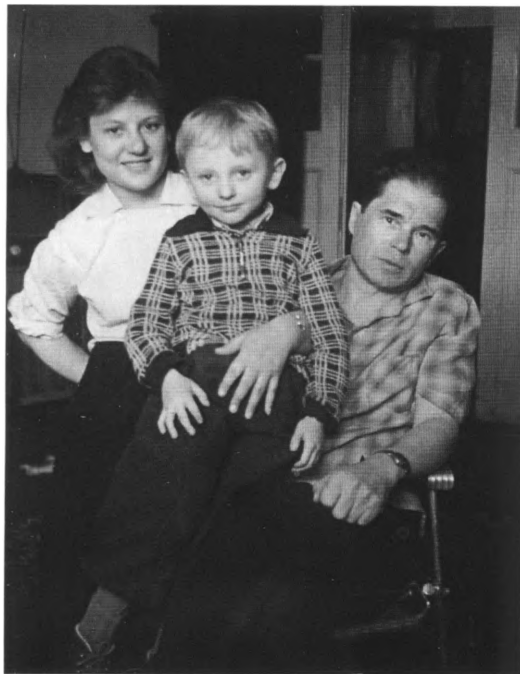


Г.Г. Демидов. Ухта, 1957

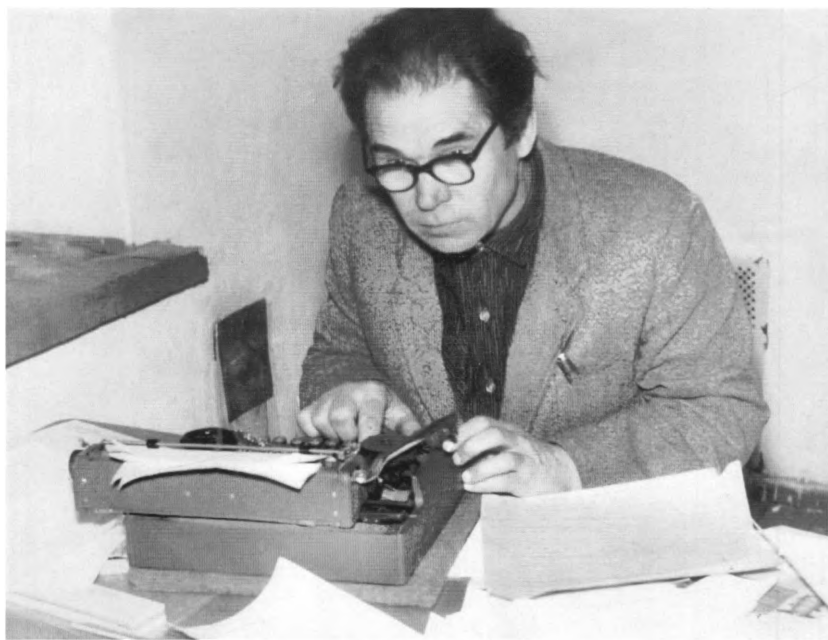


С дочерью Валентиной после  
лыжной прогулки. Ухта, 1962

Ухта, 1962



После лыжной прогулки. Ухта, 1962



За работой над рукописями. Калуга, 1970-е